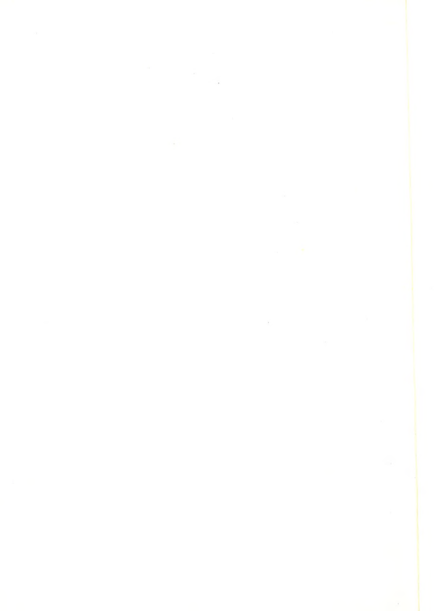








Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1980


СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

ПР

*Александр Борщаговский*

# СЕЧЕНЬ

ПОВЕСТЬ
ОБ ИВАНЕ БАБУШКИНЕ

*Второе издание*

Р2
Б83

Читателям знакомо имя Александра Борщаговского по многим книгам. В 1953 году было опубликовано первое написанное им крупное произведение художественной прозы — исторический роман «Русский флаг» (о героической обороне Петропавловска-на-Камчатке в годы Крымской войны). В последующие годы выходили романы «Млечный путь», «Где поселится кузнец», повести «Тревожные облака», «Седая чайка», «Пропали без вести» и многие другие.

В Издательстве политической литературы были опубликованы две книги публицистики А. Борщаговского — «Безумству храбрых...» и «Толпа одиноких».

Историческая тема занимает важное место в творчестве писателя. Повесть А. Борщаговского «Сечень» (первое издание вышло в 1978 году в серии «Пламенные революционеры») посвящена жизни и мужественной борьбе ученика и соратника В. И. Ленина, большевика Ивана Васильевича Бабушкина. В основу сюжета положен последний период жизни И. В. Бабушкина.

Повесть получила положительный отклик читателей и прессы. Выходит вторым изданием.

$Б\frac{10202-150}{079(02)-80}$ Заказ «Союзкниги» 0902030000

Январь — первый месяц в году,
по-старинному — сечень, просинец,
Васильев-месяц, перелом-зимы.
Из старых словарей

*Хотя родом я и крестьянин и до 14 лет жил в селе, окруженном со всех сторон лесами, далеко от больших городов, и только на 15 году мне первый раз в жизни пришлось увидать настоящий город, потом — другой, третий и, наконец, столицу, и еще город, в котором мне пришлось осесть на жительство, тем не менее жизнь родного моего села, жизнь крестьянина-пахаря для меня является далеко не понятной, забытой и, очевидно, на всю жизнь заброшенной. Никогда мне не суждено будет вернуться к ней, не придется возделывать того надела, владельцем коего я юридически состою. Другое дело жизнь городская, столичная жизнь заводская, фабричная жизнь мастерового-рабочего — вот это мое. Это для меня понятно и знакомо, близко и родственно. Семья рабочего — это моя семья, я ее хорошо могу понимать и чувствовать; ничто в ней меня не удивляет, не возмущает и не поражает. «Всё так есть, так должно быть, и так будет!» Так я думал, когда еще не жил по-настоящему, а прозябал, когда не задумывался*

*над житейскими вопросами, жил единственным интересом скудного заработка, слабым предрассудком религиозности, но уже с туманным идеалом разбогатеть и зажить хорошо.*

*«Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина»*

*1902 год*

## 1

В сумерки одного из последних дней октября 1905 года посреди белой равнины севернее Усть-Алдана показались три нарты, на каждой — каюр-якут, ссыльный и небольшой запас провизии. Две нарты шли след в след, третья мчалась впереди так, что и на ровном месте порой исчезала из виду. Казалось, что и ссыльный на этой нарте, измотанный перевалами через Верхоянский хребет, пургой, слепым кружением снега междуречье Яны и Лены, и собаки, туго заросшие к зиме, почуяли простор ленской равнины. Ссыльный в рваном армяке поверх нагольного полушубка, в лисьем треухе, уже не раз сменившем хозяина, обмотан серым вязаным шарфом, глаз не разглядеть — в щели едва угадывалось, что они светлы и спокойны. Временами каюр оглядывался и, если не находил позади нарт, покачивал головой и высоко заносил остол, готовясь вонзить его в снег, в промерзшую луговину.

— Давай, брат... Гони! — ссыльный трогал каюра за плечо.

— Гляди: за нами не поспевают,— отвечал каюр, понукая собак.

— Догонят. Куда им деваться.

— Совсем пропадут собачки...— Каюр жаловался заснеженной тундре, низкому, давящему небу: он уже не надеялся разжалобить своего седока.— Худой человек...

— Гони!

Ссыльный соскочил с нарты, упал — не удержался на затекших ногах, но быстро поднялся и побежал за нартой. Он чуть разобрал на лице шарф, открыв молодые зубы и кромку русых, тут же оледеневших от дыхания усов. Этой готовностью облегчить нарту, бежать, волоча по снегу армяк, выбиваться из сил до хриплого дыхания молодой ссыльный подкупал каюра.

— Куда спешишь?! — осуждающе выговаривал он теперь, когда их разделяли скользящие по насту нарты.— К женке?

— В Россию... К жене...— благостным эхом откликнулся ссыльный; произнести эти слова и то радость.— Пока в Олекминск: к дому ближе. Нам срок не весь вышел.

— Поп отпоет, тогда и т в о е м у сроку конец.

И на это ссыльный рассмеялся: щедро и оживленно.

— Тебе хорошо — молодой, а там больной барин.— Каюр показал туда, где, едва различимые, двигались две нарты.— Белый барин — ему в снег не сойти, ноги плохо ходят...

Позади осталась горная тундра с мало заметным глазу, но ощутимым для упряжки наклоном, теперь тундровая степь нещедро перемежалась колками, рощами лиственницы, заснеженной щетиной кустарников.

— Вон там встанем и подождем.— Ссыльный показал на темневшие впереди деревья.— А спать в улусе будем.

Под укрытие побуревших с морозами лиственниц съехались все упряжки. Тот, кого каюр назвал «белым барином», опасливо сошел с нарты на утоптанный вокруг снег и нетвердо стоял в подшитых кожей валенках, в потертом овчинном тулупе и в белом, грубой вязки, шлеме под якутской меховой шапкой. Он оттянул шлем, открыл худое, серебрящееся многодневной щетиной лицо: запавшие щеки, глубоко посаженные глаза, под косматыми, прижатыми кромкой шлема бровями. Он высок и худ, вероятно,

худ весь, от лодыжек до шеи, но овчина и валенки прячут худобу.

— Якутск близко,— молодой ссыльный словно винился перед стариком.— Из Усть-Алдана на лошадках повезут.

— Чем черт не шутит! — Старик затянулся табачным дымом из трубки и жестоко закашлялся.— Нельзя мне, а побалуешься табачком — и все ближе покажутся столицы наши и родной кров. Почему-то я побаиваюсь Олекминска, Иван Васильевич,— продолжал он серьезно.— Никифор, каюр мой, хвалит, а мне думается, гниль... Гнилое место.

— Вы не думайте об Олекминске! — Ссыльный резко, будто невмоготу дышать, освободился от шарфа: лицо мягкое, с округлым нежным подбородком, при общем выражении упрямства и мужественности.— Я Олекминск из головы выбросил: просто в мыслях не держу.

— Михаил! Слыхали фантазера! — Старик вернул тяжелому в груди и плечах ссыльному трубку, и тот взял ее обезображенной трехпалой рукой.— Он уже и Олекму миновал.

— В Якутске мы вас в больницу определим,— сказал Иван Васильевич.— А не возьмут ссыльного, переоденем и выдадим вас за юкагирского князька; зря, что ли, вы их языку обучились.

— И бросите меня в Якутске! — Старик ответил в тон, будто шутя, только глаза выдавали, что не шутит.— Вы не станете ждать. Михаил подождет, а вы нет. Через характер-то не перепрыгнешь...

Молодые молчали. Михаил выколотил о полоз трубку и спрятал обмороженную руку в бесформенную рукавицу. Иван Васильевич отошел — миновал каюров и заворчавших собак, медленно брел вперед, будто и короткая эта передышка нестерпима ему: впереди версты и версты, сотни, тысячи верст, а короткий, слепой от пурги день и долгие ночи для того только и даны, чтобы одолевать эти

версты. Собаки хороши на гиблых перевалах и горных карнизах, на только что схваченных морозом пружинящих болотах, на неверном сентябрьском льду Яны, потом будут и быстрые длиннохвостые якутские лошадки — крылья чудились ему за спиной.

— Тревожит меня Олекминск.— Речь старика звучала невнятно, цинготный рот не справлялся с сухарем, он отламывал по кусочку и размягчал в больных деснах.— Зазимовать бы в Якутске: газета не через год придет, и ехать до него недолго. Припугнуть бы губернатора, а?

— Господина Булатова?! Этот не из робких. Пугливого в Якутск княжить не пошлют.

— Не знаю, не знаю...— задумчиво проговорил старик, щепотками отправляя в рот растертую в муку оленину.— Прошлый год, когда Курнатовский засел в доме купца Романова, Булатов не выказал твердости. Жестокость — да. Хитрость — типично азиатскую, но поверх всего — трусость, нерешительность. Не тверд ваш Булатов, нет. Истерик!

— Курнатовский встретил казаков пулями,— сказал Михаил.— А мы? С чем мы пойдем на Булатова?

Он был прав и не прав, та частица правды, что открывалась старику, закрыта от него; жизнь нужно прожить, чтобы и тебе распахнулись дали, которых не берет глаз или опыт одного человека. Старик понимал это и не осуждал Михаила.

— Россия его напугает,— сказал старик.— Россия и маньчжурская кровь; трудно устоять между этакими страстями.— Зажмурился коротко и открыл глаза, слезившиеся неостановимо.— Бабушкин каюров поднял, неугомонная душа. А тут хорошо. Сквозной колок, как его бог-то уберег на здешнем ветру, а вступишь в него, и все кажется надежнее, вернее. До чего же хорошо на земле-то бывает! — Он уселся на парту.— Ногам зябко. Не мерзнут, а зябко, хоть на мне и меховые чулки.

Теперь упряжки держались тесно, Бабушкин каюра не торопил: на всех одна охотничья берданка, а волки в этих местах рыщут стаями. С приближением к улусу чаще попадались островки лиственниц и елей, белые овражки в черни кустарников — местах жестоких волчьих засад. Каюры напряженно запели, будто вынужденно, по необходимости.

— А что как волк услышит? — спросил Бабушкин.

— Ему и поем: он нас давно слышит. Он голоса считает, много людей, боится.

И над землей, над ночной поземкой, зыбящейся, призрачной, громче понеслись воинственные и печальные звуки.

В изнуряющие часы пути до улуса под Сиеген-Кюелем Бабушкин озабоченно думал, прав ли он, что задержался в Верхоянске до санного пути. Летом, когда ссыльным разрешили переселиться из гиблого Верхоянска в другие округа, немногие рискнули сразу двинуться в дорогу — без вьючных лошадей не осилить здешних болот и топей, каменистых троп вдоль Яны и ее порожистых притоков. Он ждал и готовился вместе с Михаилом и стариком. Ждать стало особенно трудно на исходе лета, когда ссыльные тронулись в путь; они уходили бурой августовской порой — дни выдавались теплые, а ночи схвачены морозцем, а он опасался межсезонья, не доверял ему; кто отправляется в путь теплым полуднем, не будет готов к рассветным пургам и морозу. Теперь в улусах и стойбищах они допытывались о ссыльных, покинувших Верхоянск в августе, и радовались — люди прошли на юг, к Якутску, в нужде, в болезнях, но были, были, и, похоже, все прошли. Жизнь и смерть идут рядом, но разве в благополучии и довольстве не умирают? Разве не настигает смерть и в теплых постелях, среди монотонной жизни, самая бесславная, унылая, самая презираемая им смерть? Не для жизни — на смерть ссылают их, чтобы сломить в ледяном карцере, а

они живы. Жив старик, белый барин, живы и те, кто тронулся в августе, чтобы внезапный циркуляр якутского князька Булатова или самого Кутайсова, генерал-губернатора Восточной Сибири, не задержал их в Верхоянске.

Не ошибся ли он, выбрав Олекминск?

Однажды, призванный в дом верхоянского исправника Кочаровского, когда тот, окликнутый женой, вышел из горницы, Бабушкин вгляделся в карту ссыльного края, вгляделся навсегда, как он умел, с одного взгляда запоминая план кварталов и домов, адреса или строки обращенной к рабочим прокламации. У Олекминска преимущество: он ближе к Байкалу, к Иркутску, к железнодорожной магистрали. Он открывал скорый путь по Лене и летом — на суденышке, и зимой — Ленским трактом. И виделся ему неведомый Олекминск как транзит: что-то на Руси случилось, чего не было прежде, кровь пролилась и в столицах и в Якутске, если Виктор Курнатовский встал во главе вооруженной дружины, значит, пришла тому пора. А солдаты? Сотни тысяч мужиков и рабочих, посланных в Маньчжурию,— где они теперь, горький, кровавый российский запас?..

Вдруг каюр закричал, и в ответ послышался не волчий вой, а близкий лай собак.

Улус спал. Света не было ни в обывательских избах, ни в доме купца, приметном крытым перильчатым крыльцом, ни в заброшенном станке — снег у коновязи лежал нетронутый. Ссыльные озирались в незнакомом месте, и уже было направились к станку, когда дверь одной из юрт отворилась и на снег пролился слабый маслянисто-желтый свет. От юрты к ссыльным приближалась темная фигура. Низкое небо придавило все вокруг, срубы с плоской кровлей и широкие юрты изрядно ушли под снег.

— Соснуть бы в тепле часов восемь,— обрадовался живой душе старик.— А то и десять! Я, Ваня, и десять часов сна за грех не сочту...

Отчаянный и радостный женский крик перебил старика, и переругивание псов, и внезапные глухие неурочные удары бубна.

— Петр Михайлович! Вы! Боже мой!..

Женщина бросилась к старику. Она вышла с непокрытой головой, темные волосы не держались, косы расползлись; поддержав ее, Петр Михайлович почувствовал, что пальто только наброшено на ее плечи и она вся открыта стуже.

— Я уж отчаялась,— жаловалась она, цепляясь за старика, будто он мог исчезнуть, сгинуть.— Станционный смотритель повесился... а нам тронуться невозможно... Андрей умирает.

— Маша! — поразился Бабушкин.— Отчего вы здесь?

Да, она́: Мария Николаевна, Маша, Машенька, верхоянский старожил, брошенная на Яну по громкому делу террористов. Она была молода, вся принадлежала идее мести и кары — жестокой, а главное, незамедлительной кары. Выросшая в семье врача, она врачевала не только ссыльных в Верхоянске, но и всех, кому могла принести облегчение. Теперь она стояла перед стариком — Бабушкин и Михаил уже спешили к юрте,— сама недужная, исхудавшая, с незнакомым, словно голодным оскалом большого рта.

— Бабушкин прав,— заговорила Маша, когда они в обнимку побрели на свет.— Нельзя было трогаться до санного пути.

— Я на саночках прокатился, а тоже тяжко. На салазках! — пошутил он.— Как вы одни-то остались? — спросил он с опаской.

— Не могли же в с е ждать, пока... выздоровеет Андрей. Тут кормиться трудно, они нам оставили все. Им надо было спешить, Петр Михайлович,— сказала она стоически твердо.— Прежде всего — дело. А я лекарь... вот и осталась.

Старик молчал: июль и август пролетели в лихорадочных сборах, может, он не заметил сближения Маши и Андрея?

— Дорога невозможная... Днем — надежда на жизнь, ночью — ледяной панцирь. И цинга, внезапная, жестокая...— Она перешла на скорбный, испуганный шепот: — Андрей сломался, это — страшно... Слышите?

Бубен! Удары то частые, резкие, сбивчивые, то вкрадчивые, затихающие, и тогда слышнее голос ритуальных колокольчиков, чье-то бормотание.

— Шаман,— горестно шепнула Маша.— Хозяин юрты вызвался привести, и он согласился.

Старик обиженно, будто его обманули, смотрел из-под косматых бровей, не переступая порога юрты.

— Пощадите его, Петр Михайлович, он умирает.

— Умереть надо достойно, Маша. Это так же важно, как достойно жить.

— Всю жизнь он был выше страха, а теперь не смог.

Старик увидел, как ряженный в меховые лохмотья шаман отбросил бубен с развевающимися лентами, склонился над запавшим животом больного, сучил рукой по выпирающим ребрам, тыкал когтистым пальцем в темную ямку пупа, будто выковыривал нечисть. К нему подступили Михаил и Бабушкин, шаман попятился, заслоняя свет жировой лампы, и испуганно выскочил из юрты, а вслед полетел, позванивая на ветру, бубен.

Чахоточного Андрея прикрыли до рыжеватой бороды старым, прожженным у костров и чужих очагов одеялом. Свистящее дыхание, провалившийся рот, сухой, красивый, с горбинкой нос — последняя, не стершаяся еще примета недавно горделивого лица,— крупные глазные яблоки, обтянутые голубоватым истончившимся веком; камланье шамана отняло у него остаток сил, казалось, он не заметил прихода ссыльных.

— Андрюша! — Маша опустилась на колени, провела рукой по его щеке.— Товарищи приехали, Андрей Сергеевич.

Веки дрогнули, отворилась узкая щель, и, словно бы в отдалении или во сне, он увидел огрубевшее на верхоянском ветру чужое лицо, высокий лоб, русые, нависающие над углами рта усы, нелюбезный взгляд серых глаз.

— А-а! Ива-ан...— начал он, будто припоминая.— Бабушкин.

Михаил развязал концы башлыка, снял его с лобастой черной головы.

— Бабушкин...— повторил Андрей.— Мне привиделось, что я уже в чистилище... Финита ля комедиа!

Старик оперся о плечо Маши, наклонился к Андрею:

— Не падайте духом, голубчик, крепитесь!

— Добрый... бесполезный человек...— тихо выдохнул больной.

Ему не возразили. Стало неловко, что сейчас из-под его век поплывут слезы и они станут свидетелями слабости, которую каждый из них жестоко отвергал всей своей жизнью. Но Андрей открыл глаза, крупные, синие, и с давним несносным превосходством оглядел стоящих над ним людей:

— Смерть последнего народовольца, чем не сюжет для картины!.. Соблазните господина Репина... может, снизойдет? — Бабушкин отодвинулся в полумрак, Андрей потерял его из виду.— Что, брат Бабушкин, не нравится? Потерпите — вам жить долго... мафусаилов век.— Бабушкин не отзывался.— Какой парадокс... мечтать уничтожить царя... застрелить помазанника... и подохнуть в смраде... под рукой шамана...— Глаза странно закатились вверх, будто они и там, в изголовье, искали Бабушкина.— Ничего я на земле не оставил, ни детей... ни женщины... Была великая вера... где она! — Блуждающие глаза заметили наконец Машу.— Прости, Маша, перед тобой я виноват...

— Что вы, Андрей! — Она самоотреченно схватила его руку, прижала к пылающему лицу.

— Учитель не должен... не смеет так уходить. Прости!..

Он умер после полуночи. Пришла ясность, трезвая, окрашенная, по обыкновению, иронией, он ушел, не юродствуя, просто, как жил. Лежал, укрытый холстиной, в настывшей юрте, за пологом спали хозяева, уснули Михаил и старик, а Маша маялась, и Бабушкин не хотел оставить ее одну. Потрескивал светильник; за слоями войлока, за снежным валом вокруг юрты лютовала пурга, тревожным было и дыхание спящих и вой почуявших мертвого собак.

— Я вам поесть не собрала,— повинилась Маша.

— Надо передохнуть. Все остальное — завтра.

— Вы верите в *завтра*? — Маша страдальчески сжала губы, подняла голову, длинная, исхудавшая шея обозначилась резко и женственно.— Какой смысл в наших страданиях, если все кончается так ужасно и нелепо!

— О каких вы страданиях?

Он спросил строго, даже грубо, и Маша сердито повела плечами, отчужденно стянула отвороты пальто, держа руки внутри так, что их не видно было Бабушкину.

— Что, мороз? — допытывался он.— Жизнь впроголодь? Да? Самодурство исправника? Это наши страдания?

— Как же это еще назвать!

— Как угодно! Ну, скажем, неудобства жизни. У нас миллионы умирают от голода, мужика секут на миру, секут становые и исправники, жизнь без просвета, без права пожаловаться,— зачем же мне считать подлую ссылку особым страданием! Ведь мы — с умыслом, Марья Николаевна, а гибнут миллионы безвинных...— Он спохватился, что говорит громко, в двух шагах лежал умерший, спали товарищи.— Если бы вы хоть год пожили в рабочей казарме,— сказал он тише,— в смрадном клоповнике на две, на три семьи...

— Я все это знаю...
— Умом! А если своей шкурой? Если плевки в тебя, и вши, и нечисть всякая — по тебе! Если гибнут дети...
— Неужели же мы не страдаем?!
— Наше страдание неизмеримо! — ответил он угрюмо. Маша терпеливо ждала.— Жить за тысячи верст от России, быть бессильным действовать — вот мука! Какое еще страдание сравнится с этим? А смерть! — Он махнул рукой и сказал с неутихающей болью: — Дети не должны умирать.

Маша поднялась и заставила себя смотреть на проступающее под холстиной тело.

— Знаю, вы ничего не прощаете, но мне ближе его вера: в бомбу верую! — прошептала она.— А народ, если его не встряхнуть, если кому-то не пробить для него брешей в стене, он тысячу лет проспит.

Поднялся и Бабушкин. Приблизился к ней, заговорил с раздражавшей ее рассудительностью:

— Когда-то — я еще был тогда зеленым юнцом — один народоволец передал мне план взрыва Зимнего. И я старался убедить себя, что план хороший, дельный, хотя для него требовалось прежде фантастическое изобретение, что-то вроде вечного двигателя. А нравилось — заманчиво! И я в смущении духа поспешил к товарищу, седому и умному. Он только усмехнулся на это, сказал, что если кто хочет убить царя, то надо пойти на Невский, нанять комнату или номер в гостинице и застрелить его, когда он поедет мимо. Люди воробьев убивают, неужели трудно убить царя?

— Они отняли у вас молодость! — Машу бесила его скучная насмешка.— Дочь убили, а вы не хотите мстить!

— Хочу. Только не бомба, не глупая дуэль с царем.

— Чего же вы хотите?

— Отчаянной драки и не в одиночку.

Маша отодвинулась к стене юрты, сказала устало:

— Слова, слова, Бабушкин, а жизнь так и пройдет. И шаман «под занавес». Или дьячок.

В Усть-Алдане они пересели на нарты с олеными упряжками и по Ленскому тракту спешили в Кангаласы, где, по слухам, можно было получить ямских лошадей. Двигались налегке, здесь чаще попадались селенья и можно было сократить дорожный припас. Земля загорбатилась, лежала в обе стороны всхолмленная, чаще дарила лиственничные и еловые рощи, дым очагов. Сытые олени шли споро, а небо все ниже нависало над землей, набрякало и обрушивалось на тракт, на скованную льдом Лену яростным, слепящим снегом.

В ночь смерти Андрея Бабушкин и Мария Николаевна многого не успели сказать друг другу, но и того, что было высказано, достало для отчуждения. Весь следующий день он молчал, молчал и тогда, когда несуразный гроб опускали в продолбленную с трудом могилу,— а ведь все сделалось его руками. Он встал затемно, вскрыл, никого не спросясь, станционную избу и из длинной столешницы и скамей сколотил тяжелый гроб. Вместе с хозяином юрты натаскал дров из поленницы у покинутого еще с лета станка, вдвоем они приволокли и саженное бревно, жгли костер на краю занесенного снегом кладбища, оттаивая мерзлую землю. Он один орудовал лопатой, взглядом прогоняя от могилы якутов и Михаила, уходил в суглинок по колени, по пояс, с бесстрастным, закрытым, ничего не говорящим лицом.

Маша подолгу, оцепенело смотрела на Бабушкина, и признательность мешалась в ней с раздражением, со мстительной мыслью, что он выбивается из сил ради одного: поскорее разделаться, услышать, как мерзлые комья застучат о доски, насыпать непредвиденную могилу на

краю якутского селения — и забыть, забыть о ней, помчаться дальше. А когда мужчины опустили гроб, она взглянула на Бабушкина с горестным вызовом и поразилась его несомненной скорби. «Кого же он хоронит? — метнулась повинная мысль.— Неужели Андрея? Или кого-то другого, тех, с кем ему привелось уже проститься навеки?..»

А он, постояв недолго, отвернувшись от могилы, словно по одним только звукам оценивая, хорошо ли идет работа, пошагал к избам, и в Маше снова вспыхнула недобрая догадка, что он поторопился к тойону требовать свежих упряжек, чтобы выехать засветло.

После Усть-Алдана он немного утихомирился. Олени бежали быстро, быстрее нельзя. Бабушкин по каким-то ему одному ведомым приметам старался угадать дорогу. Отдавался этому азартно и простодушно, горевал, если ошибался, но чаще угадывал верно.

— Неужели запомнили? — поражалась Маша.— Два года в голове держали?

— Везли меня сюда медные лбы, а я назло им твердил: вот она какая, обратная дорога! — Он осекся, не хвастливо ли получается, но хотелось поддержать в ней просыпающийся интерес к жизни.— Подробности навсегда запоминаю, это у меня с детства. Лес вологодский, не просто лес, а тот, что у Леденги, всякую ель, чуть поприметнее, овражек, варницу, любой црен солеварный, хоть они все как близнецы. Каторгу нашу соляную вижу перед собой, как вас, как возницу нашего. И во сне все встает, живое и мертвое...

И Кангаласы он предсказал задолго до того, как поселок вынырнул из снежной пелены, жалкий, прибитый к земле ветрами и свинцовым небом. Скоро Якутск, в Кангаласы ямская станция с лошадьми для едущих по казенной надобности. Здесь перемешаны избы и юрты, выделяются крепостью и высотой сложенный из матерых лист-

венниц дом урядника и, чуть похуже, без резных оконниц, изба податного, здесь холодная для арестантов, две лавки и питейное заведение. Но главное — лошади, ямская гоньба, лихие кибитки, которые домчат тебя до Якутска, если на то будет воля станционного смотрителя...

А он уже поджидал их на крыльце станка, будто и сюда они подкатили с голосистым колокольчиком. Станционный смотритель встречал их, выйдя из жаркой избы, в форменной фуражке на задиристой голове бойцовского петуха, в наброшенной на плечи шинели, и едва не уронил шинель, когда, паясничая, поклонился, качнул рукой понизу, у теплых калош, и прокричал высóко:

— Прошу, прошу, господа бывшие политические! — Его тешило замешательство ссыльных.— Пощадите старика, не морозьте!

Затворив за ними дверь, станционный смотритель сбросил шинель на лавку, фуражку поверху и молча дал себя разглядеть. Перед ними стоял чиновник не кангаласского полета, одетый безупречно, с дорогой булавкой в галстуке, только красновато-сизому лицу, петушиному — с маленьким острым носом, с напряженно мигающими глазами в сборчатых веках,— ничто уже не могло вернуть свежести.

— Позвольте представиться,— обратился он к Маше: — Эверестов, бывший якутский почтмейстер, по ложному обвинению ввергнутый в сию юдоль мерзости. Ныне свободный гражданин России! — почти пропел он.— Из каких мест изволите следовать?

— Из Верхоянска,— ответила Маша.— С разрешения департамента полиции направляемся в Олекминский и Вилюйский округа.

Смотритель погрел костлявые красноватые руки о медный, в подтеках, самовар и склонил голову.

— Будь на то моя воля, милостивые государи, я дал бы вам лошадей до самых столиц. И подорожной не спросил бы!

В нем проскользнуло что-то искательное, необъяснимое в отношениях чиновника с ссыльными.

— Пьян или умом тронулся,— шепнул Михаил.

— Пьян! — Шепот не ускользнул от маленьких тугих ушей с пучками седых волос.— Пьян — но отчего?! Не зельем, не кровью ближнего дух мой опьянен, господа! Я не пригласил вас сесть, даже даму,— он склонил в поклоне голову,— отнюдь не из грубости нрава: то, что я имею сообщить вам, достойно выслушать стоя...— Он ухватил со стола номер «Якутских губернских ведомостей», но спрятал газету за спину.— Еще мгновение, и я афропи́рую вас, но прежде выслушайте верного слугу престола. Взыскуете со-циа-лиз-ма? Скольких страдальцев я выслушал на этом месте: социализм, уверяли они, есть божие царство на земле. Превосходно! Коли господь приведет, я согласен, согласен, если это не помешает народам иметь царей! Вы, вероятно, знаете, что Англия — свободнейшая страна мира, однако же и там, в Альбионе, чтут короля.

— Господин хороший,— сказал Бабушкин, подавая ему подорожные,— распорядитесь насчет лошадей.

— Будут лошадки! Я с вас и прогонных не возьму, при одном условии.— Он заговорил тихо и проникновенно: — В Якутске, в этом Содоме и Гоморре Севера, вы подкатываете к дому господина Булатова, всемилостивейшего губернатора, и извещаете его, что станционный смотритель Эверестов считает его свиньей в ермолке, пакостником, прелюбодеем...— Он загибал пальцы с крупными, литыми ногтями; в его закосивших вдруг глазах проступило безумие.— Осквернителем веры, скотиной, псом шелудивым, вонючей требухой...

— Примет ли он нас? — сказал, усмехнувшись, Михаил.

— Ломитесь в дом! — приказал станционный смотритель.— Отныне позволено-с! — Он протянул им газету и рухнул на колени перед портретом Николая II, висевшим

на стене против зерцала.— Августейший монарх даровал России свободу... Манифест, господа! — Лицо исказилось гримасой умиления.— Государь даровал свободы, а скотина Булатов отнял у меня юную супругу, вверг ее в геенну разврата... Оставил ее в Якутске, в то время как я, я... вы видите, как я унижен...

Ссыльные уже не слышали его.

— Вслух читайте,— попросил старик Машу.— Люблю про мирское слушать: Гоголя, помнится, вы хорошо читали.

— *«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей, великою и тяжелою скорбью преисполняют сердце наше»*[1].— Она читала без выражения, будто все ждала чего-то и не верила, ждала и боялась, и чтение выходило неровное и этим будоражило старика.— *«Благо российского государя неразрывно с благом народным и печаль народная его печаль...»*

— Аллилуя-а... аллилуя!..— пропел старик и спохватился: — Не буду, не буду — читайте, одолжите старика.

— *«...От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы всероссийской...»*

— Ах, касатик! — вновь не удержался Петр Михайлович.— «Нестроение народное»!.. Знаешь ли ты, Михаил, что есть нестроение? Не знаешь, кавказец несчастный: а ведь это, проще говоря, беда, неустройство, беспорядок...

— *«...Повелев надлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга...»*

Заглядывая из-под руки Маши, Бабушкин быстро дочитал манифест и возвратился к тем строкам, где царь обе-

[1] Все подлинные тексты и документы даны в книге курсивом.

щает даровать населению неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов.

— *«...Призываем всех верных сынов России,*— дочитывала Маша,— *вспомнить долг свой перед родиной, помочь прекращению неслыханной смуты и вместе с нами напречь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле...»*

Они позабыли о чиновнике, который поднялся с коленей и в благоговейном молчании встал у портрета государя. Петр Михайлович взял у Маши газету, устроил ее на коленях и ощупал рукой карман:

— Куда-то очки запропастились. Боюсь ослепнуть от щедрот монарших.

— Золотые слова изволите говорить! — благодарно откликнулся смотритель.— Осмелюсь предложить вам чаю, господа.

— Нам бы лошадей, почтеннейший,— мягко попросил Бабушкин, хотя каждая в нем жилка играла нетерпением, неистово рвалась вперед, к неведомому.— Годы ямщицкого колокольчика не слыхали.

— Чаю! Чаю! — капризно повторил смотритель.— Отпразднуем, господа, великий миг!

Бабушкин стоял, как на распутье, среди избы, с шарфом в руках, но Петр Михайлович решительно сказал:

— Дудки, Иван Васильевич! Чаевничать будем: нынче и государь присмирел, а вы нами диктаторствовать хотите. Мы с господином Эверестовым,— он воздел глаза к темному, из старых плах, потолку,— люди старого закала, нам без чаю погибель.

Смотритель растрогался, уразумев, что перед ним люди приличные, хотя из четырех проезжих только двое — черноглазая женщина в бархатной истертой шубке и седой старик в суконной блузе распояской — подходили под этот сорт. Русоголовый усатый мужчина, скорее всего, из непочтительных разночинцев, а то и мужланов; сбросив

армяк и полушубок, он сунул руки в карманы серых тесных брюк, стянутых в талии широченным охотничьим поясом. Он был бы даже приятен с лица, если бы не выражение крайнего упрямства, самонадеянного умысла во взгляде нельстивых глаз. Четвертый — в синей сатиновой косоворотке и мятом, в заплатах, пиджаке — походил на мастерового или обнищавшего мещанина. Однако бог послал Эверестову именно их, и, расщедрясь, он достал из своих запасов початую бутылку шустовского коньяка.

Разговор за столом не складывался. Бабушкин, отхлебнув чаю, поднялся и мерял станционную избу неспокойным шагом.

— Радости в вас мало,— поражался чиновник.— Экие вы скучные какие! Русские ли вы, господа, или язычники?

— Русские, русские,— благодушно басил Петр Михайлович.— Даже и кавказец наш, Михаил, христианин.

— Такое трех престольных праздников стоит! За это грех не выпить! — Он потянулся рюмкой к Бабушкину.

— Не трогайте его,— посоветовал Петр Михайлович.— На нем грехов не перечесть, пусть он и этот возьмет на душу.

Эверестов уставился на Бабушкина, смущенный мыслью, что, может, он и не политический, а из душегубцев, и нет ему дела до гражданских свобод и монаршего промысла. Наступило принужденное молчание: слышались быстрые шаги Бабушкина, прихлебывание чая из блюдца, приглушенный нерусский говор за стеной. Бабушкин вдруг вплотную приблизился к станционному смотрителю, и Эверестов тоскливо подумал, что хорошо бы сейчас не сидеть, а стоять на ногах, отступить к стене, иметь свободу для маневра, но этот, отчаянный, уже надвинулся на него.

— Послушайте, хороший, превосходный даже господин,— сказал Бабушкин.— Нам невозможно оставаться

здесь ни суток, ни даже одной ночи.— Он легко взял Эверестова под сухой дрогнувший локоть, и чиновник с готовностью поднялся.— В Россию! В Россию, господин Эверестов!

Смотритель с облегчением покинул горницу, что-то негромко приказал прислуге, звякнула крюком дверь черного крыльца. Трое ссыльных, как сговорясь, отодвинули недопитые чашки.

— Многого мы не знаем.— Старик сложил руки ладонь к ладони и держал их близко к губам.— И все-таки, все-таки это победа! Ложь, двоедушие — и победа. Не верю я, чтобы он, трусливый и подлый, за здорово живешь подарил... Нет, не подарил...— Он искал точного слова.— Посулил все это России — гражданские свободы, думские законы, неприкосновенность личности.— Большими пальцами обеих рук он ткнул себя в грудь: — Неприкосновенность личности! Но слова, ненавистные ему слова, они вырваны у него из глотки революцией. Почему вы молчите, Бабушкин? — спросил он вдруг строго.

— Слушаю. Только страх мог заставить его подписать такое. А трусливые люди, опомнившись, мстят.

Все примолкли: обострился слух, ему будто открылись уже звуки дороги, говор сибирских улусов, вокзальный гомон, крик паровозов на магистрали, по которой они понесутся, полетят в Россию, туда, где революция принудила деспота встать на колени...

## 2

*Конечно, постепенно, часто встречаясь с интеллигентами, теряешь то особое чувство к интеллигенту, как к особенному человеку, а одинаково чувствуешь потерю, как близкого товарища-рабочего, так и товарища-интеллигента, но это уже получается спустя продолжительное время*

*знакомства с интеллигенцией, когда острое чувство, получаемое при первой встрече, притупляется, низводясь на обыкновенное искреннее чувство.*

*«Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина»*

Наружно все оставалось таким же, как два года назад, когда партия ссыльных задержалась в Якутске по пути в Верхоянск: редкие подворья, нестройные улицы, площадь, куда могли бы сойтись все якуты, сколько их было в огромном краю, развалины деревянной крепостицы, гостиный двор, сложенное из кирпича присутствие, городская дума с залом заседаний, церкви — распластанное, дремотное поселение. В часы, когда закрывалось присутствие или кончались уроки в реальном и епархиальном училищах, в женской гимназии,— темные фигуры, кутаясь поплотнее, перебегали под ветром широкие улицы. Не часто проносились запряженные оленями нарты и уж совсем редко — сани с бубенцами или тройки, они были наперечет — губернаторский выезд и лошади богатейших купцов и золотопромышленников.

Тогда Якутск торопился сбыть политических с рук, разбросать их по гиблому краю. Несколько давних ссыльных, отбыв срок, осели в Якутске,— два года назад встреча с бывшим политическим, Олениным, нагнала на Бабушкина тоску. Это был человек благородной внешности, с фанатическим выражением глаз, причастный к коммерции — в необходимой для пропитания должности при складских магазинах,— уверовавший в то, что поскольку край беден рабочими, а крестьянство вокруг темно и религиозно, то и спасение общества по необходимости должно произойти от приказчиков, чиновного люда и мелких, угнетаемых торговцев...

А теперь над Якутском блекло-голубое северное небо, второй день держится полное безветрие, дымы над кровлями лениво ползут вверх, и в спокойной выси их размывает небесная голубизна. Легкий морозец ласков, люди бродят кучками — в шубах нараспашку, в наброшенных тулупах и дошках, в упавших на плечи платках. Бедный чиновный люд, городские обыватели, вездесущие реалисты, гимназистки в высоких шнурованных ботинках, учителя, торговцы, приказчики, опьяненные внезапной вольницей отроки из якутской духовной семинарии, их пастыри, солдатки и солдатские вдовы — многие сотни людей высыпали на улицы, сходились к главной площади и к залу думских заседаний.

Ссыльные добрались до Якутска позавчера затемно. «Нынешнюю зиму волки и в город придут,— заметил философически ямщик.— Для мужика год смертный, и волку не легче. А нас бог миловал, вот и Якутск». Надвинулись темные избы окраин, юрты в очередь с рублеными строениями, приземистая церковь, тяжелый силуэт гостиного двора, глухие частоколы с тоскливым воем собак внутри. У дома губернатора ямщик придержал лошадей: «Смотритель сказывал, к губернатору вас». «Не к спеху, голубчик,— ответил Петр Михайлович, глядя на караульного солдата у ворот.— Нам побриться надо и фраки надеть». «Куды вас теперь? — хмурился ямщик.— Нынче в Якутске вас набилось, как рыбы в бредень. Через месяц и для детей малых хлеб кончится, а ваш где кусок? Жили, хлеба не сеяли». «Вези нас, где люди получше...» — добродушно сказал старик. Ямщик вскоре свернул в глухой тупик, осадил лошадей. «Насчет губернатора, когда ворочусь, что передать?» «Скажи, будут у губернатора»,— ответил Бабушкин.

Наутро Бабушкин пошел к дому якутского обывателя Романова,— здесь восемнадцать суток держали вооруженную оборону ссыльные во главе с Курнатовским и Ко-

стюшко-Валюжаничем. Весною прошлого года, когда слухи о «романовцах» достигли отдаленных поселений, многие откликнулись в их поддержку. Не смолчал и Верхоянск, Бабушкин написал протест на имя прокурора якутского окружного суда Гречина и собрал девятнадцать подписей. Это было на исходе марта 1904 года, под толщей снега лежала ссыльная Сибирь, казалось, что и фабричная Россия спит. А теперь и якутская глухомань забродила, к дому Романова влекло ссыльных, приезжавших с низовьев Лены, с Индигирки, с Яны, из вилюйских тундр. Люди показывали друг другу на расколотый пулей оконный наличник, на частые потемневшие пробоины, на разбитые свинцом доски крыльца и повисшее на одной петле чердачное окно. В тылах якутских домов поднималось солнце, подсвечивало бревенчатую крепость, будто над ней все еще полощется знамя революции. У Булатова достало бы штыков и свинца, чтобы истребить восставших, заставить замолчать их ружья. Значит, расчет Курнатовского был на другое: продержаться сколько можно, бросить вызов не одному Булатову, а полицейской России, держаться за этими стенами, пока телеграф и молва сделают свое дело. Еще в Верхоянске ссыльные шутили: якутский дом Романова восстал против векового дома Романовых! Так и вышло: р е с п у б л и к а, запертая в бревенчатых стенах, осененная кумачом, словно бы предсказала скорое будущее России.

А ныне ссыльные в ловушке: отрезанные тысячами верст от Иркутска, от железной дороги, они долго не попадут в Россию, останутся сторонними свидетелями дела, ради которого жили. Им не выбраться отсюда во всю долгую зиму, пока не вскроется Лена и не начнется сплав ссыльных на баржах. Чтобы отправить сотню ссыльных среди зимы, нужны десятки кибиток, полусотня лошадей только для начала, прогонные и кормовые деньги.

Обуреваемый тревогой, Бабушкин шел в направлении

зала думских заседаний в говорливой, суетной толпе. Старик остался в избе — внезапно сдало сердце, опухли ступни. Маша была с ним, не искала встреч с ссыльными эсерами, она словно потеряла интерес к событиям внешней жизни: зашивала и штопала, стирала в хозяйской кухоньке, превратилась из интеллигентной барышни в артельную повариху.

Очень уж непривычна ему толпа — мастеровой здесь такая же редкость, как добрый кусок мяса в тюремной баланде, Вокруг скудно-чиновный люд, шумливая молодежь, учителя, приказчики, еще не вполне верящие, что отныне позволено многое, а не одно только публичное чтение Некрасова или Слепцова. Чем-то все это смахивало на святки, на праздничное гульбище, но после Верхоянска этот людской коловорот вместе с солнечным, чистым и милостивым воздухом пьянил и трезвую голову.

— Здравствуйте, гражданин Робеспьер! — Кто-то дружески дернул за рукав распахнутого полушубка.

Это Оленин, его барственная медлительность жестов, его бархатный ораторский орга́н. С ним горбоносый, кадыкастый чиновник.

— Хорошо? — весело спросил Оленин.

— Хорошо! — отозвался Бабушкин.

— Свобода! — Горбоносый чиновник, со следами нужды в одежде, оглядел площадь.— Как мало нужно, чтобы все пришло в движение...

— А до свободы далеко,— возразил Бабушкин.

— Вы не знаете здешнего народа: сегодня на площадь вышли и те, кто месяц назад и не помышлял о политике.

— А ссыльные, которых заперли у вас и не пускают в Россию?! — спросил Бабушкин.— А губернатор под охраной солдат?

Оленин шагал между ними с видом судьи, возвышающегося над увлеченностью чиновника и неверием ссыльного.

— Иван Васильевич известный мизантроп.— Памятью Оленин обладал незаурядной, не пил, не опускался, изнурял себя только сочинением спасительных для России трактатов.— Верует в рабочую блузу, нашей мизерией его не соблазнишь.

— Они жаждут народных чтений, саморазвития! — Чиновник щедрым жестом обвел толпу.— Если бы ссыльные остались здесь, мы упрочили бы нашу свободу!

— Чтобы ее задушил из Иркутска граф Кутайсов?! — Бабушкин показал рукой невпопад, не туда, где за тысячами верст бездорожья лежал Иркутск, а на север.— Одной пятерней задушил?

— Скоро и в его пятерне не останется никакой силы,— сказал Оленин.— История не знает обратного движения.

У входа в думу Бабушкина поджидал Михаил. Давний друг Михаила, ныне чиновник якутской почтово-телеграфной конторы, добыл для них списки некоторых депеш якутского губернатора графу Кутайсову. Неосмысленно, одним слухом откликаясь на песни из глубины каменного здания, Бабушкин читал телеграммы, отправленные Булатовым в Иркутск: *«По впечатлению, которое производит характер поведения политических ссыльных за последнее время, возможно допустить, что прибытие в город политических, открыто заявивших, что они добровольно не выедут и подчинятся переводу лишь в такие места, где можно иметь заработки, является результатом соглашения политических ссыльных так или иначе освободиться от жительства в улусах и селениях и устроиться по крайней мере в Якутске, если нельзя выехать в Иркутскую или Енисейскую губернии».* И сетования на отсутствие денег — кормовых и прогонных, на непокорство крестьян, но желающих отправлять обывательскую гоньбу, запросы, не лучше ли до поры вернуть ссыльных на прежние места.

— Надо к Булатову.— Бабушкин спрятал бумаги.— И нагрянуть внезапно, чтобы ему не отвертеться.

Они вошли внутрь и по забитому людьми коридору протиснулись в залу думских заседаний. На возвышении стояла молодая большеголовая женщина, на ее груди алел цветок герани.

— Вихрями в бурные годы,— читала она надрывно, запрокинув голову,—

В край наш заносит глухой
Птиц незнакомой породы,
Смелых и гордых собой...
Много залетные гости
Пищи стране принесли...

Страна была Сибирь, а птицы стояли здесь же, сгрудившись, их залатанные тулупы, дошки, малахаи, *мягкая рухлядь*, извлеченная из каморок, из небытия, подаренная сердобольными людьми, сброшенные на плечи башлыки, их торбаса, бродни, поистершиеся в пересыльных тюрьмах пальто и шинели, да и голодные, нетерпеливые лица резко выделяли их в толпе якутских обывателей.

Сменялись ораторы. Учитель Лебедев, председатель общества народных чтений, бледный, редковолосый, с голосом тревожным и пророческим, говорил об открывшемся отныне невозбранном и свободном соревновании в промышленности и торговле, о «примирительных камерах», которыми покроется вся Русь «от поляка до тунгуса», где работающий и работодатель найдут справедливое разрешение всех несогласий. Лебедева сменил на подмостках длинногривый пастырь, голос его подобен был весеннему грому в почти небесных пределах двухсветного зала.

— Как согласить кроткий лик Христа с оберпрокурорами святейшего синода, с консисториями, с позором и блудом тех обязанностей, которые мы, слуги божьи, исполняем, торгуя делом божьим?! — Слуга господний быя молод, белые, острые зубы сверкали с веселым озорст-

вом.— Как измерить весь ужас положения, всю глубину засосавшей нас грязи?! Объединимся, братия, всем миром, всей епархией, и тогда — мы сила!

И его поддержала толпа, протодиаконская октава потонула в криках одобрения, в бравурных звуках духового оркестра пожарной службы. Ораторы сменялись. Говорили о позорной войне, о том, что Сибирь хотят выморить голодом, о зверствах, именуемых мерами кротости.

— Неужели же для того, чтобы ставить посты около тюрем, гауптвахт и губернаторских домов,— рука горбоносого чиновника метнулась вперед, в направлении окна, за ним в глубине площади стоял дом Булатова,— неужели же ради этого нужно отрывать земледельца от мирного течения гражданской жизни!

— Долой губернатора!

— Долой полицию!

Поднялся на подмостки и Михаил, заговорил негромко, но будто не их, якутских жителей, имел в виду, а примеривался к другому, завтрашнему митингу где-нибудь в Москве, в Ярославле или в Ревеле; говорил о рабочих и солдатах, о нуждах народного восстания, клеймил соглашателей, трусов, владельцев магазинов и домов, а те, кто слушал его, владели хоть и плохонькими, но домами, переживали нужду, беды и бесправие под собственной крышей. Священный гнев Михаила пригашивал воодушевление в их глазах; сторожкостью, осмотрительным размышлением тронуло зал. Того и гляди, взовьется Оленин — и завяжется гибельный для этой минуты спор о восстании и реформах, о насилии и парламентаризме. И Бабушкин легко вспрыгнул к Михаилу, придержал его за расходившуюся руку.

— Тут барышня славные стихи читала: о птицах, о гостях залетных.— Он заговорил так, будто пришел к ним с чем-то, облегчающим душу.— Чего греха таить — вот

они, птицы! — Он показал на ссыльных. — Не так ли? Выжили они и там, где от морозов падают птицы натуральные. Отчего же они не падают? — Редкий якутский обыватель не узнал близко ссыльных: в исповедях, в долгих ночных разговорах, и было непонятно, чему радуется сероглазый, перетянутый охотничьим поясом ссыльный. — Оттого, что живут эти птицы не для себя, а ради вас, ради тех, кто работает и в поте лица ест свой скудный хлеб. И еще оттого, что на свете живете вы; и тепло людское, которое мы видели на тяжком этапе от Питера до Верхоянска, вот что не дает нам упасть. И вы рождены для свободы, каждый из вас выше князя и барина, ибо кормитесь вы честным трудом. Может, кто-нибудь из вас обманывает себя, тешится, что отсюда далеко и до бога и до царя, а ежели далеко, то почему бы не устроить здесь свободный рай? Когда еще жандармы прискачут!..

— Не рай, а представительную республику! — поправил Оленин.

— Какая бы ни была — представительная, парламентская, — задушат ее. Свобода или придет из России, не божьим даром, а в помощь вам, или ее долго не будет. Смотрите, как много птиц слетелось нынче в Якутск; а ведь каждый — вожак, каждый дорогого стоит при своем деле в России. Поддержите нас, пойдемте к губернатору! Потребуем отправить ссыльных, сбить жандармские путы с наших ног! Сделайте это, и вы послужите революции, как никогда еще не служили прежде.

— Долой губернатора! — закричали из зала.

Он сошел с подмостков, наблюдая, двинутся ли люди за ним, или все так и потонет в речах, в анафемах и дерзких выкриках. Люди устремились к выходу, взбудораженная толпа двинулась через площадь к дому губернатора. Куда-то исчез Оленин, но горбоносого чиновника Бабушкин не упускал, держался рядом, поглядывал в его оробевшие глаза.

— Позвольте познакомиться: Бабушкин.

— Станислав Грудзинский. Не знаю, удобно ли? По совести говоря, у губернатора праздник, день ангела супруги.

Через пустынную площадь засветился огнями дом Булатова. Вдоль ограды возки, кибитки на полозьях, сани, оленья упряжка — большой съезд. Толпа, замедлившись, наступала на губернаторский дом, к ней пристроились на почтительной дистанции трое полицейских. Грудзинского будто ноги не несли дальше, его повело в сторону.

— Что ж это вы, господин республиканец? — придержал его Бабушкин.— На попятный? — Чиновник заслонился рукой, будто прятал глаза от караульного солдата.— Стыдно! Не бойтесь!

— Как это вы, право, можете так говорить...— смешался Грудзинский.— Солнце слепит, и только...

— Вы ведь служите в канцелярии губернатора? Вот и представите нас. У нас до господина Булатова поручение, я не стану вас обманывать.

Странный господин этот ссыльный в расстегнутом полушубке, так и не надевший на юношескую голову треуха. Смутно сделалось на душе у Грудзинского, а бежать поздно: уже его приметил караульный солдат и отступил от калитки, пропустив с ним Бабушкина и Михаила. Толпа теснилась у ограды, радуясь испуганным лицам гостей Булатова у заколыхавшихся оконных портьер.

В дверях депутация столкнулась с Булатовым — маленьким, юрким, желтолицым человеком, одетым не празднично, будто и начальственным своим затрапезьем он желал и смел унизить расфранченных гостей. С ним полицмейстер, казачий офицер и окружной прокурор Гречин. В руках губернатора соболья шапка, он торопился на крыльцо, но опоздал: в прихожей уже стояли двое ссыльных, а с ними Грудзинский, каналья, чиновник двенадцатого разряда,— его бы гнать давно, да вот матушку его

пожалел, церемонную, пришибленную польку, не раздавил, как насекомое,— он и явился, только пистолета в руке не хватает.

— Вы, я гляжу, действуете совершенно в духе времени: долой полицию! Да здравствует свобода! — Говорил с негромкой обидой, прикинулся, что не видит своего чиновника, хоть от ненависти к нему сердце губернатора сжималось болью.— Однако же всё пришлые... пришлые! — повторял он, глядя в глаза Грудзинскому.— Кандальный транзит. Не вижу здешних якобинцев...

— А господин Грудзинский? — наигранно удивился Гречин.

— А-а-а! — снизошел и губернатор и продолжал с неизбывной печалью: — Так! Так! Бросайте же, господин Грудзинский, свои бомбы в смиренных христиан, они безоружны!

Дверь в зальце, где протянулся именинный стол, горбатясь заливным и жареным, копченым и вареным, томленным в духовке и зарумянившимся на вертелах, толченым и рубленым, соленым и засахаренным, распахнута на обе створки, и зальце открыто все, с напуганными, словно они угодили в засаду, гостями.

— Как можно-с, как можно-с...— лепетал чиновник.— И в мыслях не имеем...

Но, будто опровергая смирение Грудзинского, с ранящим звоном раскололись оконные стекла, что-то блеснуло в воздухе и ударилось в праздничный стол. Булатов не дрогнул, не укрыл голову руками, даже не отшатнулся: подошел к столу, взял кусок тусклого, со вмерзшей грязью и конской мочой льда, и швырнул его в угол.

— Скоты! Скоты! — крикнул с гневливой обидой и уставился на полицмейстера.— Почему солдаты не стреляют?

— Зачем же кровь? — сказал Бабушкин.— Ее пролилось так много, что и государь обеспокоился.

— А ты что за птица?
— Аз есмь человек.
— Вы зачем пожаловали ко мне?
— В городе скопилось более ста бывших политических ссыльных. Черносотенцы не ведают истинных намерений государя и позволяют себе даже расправу над вышедшими из тюрем страдальцами, но вы, я уверен, понимаете свой долг.
— У нас тюрьма пересыльная, в настоящее время она пустует. Нам и толковать не об чем.
Он смотрел на Грудзинского, предвкушая, что одного преступника придется засадить, и камера найдется потемнее, только бы похолодало в Якутске.
— Мы настаиваем на отправке ссыльных в Россию, с выдачей бумаг и надлежащих нам прогонных и кормовых денег. Вы более других заинтересованы отправить нас из вверенного вам края.
— Да и вам у нас скучно...— Булатов не стал возражать.— Подходящего материала мало, разве что господин Грудзинский... Уж я бы вас спровадил, спровадил...— Он на свой манер — хищный, скрытно-злой — ласкал взглядом ссыльных.— Да ведь какая беда: нищий я. Вы не глядите, что стол богат, так уж в России повелось, что ни алтын — то в брюхо! Касса моя пуста, а вас сотня: самое малое тридцать тысяч рублей надо, чтобы вас только спровадить, а у меня и трех тысяч нет.— Похоже, он брал над ними верх, выпускал пары, не грубил, даже посвятил в свои затруднения.— Вот и господин Грудзинский у нас по финансовой части, он в вашей депутации, спросите-ка у него, есть ли деньги в моей кассе?
— Нет! Я говорил! — воскликнул обнадеженный примирением чиновник.— Я говорил им о нашей бедности!
Бабушкин прощально окинул взглядом именинный зал, истомившихся гостей; внезапно мелькнула шальная мысль,

проблеском, надеждой, но он не торопился открыть ее губернатору.

— Вы многим рискуете, оставляя нас здесь: нынче у людей на уме дерзость, неповиновение. Даже ямской начальник Эверестов едва ли не республиканцем заделался. Он велел кланяться вам.

Беспокойство выразилось на лице губернатора; один Эверестов встревожил его больше, чем всеобщая смута. Взгляд метнулся к столу, к низкорослой молодой, свежей женщине в белых завитках, и вернулся в прихожую собранный и трезвый.

— Он сумасброд и пустомеля. Несчастный человек.

— Оставить в Якутске столько горючего материала, не знаю, не знаю, господа.— Бабушкин будто сокрушался о них.

— Вы, кажется, пугаете нас! — строго сказал Гречин.— В устах ссыльного уже и один этот разговор — преступление и умысел.

— Я вхожу в ваши затруднения: окажись я на вашем месте, я нашел бы выход. Объявите сбор средств среди гостей! Позвольте им откупиться от страхов и возможных бед.

В кабинете, куда они удалились, при Гречине и правителе канцелярии, Булатов дал выход гневу. Ссыльных он оставил под присмотром казачьего офицера и двух солдат: подошло подкрепление, толпу оттеснили от ограды, возбуждение шло на убыль. Булатов метался по сумеречному, при одной свече, кабинету, сбросил сюртук, остался в рыжем жилете, постукивал кулачком по письменному столу, добегая до него, мысль его упрямо возвращалась к Грудзинскому, словно помертвевший от страха чиновник стал его главным врагом:

— Каналью Грудзинского не выпускать, сечь, сечь!

На именинном столе буду сечь... Спущу штаны — и на тарелки, на блюда, сервиза не пожалею. В ссылку пойду, а его высеку. Да, господин прокурор, вы-се-ку-с, что бы ни говорил ваш закон!

— Отправьте политических,— повторял Гречин мягко, пропуская это мимо ушей.— Пусть едут: партиями в тричетыре человека...

Сановное, снисходительное спокойствие безукоризненного в костюме и манерах человека сегодня особенно бесило губернатора.

— Но я не знаю, угодно ли Петербургу, чтобы я отправил в Россию этих мерзавцев! Приметили русого? Хоть в репетиторы нанимай, а ведь дай волю — убьет. А ну как я отправлю их в Россию, а мне голову, как куренку, набок?!

Страхи ходили за ним, шептались неразличимыми фразами политических, скрипели полозьями саней и кибиток, вырывавшихся из тундрового безмолвия на улицы несчастного Якутска; изворотливым нутром сановника и провинциала он чувствовал, что и в Иркутске, и в Зимнем та же растерянность, что и в Якутске. Как грибы растут нынче всякие общества, и пусть, пусть болтают, почитывают с подмостков рогожного, скудельного своего Некрасова, при нужде он прихватит их да сожмет, поиграет, как сытый кот мышонком. Ведь вот вызвал в этот кабинет учителя Лебедева, самого Лебедева, председателя Общества народных чтений; притопнул ногой, да так тихо, по ковру, а из Лебедева дух вон, из председателей — в мертвые души; даже из состава правления вышел. Две недели здешняя публика и мечтать не могла о зале думских заседаний, а нынче?! Поднялись, зашумели, заняли думу, к его дому подступили! Кто поручится, что завтра политики не учинят такое, что и проклятая романовка раем покажется?!

Денег на отправку нет, но он отрядил бы их и не по

правилам; он бы и двадцатью тысячами обошелся, и на губернские депозиты покусился бы, но желают ли Кутайсов и Дурново отправки политических? Не поплатится ли он за усердие завтра, если придет депеша об ужесточении ссылки, о водворении ссыльных на прежние места? Ведь в морозном воздухе нынче не благостный запах ладана — погромом пахнет, грозой, гневом на паству, во зло употребившую монаршие милости. Поди разберись, покати́ть ли пороховую бочку дальше от себя, под гору, к Иркутску, или сидеть самому на ней в ожидании, когда рванет?.. Вот оно, канальство жизни: даже близкие люди оставляют тебя наедине с заботами, пьют, жрут, будто им до тебя и дела нет, все, все, как один, и жена — завистливая мегера, и эта ситная кудрявая дура — ей бы пожить при муженьке в Кангаласы! Он уже ненавидел гостей и был не прочь потрясти их кошельки, да так, чтобы не осталось ни кредитного билета в кармане, ни кольца, ни серег, ни броши, ни золоченых цепочек с брелоками.

— Что вы все толкуете: отправьте политических! — накинулся он на Гречина.— А ежели не в жилу выйдет и меня четвертуют за усердие? Вы ведь каждую четвертинку присолите, а велят, то и съедите.

— Я верный человек,— сказал Гречин с достоинством.— И я не вам служу, а России!

— Вот-вот! — возликовал Булатов.— Так и начинается смута! Как же вы через меня-то перепрыгнете? Меня, значит, побоку? А Россия — что? Что она без нас? Тайга, болота, равнина — вы им служите? Нет, вы скажите, голубчик, как вы через меня-то перешагнете, чтобы сразу — к России?

— Если вам угодно олицетворение, то я служу государю и народу!

— Однако нелегко было извлечь из вас имя государя императора, силком вытянул! — грозил ему пальцем Булатов.— Новая поросль, у них о государе последняя мысль.

— Я дело говорю,— сказал Гречин, не смутясь наветом.— Турните ссыльных отсюда, дайте им разгон, а до России им не добраться. Застрянут в улусе, в волости и, даст бог, с голоду передохнут. А то под дреколья, под вилы пойдут: народ при своей земле мрет, отчего бы им не помереть?

До чего же верно: доползет десяток из сотни до железной дороги, в цинге, обморозив руки и ноги, и этих, выживших, сломит дорога. Забастовали ямские станции по тракту, мужики пухнут, прельщаясь уже и на грабеж. Уже приходят в Якутск угрозы, что не только лошадей под подорожные бумаги не дадут, но и в избы для пустого постоя приезжающие пускаться не будут: пусти несчастного в дом, а там и последним хлебом с ним поделишься.

— Шансов у них никаких: никто не даст лошадей,— продолжал Гречин.— С раската их, с якутского раската, да подальше, чтобы им уже обратно не повернуть. Выплатите им часть прогонных...

— Нет у меня прогонных денег!

— А вы сделайте, как этот репетитор советует: объявите сбор. Кстати, это Бабушкин из Верхоянска, помните? Его вперед и отправьте.

— Э-э-э! — легко и обрадованно воскликнул Булатов.— Бабушкин! Пусть хоть Дедушкин будет, а мы его с раската!

Они вышли в прихожую бодрые, благодушные, отпустили ссыльных, пообещав начать отправку. Только Грудзинский не успел ретироваться; Булатов и с ним был любезен, задержал за руку, будто простил его и ласкал, но едва за ссыльными затворилась дверь, как губернатор поволок его в зальце.

— Позвольте,— ворочался в его руках чиновник.— А манифест? А обещанная конституция? Ваше превосходительство?!

— Будет и конституция,— бубнил полицмейстер, подталкивая его коленом.— А прежде сечь будем.

Но экзекуция не состоялась: заподозрив недоброе, Бабушкин вернулся в прихожую и, глядя в плутоватые, подернутые сладким, мстительным туманом глаза Булатова, сказал:

— Так не ведется в просвещенных странах, где есть закон и справедливость, господин губернатор. Депутация от народа неприкосновенна вся и каждый ее член. Пойдемте! — сказал он Грудзинскому и пропустил его впереди себя.

### 3

Выходило так, что и ссыльные, изгои, брошенные в Сибирь на гибель, стоят теперь выше мужика, защищены законом, явились вслед за урядником, за податным, за волостным старшиной отнимать у деревни последние крохи; убывающую силу лошадей, ложку похлебки, ломоть замешанного на жмыхе хлеба, тепло прохудившейся избы. По дороге в Верхоянск они, подконвойные, вызывали жалость: горько, совестно было глядеть мужику на посеревшие в казематах лица, на арестантскую рвань, на страшную их несвободу. Теперь же они торопились в Россию под охраной бумаг к другой, быть может, сытой жизни, барской, в глазах темного мужика. Им замаячила надежда, а станки и улусы по Ленскому тракту жили без надежды: ее отняла война, похоронки, повинности и жестокий недород. Как в памятные Сибири холерные годы, иные деревни отгородились от мира заставами, ватагами осатаневших мужиков при берданках и вилах.

Снег валил и валил, санная дорога уходила под сугробы, и серым ноябрьским полднем ямщик привставал на передке, озирался, чтобы не сбиться с примет, не заехать под волка. На третий день пути посветлело,

солнце размыло малый круг в косматом небе, впереди показался улус, взыграл колокольчик, радуясь, что первым из-под дуги почуял ночлег и тепло. Но ямщик скоро углядел черную человечью стаю, где ответвлялась от тракта дорога на улус, и осадил лошадей.

— Сюда, барин, нельзя,— объяснил выглянувшему из-за его плеча Бабушкину.— Тут и в сытый год народ дикой! — И бросил пару в объезд, и колокольчик вопил среди сибирского безмолвия.

— Какой я тебе барин! — подосадовал Бабушкин.

— Однако грамоте обучен. Барина в жизни что ведет: кого барыш, кого книга... Бежишь в Россию, а зачем? К деньгам, что ли? Или погосты там теплее наших?

— К делу.

— По другому времени все бы ничего; я и кормлюсь-то при вас. А этот год боязно, как на разбой выходишь. На мне теперь ямской службе — край, дальше обывательская гоньба пойдет, зазимуете. Они лошадей забивать стали, чтобы падаль не исть.

В немногие дни, пока Булатов собирал гужевую дань с якутских толстосумов, ссыльные разведали дорогу, наиболее горячие волости, и раздобылись письмами к учителям и чиновникам, а то и к старостам, мирволившим политическим. Прокурору Гречину напрасно казалось, что они сослепу ушли в западню. Ссыльные предчувствовали, что их ждет, но выбора не было: или коротать в Якутске долгую зиму, в которую, быть может, в России и решится без них все, к чему они готовили себя целую жизнь, или броситься в дорожный омут.

Поначалу держались покучнее, гуртом в три-четыре кибитки, но дорога разметала их. Кончился припас: сухари и до звенящей твердости мороженные пельмени, которыми снабдили отъезжающих жители Якутска. Отлетали в Россию голосистые птицы, и сердце болело у тех, в ком оно живо было,— вместе с залетными гостями убывали и гор-

дые, непокорные слова, и взгляды без тени холопства. И печалились, и радовались за ссыльных, ждала их теперь не верхоянская безлюдная тундра, но тракт на Киренск, на Усть-Кут, на Жигалово и Качугу, ямская служба, станции и дешевая гоньба — радость казне, а мужику разоренье.

Но все рухнуло от далеких маньчжурских разрывов и яростного недорода, словно господь, чтобы не длить муки людские, торопил их к последнему порогу,— все пришло в расстройство и упадок. Иные станции стояли заколоченные, повергая в отчаяние пробившихся до них путников. Гудел набат в волостях, как в чумную пору, ямщики истово крестились, кидая лошадей в сугробы, на мерзлые кочкарники, к черту на рога, только бы от злобы, от смерти в объезд. На мглистом горизонте темнела — то справа, то слева — тайга, вдали возникали приленские увалы, обнажались гранитные речные крутизны.

Лошади бежали ровно, ямщик не понукал их, поглядывал неспокойно туда, где пора бы уже загореться огонькам улуса или сельца, и внезапно его сомнения развеивал разбойный посвист и в два ствола раскатывался выстрел. Лошади прибавляли шагу, будто им передавался страх ямщика.

— Третья деревня за день,— сетовала Маша,— а собаки не лают...

— Тут самый голод, барышня,— объяснял ямщик.— Уберёглись бы люди, а собакам — невозможно.

И снова угрюмая тишина и внятный к ночи скрип полозьев.

Такого голода не испытывал прежде и Бабушкин. Может, только в Леденге затяжными зимами, гнилыми веснами, когда в махотку клали и кору и с осени собранные коренья; может, в год, когда умер отец,— но детская нужда легче, она забывается от первой ласки, от запаха свежего подового хлеба, от прозрачного, сладкого петушка на

налочке, привезенного отцом из Тотьмы. Тот голод был, был, он и бросил его с матерью в нищие дворы и закуты Петербурга, в мальчики на побегушках к зеленщику. А может, голод всегда один — на всех голодных, один — на целую человеческую жизнь? Голод шел за ним неотступно; о тюрьме и ссылке и говорить нечего,— даже за границей, в Штутгарте, и на пароходе через Ла-Манш, ряженый, в темном пальто, в котелке и с саквояжем в руках, он не был сыт.

В кармане еще оставались гроши́, но он помалкивал, каждое его неумелое слово в трактире, в съестной лавчонке могло выдать: лучше уж потерпеть до Лондона, до нужного ему дома на Холфорд-сквер, 30...

Бабушкин то забывался под раскачивание кибитки, впереди Маши, которая стонала во сне, будто никак не отъедет от вырытой в мерзлоте моги́лы, то делался памятливым, трезвым, мысли бежали по прожитому кругу. Долго ли он жил или коротко? На это разум не умел дать верного ответа, а чувства давали, чувства вели его память долго, пока она не срывалась, как в пропасть, в тюремную камеру, и снова слышался стук в стену, и, холодея, он утешал себя, что этот стук — ложь, тюремщики задумали сломить его упорство. Стук разом состарил его, будто не годы, а десятилетия прошли в скитаниях, в тайных сходках, в печатании прокламаций, и Прасковья Никитична, Паша, Пашенька была всегда с ним, всю нескончаемую жизнь, в которой и встреч и расставаний хватило бы на век. Жизнь казалась такой долгой, что и здоровье, и неубывающую силу он принимал, почти совестясь, как нечаянный дар.

С пригорка они увидели разбросанное в ложбине село. От окраинных изб кинулись люди, быстро сложилась черная застава.

— Волость? — Бабушкин встал в кибитке.

— Видишь — они и убить могут.

— Езжай вперед! — упорствовал Бабушкин.— Нам отступать нельзя. Некуда.

— И бери вожжи, если черта не боишься!

Поменялись местами: ямщик укрылся в кибитке. Мужики стояли угрюмой кучкой, зажимая под мышкой берданки, ждали.

— Стой! — Путь преградил волочивший ногу старик.— Гони в объезд! Вези господ от нас куда хошь.

— Мы не господа, мы ссыльные,— сказал Бабушкин.

Старик в упор глянул на незнакомого возницу, зашел сбоку, хлопнул гнедого по крупу, рассмеялся:

— Мы тут от веку — ссыльные. Тебе срок, а у нас — бессрочная. Тебе кормовые да прогонные, а нам — розги. Ямщика куда девали?

— В кибитке он.

Старик ударил огромной, в рукавице, рукой по кибитке, и ямщик сошел на дорогу. Старик воззрился на него с укором и пьяным разочарованием.

— Сильвестр! Не ездил бы, время худое.

— Голодом сидите, а вино жрете,— выговорил ему ямщик.

— Казенную пьем! — крикнули из толпы.— Ферапонт, приказчик, поит. Он нас в сотню пишет.

— В казачью, что ли?

— В черную,— похвастал диковиной старик.— Свобода вышла: политикам свобода и публике тоже — политиков бить. Ты их на смерть не толкай, давай в объезд.

Простой этот разговор и старик, переступавший на недужных ногах, сделали ямщика несговорчивым.

— У нас подорожная. Доставлю их — и обратно.

— Они и сядут у нас, коли не лягут,— сказал старик.— Дальше не повезем, на порог не пустим.

За беседой они не доглядели ссыльного, услышали свист кнута и удар копыт,— кибитка понеслась навстречу избам, по деревенской улице, к площади, к волостному правле-

нию, к рубленой церковке и магазину. Старик выстрелил вслед, не в кибитку, а беззлобно, для порядка.

В волостное правление ссыльные вошли под хмурые взгляды мужиков и баб, усадили на лавку Петра Михайловича и сбросили с себя верхнюю одежду, показав, что намерены заночевать. Народ прибывал молчаливо: люди посматривали то на ссыльных, то на старосту и статного мужчину в короткополом кафтане и плисовом жилете поверх красной сатиновой рубахи, с лицом испитым до радужно-свекольной синевы. Слышался скрип ступеней крыльца и жесткое шорханье метелки: баба подметала волостное правление. Старосту смутила хозяйская основательность, с какой держались ссыльные, а более всего один из них, молодой, с непрощающим взглядом приметливых глаз. Он похаживал среди мужиков, запустив ладони под широченный пояс, какой старосте пришлось видеть только раз на казачьем офицере, приезжавшем валить медведя.

— Ты зачем против царя пошел? — спросил он у старосты.— Почему позволил этому мерзавцу торговать вином без патента?

Староста опешил. А приказчик не смутился — хмель глушил сомнения и страхи, толкал его на середку избы.

— Ты кто же будешь: податной али акцизный? — спросил он, подмигнув мужикам.— Может, ты урядник? Или, спаси и помилуй нас господи, сам губернатор якутский?

Приказчик развеселился; остальным виделось что-то необычное в нагрянувших людях, и похожих на виденных прежде ссыльных, и непохожих, немерных.

— Ты зачем разрешил приказчику писать мужиков в преступную черную сотню? — донимал Бабушкин старосту, глядя мимо Ферапонта.— Он что — казачий чин? Офицер? Ну-ка, список! Немедля список!

О списке сказал наугад, выражение писать в сотню вовсе не означало обязательного списка — людей поили, сговаривали, а затем уже и числили за сотней, держали их на примете. Но староста приблизился к Ферапонту, протянул руку за бумагой, а тот с хмельной удалью захлестнул полы кафтана и попятился к двери. На пути встал Михаил и кто-то из мужиков. Ферапонт пожал плечами — черноликий человек в башлыке чем-то пугал его — и отдал бумагу.

— Он и баб в сотню пишет! — пожаловались из толпы.

Бабушкин не спешил развернуть список. Как хорошо понимал он власть любого клочка бумаги с несколькими строками, выведенными писарской рукой, над жизнью сельского мира! С печатью она или без печати, правая или неправая, а пришла в волость, и беда, поборы, повинности, кара, и новая нужда, и безответные слезы. Не было бумаг радостных, облегчающих, возносящих, а только взыск и кара, кара и взыск. Так и теперь: пьяный ор в трактире, вино на дармовщину, и море тебе по колено, ты и сам себе кажешься грозным защитником царя-батюшки от смуты, ты в списке, твое там имя, твое, тебе его дали при крещении. Не читая, Бабушкин изорвал бумагу.

— В забастовке все,— пожаловался староста. В правление ввалились мужики из дорожной заставы, с ямщиком.— Они чего говорят: деньгами, если вдвое против нынешнего платить, и то расчет ли?

— Чего деньги — мука кончилась!

— А была она — мука?!

— Нам теперь подыхать!

— Слыхали? — Староста был рад взрыву: пусть узнают, каково ему приходится.— Бастуют. Как фабричные.

— Это их право — бастовать! — отозвался седой старик, и все услышали, какой у него густой, значительный голос.— Хватит, покуражились над мужиком, обложили земскими повинностями...

Староста поразился прихоти ссыльных: рубят сук, на котором сидят,— ведь и почтовая гоньба, за которой они здесь,— та же земская повинность.

— Везите их, мужики, подальше от греха,— посоветовал он.— С девицей оне...

Мужики молчали. Страх перед списком ушел, выветрился, тяжкое нестроение собственной жизни вышло вперед.

— Сам и вези! У тебя кони овес жрут,— тоскливо сказал сухонький, жидкобородый мужик.— Небось копытом доску прошибут, а мои на шлеях висят.

— Дети голодом сидят, а ты — арестантов корми!

Тому, кто везет ссыльных, полагалось дать им ночлег и пропитание, и была тут неловкость бóльшая, чем с лошадьми: нищенство, назойливое, насильственное, с соизволения начальства. И от растерянности Маша спросила не в пору:

— Что же это молодых мужиков не видно?

Изба откликнулась горласто, изливая душу:

— Выбили молодых!

— Теперь и седой мужик в цене!

— У нас один кобель остался — Ферапонт!..

— Милая! — Скорбная старуха, переждав шум, приблизилась к Маше, будто разговор этот давал ее полузрячим глазам право рассмотреть приезжую в упор.— Наших двое вернулось: мой внук и вот Катерины брат...— Она показала на женщину с метелкой в руках.— Побитые, из двух одного мужика не сложишь. Веди их, Катя, пускай смотрят. Я далёко живу, у леса, а Катя — за церквой.

— Поведу! — густым, низким голосом отозвалась женщина, вышла из притененного угла избы на свет и стала туго заматывать платок вокруг нежного глазастого лица. Она была невысока и чем-то впору Бабушкину,— может, так казалось потому, что они стояли друг против друга, русые и светлоглазые.— Им с дороги отогреться надо,— оправдывалась она перед односельчанами.— Нешто мы

звери... Дед живой ли? — показала она на Петра Михайловича.

— Ты веди! — озлился хромой старик из дорожной заставы.— Вызвалась и веди, покорми их кусочками! А лошадей запрягать не смей: отберем... под опеку.

Женщина порывисто повернулась на ненавистный голос, но перечить не стала, а от порога вдруг обратилась к старосте:

— Прежде ты им про учителя скажи!

Все притихло в избе, послышался вздох ссыльного, поднявшегося с лавки, и рывком, всполохом — звон колокольчика: это унес ноги ямщик.

— Учителя третий день под замком держат,— сказала Катерина.— Прежде кашлял, а нонешний день его и не слыхать.

— Не я сажал — становой пристав. Учитель из губернии приехал, смутили его там.— Староста не знал, как определить вину учителя.— Сюда прискакал — манифест объявил. Свободу!

— Царь объявил манифест,— сказал Петр Михайлович.

— Царь — потом,— уперся староста,— а вперед он. Царь манифест объявил, а этот, видишь, свободу!..

Шли через вечернюю, в синих тенях, площадь. Староста робел, сомневался, по закону ли держит он в холодной больного учителя. Недолго бы и выпустить, учитель в тайгу не убежит и старушки матери не бросит, но и выпустить по нынешнему времени боязно, Ферапонт уверял, что теперь учителя и убить можно, никто в ответе не будет, манифест спишет. Выходит, что, заперев учителя, он сохранил ему жизнь, а накормить его не получалось — не берет ни хлеба, ни воды. Толпа в молчании обступила глухой сруб, староста загремел ключами и амбарным замком, отворил дверь. Черная тишина дохнула из сырого, могильного зева сруба.

— Ко-о-лень-ка! Сы-нка! Живой ты?..

Староста откашлялся: страх за себя сдавил ему грудь.

— Собирайся, Николай Христофорыч, уж отлежался. Явилась твоя свобода! — сказал он прощающе и льстя ссыльным.

Ответа не было: ни стона, ни чахоточного, сиплого дыхания.

— За-а-мерз! — закричал кто-то.

Толкая друг друга, люди бросились внутрь. На деревянной скамье, прикрытый овчиной, лежал учитель. Вечерний, снегами отраженный свет обозначил его заросшее, диковатое лицо, впросинь окрасил щеки и лоб. Он медленно сел, свесил худые ноги в валенках.

— Кто вы? — спросил у ссыльных удивленно.

— Ссыльные. Бывшие ссыльные! — поправилась Маша.

— А-а-а! — протянул он апатично.— Революционеры!

Он снова растянулся на скамье, уставясь в темные доски над головой.

— Христом богом прошу! — взмолился староста.— Иди ты отсюда, Христофорыч, иди, покудова жив... Возьмите его, матушка!

Мать хлопотала над дитятком, то гладила его по волосатой щеке, то подтыкала тулуп, чтоб не дуло, не морозило, то обнимала, поверх овчины, грудь. Взгляд учителя оставался неподвижен и горд, на губах появилась сострадательная к людям улыбка.

— Иди отсюда! — Староста потянул его за валенок.— Совести у тебя нет: детишки с наукой заждались.

— Желаю от законной власти обрести свободу! — сказал учитель торжественно.— Меня запер становой пристав, ergo [1] — освободить меня может киренский прокурор!

[1] Следовательно (*лат.*).

— Били тебя, Коленька? — страхом, тоской исходила старушка, опасаясь, что ее вытолкают, навесят замок и снова она будет бродить вокруг, мучаясь, жив ли сын.— Били?

— Самую малость, матушка,— успокоил ее староста.— С толком, как ученого: головы не касались. Нешто мы дикие?!

## 4

Она молодо сновала по избе, собирала на стол, будто дело шло к щедрому застолью, а не к скудной, голодной трапезе. В печи в чугунке закипела вода, приправленная чагой, в махотке варилась картошка в мундире, на противень легли ломти хлеба, которые Катерина окропила водой и сунула к огню. У ссыльных нашлась горстка голубых на изломе кусочков сахара и немного сбереженных для старика пельменей; эти лакомства отдали двум малолетним девочкам Катерины, отец их погиб в Маньчжурии. При малых детях и Катерина казалась моложе: совсем не старая солдатка, крепкая, плечистая, тонкая в талии, с округлым и плавным стволом шеи. Ее безрукий брат, Григорий,— правую укоротило по плечо, левую выше запястья — двигался мало, зачем трудить ноги, если они не вынесут его к живому посильному делу, и Катерина суетилась по избе за двоих, всюду поспевая, все примечая светлыми, прозрачно-зеленоватыми глазами. Она терялась в догадках, кто из ссыльных муж темноволосой женщины — Михаил или тот, кого звали Иваном Васильевичем, и склонялась к тому, что, верно, второй. Может, думалось так оттого, что и ей он приглянулся больше. Он редко взглядывал на Катерину и все вскользь, но его взгляд она принимала остро, отдельно от внезапного многолюдства избы и самого течения времени. И все ей казалось, что на сироток ее он смотрит особенно, радуется им, но и то-



скует, будто думает о них, смотрит и думает, знает что-то о них, об их прошлом и будущем. Катерина с ковшом воды вернулась в избу из сеней и увидела, как Бабушкин принял из рук ссыльной жакет и повесил его на гвоздь у двери.

— Чудно́ как у вас,— сказала она вполголоса, чтоб ее не услышала приезжая,— муж с женой, а будто чужие.

— Мы и есть чужие.

Катерина повела глазами по избе, по гостям: не смеется ли он над ее доверчивостью?

— Он, что ли? — кивнула на Михаила.

— И он — товарищ. Мы все друг другу товарищи. Тюрьма, ссылка, общее дело.

— Теперь-то вы вольные! — сказала, словно завидуя.— Теперь вам на все четыре стороны воля.

— Теперь нас дело приневолит, Катерина Ивановна. А мы и рады.— Он разглядывал ее, будто теперь только, после девочек и безрукого Григория, после пляшущего в печи огня и потемневших венцов сруба, пришел и ее черед.— Вы старика и Машу уложите потеплее.

— Жалеешь ее? — усмехнулась Катерина.

— Чего ее жалеть? Она сильная. Эта барышня в губернатора стреляла, чудо его уберегло.

— Человека бог бережет.

— А его — черт! Простить себе промаха не может.

Катерина вывалила из противня хлеб на скобленную до костяной белизны столешницу. Он лежал перед ними темными горбушками и рваный, и обрезками, будто несколько хозяек разного достатка сообща собрались сушить сухари: у кого и пшеничная мука еще не вывелась, а кто и к ржаной примешивал толченую кору.

— Гриша мой не бездельный, он наш кормилец, не смотрите, что без рук.— Ссыльные не понимали, каким образом калека кормит сестру с дочерьми, и Катерина гордо объявила: — Он сбирает.

— Что делает? — переспросила Маша.

— Сбирает! — удивилась Катерина непонятливости ссыльной.— По избам ходит. Христарадничает...

И побежала взглядом по рукам, не дрогнут ли, не вернут ли на стол хлеб, не побрезгают ли. Маша торопливо откусила от нищенской горбушки, подняла глаза на Бабушкина и поразилась его отсутствующему взгляду. А он на миг, с ломтем в руке, увидел русого мальчика в чунях поверх онуч, в отцовском, ненужном уже мертвому, картузе, бегущего по сугробам к избе с лукошком, полным кусочков. Видел, как вбегает с хлебом в избу, бросается счастливый к полатям, где лежит больная мать.

Он коснулся хлеба губами, словно поцеловал его, и взволнованный встал из-за стола.

— Гриша у нас тверезый, не пьет.

— Не подносят, я и не пью,— отшучивался Григорий.— А мне можно: никого, без рук, не обижу.

— Обидеть и словом можно,— сказала Маша.— Тяжко.

— А ты не обижайся,— присоветовала Катерина.— Отходи сердцем, и никто с тобой не сладит. Не злобись.

— А сама! — Григорий благодушно покачал головой.— Чуть что, как сатана...

Катерина засмеялась тихо и благостно, будто обрадовалась упреку. Правда, правда, в избу к мужу пришла кроткая, добрая, хоть к ране прикладывай, потом смерть пошла вырубать семью, кашлем, горячкой задохся первенец, свекор и свекровь в прошлую голодуху ушли, мужа отняла война.

— Испортилась я, правда,— призналась она.

Бабушкин слышал и не слышал их. Мысль снова проделывала путь от Верхоянска до этой избы и летела дальше, мимо деревень и улусов, за Урал, в родные места, и повсюду мысль и память ранила горькая нужда. Чем только живы истерзанная плоть и дух человеческий? Захотелось выбежать из избы, найти на дворе свежих лоша-

дей, упасть в розвальни и только слышать, как свистит, подвывает ветер, как храпят кони и чьи-то быстрые руки перепрягают их у станций, живо, без отдыха, и он снова мчится навстречу судьбе. Только бы не опоздать, не явиться к шапочному разбору, быть в деле — неужели оно сделается без него?..

Заговорили о свободе, ведь и царь в манифесте помянул свободы, значит, полагал безрукий, слово дозволенное; и о том шел разговор, что если не привезут из России зерна, то и сеять будет нечем: у кого дети мрут, тот не станет беречь и последнее зерно. Маленькие руки Катерины вдруг перестали летать над столом, легли, чуть развернутые жесткими ладонями кверху, будто набирались сил перед будущей пахотой. И нисколько ее не тревожило, что некому, кроме нее, приналечь на соху, бросить зерно в оголодавшую, темную, сырую землю,— было бы зерно, она и одна управится. Взрежет, распластает, разровняет землю, пухом ляжет поле под зерно, и зазеленеет, заколосится, отплатит ей за труды, только бы зерно... И так ясно — вся, до седых волос, до ранней старости — представилась Бабушкину жизнь Катерины, что руки его сами потянулись к сонной трехлетней ее дочери, он усадил ее к себе на колени, прижал к груди, нежно погладил темя подбородком. Хозяйка вспыхнула мгновенной радостью и смущением.

— Свобода! Народу много чего посулили,— сказал Григорий,— а штыки генералы за собой оставили.

— Генералы — лакеи,— горячился Михаил,— сами они ни черта не стоят. Царь, думаешь, святой?!

Брат Катерины склонялся робкой мыслью к тому, что не на царе главная вина. Мыслимо ли ему из Петербурга уследить за всем, упечь казнокрада, вызнать, доставили ли в такой-то полк снаряды и патроны или оставили солдат беззащитными? Без царя мир Григория как-то не устраивался, оказывался мертвым и будто несуществующим.

— Выходит, по-вашему,— руби, круши царя, казну! — сомневался он.— А вожжи кому?

— Народу,— ответил старик.— Рабочим. Тому же мужику.

— Старосте нашему, что ли?

— Староста царю нужен был: ему-то и нужны старосты, урядники, податные, становые приставы. Я говорю — народу. Вам!

— Мне, безрукому,— и не суйся.

— Для управления голова нужна и совесть,— сказал Бабушкин тихо, оберегая засыпавшую девочку.

— А если война, кто ее народу объявит? А подати будут?

Бабушкин неясно представлял себе эту сторону неизбежного, на его взгляд, народного будущего. Подати, оброк, повинности — все это постыло, ненавистно, в самих словах нечистота и зло.

— Ну, не подати, пожалуй... налоги. Налоги, взносы.

Неуверенность ссыльного укрепила Григория в сомнениях.

— Какая свобода при нашей-то нищете! Ты прежде накорми человека, дай в свое сознание войти, пристава укороти, фельдфебеля, чтоб морду не били. А то — свобода!..

Темная изба наполнялась дыханием спящих; калека ни одной ночи после окопов не проспал спокойно, все в клокочущем храпе, в стонах, в скрежете зубовном. Катерина бессонно лежала с уснувшими девочками на полатях и думала об Иване Васильевиче, и не могла понять, зачем он ушел в холодную горенку, зачем дверь притворил, осторожно, без скрипа,— а Катерина услышала, жарким лицом ощутила, как пресекся легкий ток прохлады. Не верилось, что он уснул, выбросив из головы мысли и заботы, и то,

как притихла у него на руках Оленька и как она, Катерина, сняла ее с его бережных отцовских рук, как коснулась его плечом. Думалось ей, что ушел он с умыслом, для чего-то, ради кого-то, и от робкого, мимолетного предположения, что он в горенке ради нее, сердце обмирало.

Зачем же ради нее — ради барышни, которая в кого-то стреляла. Уж она-то отчаянная, не испугается греха, да и грех ли это, если власти отняли их ото всего и бросили на чужую сторону. Катерина ревниво ловила ночные звуки: тихий звон стекла в стиснутой морозом окончине, шорох мыши в щели и в корье, скрип кровати под заворочавшимся стариком; ссыльная не шевелилась. С полатей Катерина смутно различала фигуры спящих, стол, синеватый выруб окна. В горенке светлее, там два окна, стекла, не обросшие в холоде льдом. Ах ты беда! Она не завесила окна, может, там от снегов так светло, что ему и не уснуть? Сон отлетел, голове сообщилась дневная ясность, а телу — дерзкая легкость, жажда двигаться, не дать темному сну отнять эту ночь. В памяти пробегал прожитой день, его последние часы, с той минуты, когда шальной примчался, не по-ямщицки нахлестывая лошадей, мчал будто не по селу, а по волчьему логу. Вспоминала первый быстрый взгляд, когда она вызвалась вести ссыльных, а он будто обрадовался ей, вызову, брошенному колченогому старику. Дело шло о том, чтобы показать им калеку, повести в избу на горькие смотрины, а Катерина и он тоже знали уже, знали, что к постою. Ведь ни слова не было сказано, пока шли из волостного правления, пока выволакивали тронувшегося умом Николая Христофорыча и белой тропой, молча, в затылок, двигались к ее двору. Значит, судьба? Значит, так было им назначено, и оттого он посадил на колени Оленьку, а потом ушел с хозяйским тулупом за дверь. Так, все так, и не было ни одной приметы против, ни одного недоброго знака, и жалость Катерины к постояльцу

будоражила, торопила сойти с полатей, задернуть занавески, чтобы свет луны не помешал ему спать.

Приподнялась па локтях, напряженно смотрела на лоскутное одеяло, которым укрыта ссыльная, лежала до полуночных петухов, потом скользнула вниз, уверилась, что Маша спит, вышла в сени, вернулась, что-то неся в руке, и, как была, босая, шагнула в горенку. Широкие доски по-уличному студили ступни, в горенке все открыто глазу: диковинный пояс, брошенный на табурет, поверх одежды; ссыльный, уснувший на боку. С распушившимися волосами, с отчетливыми, показавшимися длинными ресницами, он выглядел мальчишески молодо, и Катерина усовестилась вдруг. «Господи! — подумала она с горестным облегчением.— Нет ему до меня дела... Он своего доможется, возьмет лошадей, уедет, а о них старшой и не вспомнит, об их скучной, несытой избе. А ее и подавно: с чего бы он стал вспоминать ее, злую сибирскую вдову, невидную, плечистую бабу...» Устыдилась, что стоит у постели с чашкой мороженой клюквы и с другой, где сахарился на донышке мед, будто пришла покупать ссыльного, ублажать его.

Катерина поставила чашки на стол и бесшумно задвинула занавески; горенка погрузилась в густые сумерки. Деревянный, со спинкой, диван скрипнул у нее за спиной; она порывисто обернулась.

— Катерина Ивановна?

— Лежу на полатях, думаю, не уснете при луне.

— Мне свет не мешает.— Он лег на спину, завел руки под голову.— Мысли донимают, а луна — пусть.

О мыслях сказал не жалуясь, к слову, как если бы в горенку вошла его сестра и они давно не виделись. Разговор получался добрый, и смотрел он по-хорошему, не гнал ее ни взглядом, ни тоном.

— Голодный, поди...— Ее морозило снизу, от незакрытых ног, бросало в дрожь.— Совестился, что ли?.. Кусоч-

ками брезговал,— упрекнула она, хоть и чувствовала, что напрасно.

— Нет, не брезговал. Я и сам мальчишкой, случалось, тот же хлеб ел.

— Тогда чего ж постился? Мы вам не жалели.

— Это на Руси — святой хлеб,— сказал он негромко: во всем была ночь, тяжелая тишина обложила их на сотни верст кругом.— Я бы его под стекло сложил и в столицах господам показывал.— Он заметил ее босые ноги и как ее трясет, как сами собой подергиваются губы.— Что это вы босая, Катерина Ивановна? — Он быстро сел на диване, и Катерина поняла его так, что он освободил ей место и ей можно сесть, поднять ноги с полу.

— За что же такая насмешка? Под стекло...

— Пусть бы увидели, как мы платим мужику, который и кормит Россию и жизнь за царя-батюшку отдает.

Катерина поджала ноги, уперлась пятками в край дивана, накрыла подолом, мяла в руках настывшие пальцы.

— Все ты о народе печешься...— сказала она с ласковым упреком.— О себе когда подумаешь?

— О-о! — легко сказал он.— На Яне времени хватало.

— И чего удумал? — спросила серьезно.

— Торопиться! Спешить удумал, Катерина Ивановна!

— Уж вы и так всюду поспели: и в злодеи, и в святые угодники.

— Именно что в злодеи, да еще нераскаянные.

— Она правда в графа стреляла?

— Уж не знаю, в графа или в князя, а бросала.

— Как это — бросала?

— Бомбу.

— Господи! — вырвалось у нее.— И седой туда же? И ты?

— Мы с ним мирные,— усмехнулся Бабушкин.

Катерине непонятно: как это девица, тонкая в кости,

с барским темным пушком над губой, бросает бомбы, убивает, а мужики — мирные?

— Всё вы летите мимо,— сказала она с женской отрешенной тоской,— а куда летите? Сел бы ты, Иван Васильевич, на землю, тебя бы земля признала.

— Я и был при ней,— охотно откликнулся он, и ей показалось, что он благодарен ей за то, что разбудила и помогает коротать ночь.— Мальчишкой. У меня и земельный надел мог быть под Тотьмой. Только не суждено мне вернуться к земле.

— Жандармы тебя там караулят?

— Меня фабричная жизнь забрала.

— А что в ней — сиротство! — убежденно сказала Катерина.— Прорва сатанинская.

— Ты фабрику-то живую видела?

— Тятя рассказывал: в Петровском заводе год жилы вытягивал, когда прошлый раз голодом помирали. Он и сказал — *пекло железное*. Денег немного привез, а для кого? Одну меня у соседей нашел...

— Да, железное пекло.— Жалость кольнула сердце, он коснулся ее руки, словно хотел увериться, жива ли она среди стольких бед.— А при этом *пекле* сходятся люди, не на год, на всю жизнь. Тысячи сходятся: побратаются в одну семью, и, сколько жив будешь, ни на что ты этой семьи не променяешь.

— Есть ли вернее дело, чем на своей земле жить?

Он вытянул ноги под тулупом и задел ее, и вся она откликнулась невольному прикосновению. Соскочила на пол, взяла со стола чашки и вернулась к дивану, не к изножью, а к подушке, близко к его глазам, к доброму, сочувственному лицу.

— Я тебе ягод принесла... И медку чуток...

Он потянулся мимо чашки, теплыми пальцами сжал ее запястье:

— Девочкам оставь.

— Об них не печалься,— шепнула она, присаживаясь на корточки, заглядывая в его лицо.— Я ими только и жива... им лучший кусок. Вторую зиму без отца: я и забыла-то, какой он был, мой мужик,— прошептала она горячо, бесстыдно, пристукнула о пол чашками и схватила его руку.— Молоденький ты, гордый... не укротила тебя жизнь. А ведь ссыльная жизнь — хуже смерти.

— Лучше...— сказал он. Она прижалась к его рукам, потерлась щекой, твердым, хрящеватым ухом, шелковыми волосами.— Лучше,— растерянно повторил Бабушкин.— Вот — живой.

— Вижу...— Потянулась к нему изголодавшимся, страдающим и боязливым телом.— Уж я тебя приметила... как ты в волость вошел, так душа и упала...

Он ощутил испуганное биение ее сердца за худыми ребрами и влажные от внезапных слез щеки, и крупные, пожорхлые, ищущие губы. Это длилось мгновение, он схватил ее руками за плечи, пальцы уже готовы были соскользнуть, сойтись за ее спиной, сжать, стиснуть; хоть на время перестать думать о чем бы то ни было, кроме того, что она пришла, что она живет, существует и так внезапно откликнулась одному ему. Но руки задержались, сжимая ее плечи, они будто окоченели, не сгибались в локте, отодвигали Катерину, отстраняли так, что запрокинутое ее лицо, жадное и ждущее, открылось ему все.

— Уходи... Катерина Ивановна... Слышишь, Катя... Уходи!..

Он разжал руки. Она едва удержалась на корточках, пошатнулась, униженно завертелась по горенке, будто что-то искала, а не могла вспомнить — что, выскочила за дверь, притворила ее и уткнулась лбом в стену. Тихо застонала, подавляя боль, и стыд, и самое дыхание.

— Что, обидел? — услышала она негромкий голос.

Ссыльная сидела за столом, в расстегнутой на высокой груди блузке, завернутая по пояс лоскутным одеялом.

— Прогнал!..— простодушно призналась Катерина.— И вас я всполошила, непутевая,— вшшлась она.— Занавески пошла закрыть, его разбудила.

— Ничего, в ссылке мы отоспались.

— Не знаю, как вас и звать: он Иван Васильевич, а вы?

— Зовите Машей. Мы, я думаю, одних лет с вами. Только вы уже успели многое, дом у вас, девочки, а я одна.

— Неужто одна? А родня?

— Я со всеми порвала: так им лучше. И все начинаю, начинаю, сначала все начинаю, а жизнь идет.

— И он один?

— Он — славный человек: книжный немного... рассудочный. Живет, как положил себе жить. Жандармы в Петербурге взяли его и жену с маленькой дочкой. Дочка умерла в тюремной больнице, в бараке, а жену выслали куда-то. О смерти дочери он узнал в тюрьме, товарищи ему через стену дали знать особым стуком.

— Это как еще? — подивилась Катерина.

— А вот так! — Маша тихо стучала по столешнице горестную весть; память безотказно возвращала ей тюремный код. Заворочался Михаил, недоуменно поднял голову Петр Михайлович — велика была власть тюрьмы над их объятым сном сознанием.

— Этак стучат, стучат, а он понял? Умной! — Она уже не сердилась на Бабушкина, на его гордыню и скупость, а жалела и казнилась.— А как звать жену?

— Прасковья Никитична. Он с ней недолго прожил.

— Деревенская, что ли? — Катерина уже жила чужой жизнью, чужим горем и добрыми усердными расчетами, как помочь людям.— Господи! Дай им свидеться... Завтра я мужиков подыму! Бороды повырву, пусть везут, не то сама — вожжи в руки и в розвальни...

Так и случилось, что ссыльных повезла Катерина. Не пришлось и лаяться с мужиками: все вдруг запропастились куда-то, за кем бы ни послал староста, никого не заставали, ни хозяев, ни лошадей: кто в тайгу за дровами, кто к доктору за сорок верст, а иные, хоть и без горсти зерна, укатили зачем-то на паровую мельницу. Но как только Катерина стала пристраивать к розвальням высокий задок, как только вывела лошадей, нашлись и люди, сбежались поглазеть на невидаль, на отъезд ссыльных не с мужиком, а с бабой-ямщиком.

Стояло зимнее безветрие, слышались слитные удары копыт, Бабушкин, не уснувший в эту ночь, задремывал, и чудился ему, разбуженный этой ночью Машей, стук в тюремную стену, частые удары, новость, которую только раз в жизни и можно выдержать. Он видел себя в арестантском платье у тюремной стены, и стена тихо, без скрежета, расступилась, и две женщины внесли крохотный гроб. Две женщины — молодая и старая... обе в черном, горе уравняло их годы, и молодая уже, кажется, поседела,— один он может отличить, где старуха мать, а где Паша. Кто-то еще был в камере, и женщины боялись его, униженно просили его о чем-то, будто он стоял рядом и мог услышать шепотом произнесенную мольбу. *«Молю облегчить участь его жены,*— шептала старуха, стараясь, чтобы ее не услышал ни сын, ни Паша,— *женщины, которая бескорыстно, по любви связала свою судьбу с судьбою сына... Молю повелеть о скорейшем окончании их дела, дабы они, хотя и в ссылке, могли влачить вместе дальнейшее свое существование!..»* Иван Васильевич хочет остановить мать, сказать, чтобы не унижалась, что это бесполезно, уже он отбыл ссылку и едет в Россию, не едет — летит, пусть посмотрит, как он летит над тайгой и тундрой, как спешит к ним; хочет крикнуть матери, чтобы не роняла себя перед палачами, а уста запечатаны, слеплены, он и дышать не может, сердце вот-вот разорвется. Бабушкин

бросается к женщине в черном, ставит ее на ноги и видит не мать, а жену Пашу, и не верит своему счастью. «Здравствуй, душа моя, Прасковья Никитична...» Он стоит перед ней в арестантском платье, а она в черном, красивая, измученная. «Очень я по тебе тоскую»,— говорит он. «Не сберегла я Лидочку. Прости, Ваня... Взяли ее в тюремную больницу и не отдали... Живую не отдали... мертвую отдали. Ты ее живую любил...» — «Как же не любить — она наша плоть, любовь наша... А что ее нет — я знаю...» — «Не можешь ты этого знать, Ваня».— «Я в тюрьме еще знал. Потом ты писала...» — «Не писала я, Ваня... Зачем писать, я все жду тебя, жду и жду...» — «А я еду...» — «Ты поскорее... Меня тоже сослали, а куда, не говорят: как же я могла тебе писать, я и места своего, где живу, не знаю. Ссылки своей не знаю».— «Теперь везде ссылка, Пашенька».— «Я совсем извелась,— она вдруг улыбнулась,— ни кровинки во мне не осталось».— «Ты красивая».— «Теперь я и листки и книги спрятать могу, вот как исхудала.— Она оттянула кофту, показала: — Смотри, сколько места». «Ты тоже скучаешь по делу?» — обрадовался он. «Скучаю... А по тебе больше».— «Не боишься их?» — «Боюсь. Нехорошо это?» Он молчит. «Жизнь ведь у нас одна, Ваня...» Об этом на ходу не скажешь, он вернется и объяснит ей, что за д е л о и одну жизнь можно отдать, ни у кого не бывало и не будет двух жизней. «Я еду, Паша,— говорит он нежно.— Еду, только кони тощие. Голодно в этих местах, третье лето недород, а нынешний год и вовсе все выжгло». «А ты полети, Ваня... на крылах лети!» Он пробует взлететь и не может, и до Паши дотянуться не может, куда-то и она с матерью уплывает, куда-то их, недвижных, относит в мглистую, вязкую серость, и он страдальчески стонет.

— Никак, и ты захворал, Иван Васильевич?

Он отрезвел, быстро оглядел распахнутый в обе стороны белый простор, улыбнулся Катерине через силу:

— У Сибири будущее, ваше сиятельство,— заметил Коршунов.

— Разумеется, будущее! — зло отозвался Кутайсов.— Будущее! Грядущее! А мы-то с вами в настоящем обретаемся, у нас что ни день, то сегодняшний. Мне предписывают меры: арестуйте, запрещайте митинги, а ведь это вразрез с манифестом, да и запрещать на бумаге легче, чем не допускать на деле.

— Кто нынче о манифесте думает! — сказал Коршунов легко, с оттенком шутливости, будто нащупывал собеседника.— Позвольте мне закурить? — спросил небрежно, словно об отказе или недовольстве хозяина не могло быть и речи.

— Курите, располагайтесь: небось устали с дороги.

— Я больше в приемных устаю.— Он дружески улыбнулся и взял из портсигара папиросу.

Теперь они сидели: губернатор — в кресле, потирая ноги от коленей к паху и обратно, и Коршунов — на обитом тисненой кожей диване.

— Манифест ничего не изменил,— вернулся Коршунов к своей мысли, на этот раз серьезно.— Разве что очевиднее сделалось многое такое, неудобное, скажем, от чего на Руси принято отворачиваться: авось минет. Виновата война.— Он кивнул на дверь, за стены этого дома, будто проигранная война издыхала где-то поблизости, будто он сам не ехал от нее долгие дни через Маньчжурию и Забайкалье.— Несчастная война и жизнь наша... диковинная, без решимости действовать, ваше сиятельство.

Он говорил твердо, открыто и безбоязненно смотрел в глаза графу Кутайсову, будто заранее предполагал в нем человека умного, широкого и не робкого десятка.

— И Восточная Сибирь — лучшее тому доказательство,— оживился Кутайсов.— В одно десятилетие развратили девственный край — и все переменилось! Особенно же вдоль железной дороги; она привлекла сюда пришлый

люд, тех, кто за отсутствием средств вряд ли мог бы попасть к нам иначе, как за казенный счет. Быстро как это сделалось; что раньше пряталось — вышло наружу, что говорилось шепотом — стало кричаться. И союзы пошли плодиться как грибы, добро бы одни рабочие сбивались в бараньи гурты, так ведь и чиновный люд не устоял, тронулся туда же! Подумать только: Союз служащих банка! Союз служащих казенной и пробирной палат! Крысы, бегущие с корабля, лакеи, христопродавцы, их бы сечь, на площадях сечь, а никто не решится, не посмеет. Вот Булатов, якутский губернатор, выпорол поляка, ничтожного казначейского чиновника, так ведь телеграммами забросали и меня и Дурново...

Он долго жаловался на судьбу свежему человеку, который умел слушать и молча, кивком, поощрять его к излиянию души. Кутайсов увлекся, не замечал в собеседнике признаков нетерпения, но, когда в монолог его ворвался протяжный крик паровоза, Коршунов поднялся.

— По времени — мои,— сказал он.

В трех словах заключалось многое: конец бесплодным сетованиям, необходимость действия, военная точность и дисциплина, давно не виданная в Иркутске, напоминание о паровозе и провианте.

— Понимаю, голубчик,— смешался оборванный на полуслове Кутайсов.— А жаль... Вы бы пришлись как нельзя более кстати.

Делать нечего; во всей фигуре Коршунова, в твердости взгляда, отрешенного от иркутских забот, в нетерпеливом движении рта — нижние зубы прихватили и покусывали ус — сквозила решительность, которой не мог противостоять ни Кутайсов, ни его помощники, которых он позвал из приемной.

— Часть, вверенная подполковнику Коршунову, должна незамедлительно проследовать за Урал,— сказал Ку-

тайсов, приобщая и себя к чему-то важному, секретному, относящемуся к высшим интересам государства.

Один Гондатти не сдался: он не возразил губернатору, а обратился к Коршунову совсем по-домашнему:

— Но сколько-нибудь вы должны простоять? Вы не один день в пути, в тесноте, в теплушках.

— Мой состав из классных вагонов,— возразил Коршунов.

— В городе превосходные бани.— Действительный статский советник даже вздохнул, сожалея, что офицеры и солдаты Коршунова минуют Иркутск, не насладившись здешними банями, перехватывающим дух сибирским паром.— Надо полагать, вы нуждаетесь в продовольствии, в вине...

— Я могу простоять сутки.— Коршунов повернулся к генерал-губернатору, чуть склонив голову к лежащему поверх других бумаг надорванному пакету.— Надеюсь, этим мы не нарушим предписание?

Он все больше нравился Кутайсову: чужой, пришлый человек, и не из робких, мог бы, как и все харбинцы, ломиться напрямик, а он нарочно отступает в тень.

— Non, mon petit, non![1] — благодушествовал Кутайсов.— Столицы подождут, они, как говорится, не в один день строились. Мы в Сибири живем, на великих реках, а задыхаемся, и, знаете, чего нам не хватает посреди этого рая? Le grand air![2] Прошу вас сегодня ко мне на обед...— Кутайсов суетился без нужды, а остановиться, не дешевить, уже не мог.— Авось и накормим, хоть и в голодном крае: Сибирь поесть любит и умеет. Отдохнете денек — и на подвиг, за святую Русь!

— Сергей Илларионович! Нам и суток хватит.— Теперь тон Гондатти деловой, хозяйский, отметающий лю-

[1] — Нет, голубчик, нет! (*франц.*)
[2] — Свежего ветра! (*франц.*)

безности: еще в санях, по дороге к резиденции Кутайсова, он запомнил имя-отчество подполковника.— Припугнуть, уже и это будет для нас благодеянием.

— У меня приказ: без крайней нужды не ввязываться,— предупредил Коршунов.— Избегать случайной крови.

— Не кровь, не кровь, Сергей Илларионович! — Гондатти молитвенно сложил поднятые вверх ладони.— Объявите отбытие поезда на вечер, часов на семь. К вечеру паровоза не будет, и к ночи тоже. И пусть эшелон знает, что паровоза не дают забастовщики...

— Вы и не представляете, голубчик, какую можете нам службу сослужить! — обратился к нему и Кутайсов.— Ведь этак вот вдруг, без звука, без выстрела, можно все переменить, вернуть и почту, и телеграф... Телеграфист хоть и голоден и вознесся, а ведь и он — чиновник, где-то же и в нем заячья душа жива.

— А если по чести? — спросил подполковник с грубой прямотой, показав, что и ему не чужда бесцеремонность истого харбинца.— Ведь через Читу мы прошли, как сквозь маньчжуров, даже паровоза не сменили там, в Верхнеудинске взяли. А здесь за кем дорога?

Кутайсов и Гондатти чуть промедлили, и генерал Ласточкин попытался обратить дело в шутку:

— Всем миром за нее держимся, спасибо, рельсов много! В четыре руки, как на фортепьяно.

— Это как же понимать?

— А как господь просветит! Проснешься утром и гадаешь: у кого нынче в руках Иннокентьевская, Зима, Сортировочная? В мастерских — забастовщики, а рядом, в депо, еще мой солдат на часах стоит. Иной инженер шапку перед тобой снимет, другой — морду воротит. Свобода!

— Но паровозы у нас есть,— сказал Гондатти твердо.— И депо у нас, и службу движения мы пока контролируем.

— Что ж, буду рад помочь в ваших затруднительных обстоятельствах.— Подполковник держался независимо, одолжал Кутайсова и его штаб, благодетельствовал, но, как служака, фигуру д е р ж а л подчиненно, навытяжку, с головою чуть повернутой и неподвижной.

На выходе из приемной Драгомиров догнал подполковника.

Драгомиров, человек наклонностей грубых и диковатых, подозревал в Коршунове родную душу. Скуластый, тоскливый Драгомиров, с опущенными у висков углами глаз, полицейский служака Драгомиров со скрежетом зубовным наблюдал, как разваливается губерния. Иркутский полицмейстер Никольский, так охотно подтрунивавший над Драгомировым на балах, за карточным столом, а то и в присутствии, охотно уступил Драгомирову кресло, когда оно затрещало. Надобно бы карать круто, кровью промывать глаза, но ослабела рука карающего, а среди многих забот, какие Никольский переложил на плечи Драгомирова, была одна саднящая, прожигающая мозг — з а б о т а о политических ссыльных. Кандальники, как он их называл, были страстью и азартом жизни отца семейства Драгомирова. До того, как смута подвинула Драгомирова из жандармской в полицейскую часть и водворила в кабинет полицмейстера, он ревностно служил кандальному транзиту. Поздние дети Драгомирова, дочь и двое сыновей, росли робкими, слезливыми, словно бы от рождения провинившимися в чем-то. В сыновьях это было ранящее больно и в сознании Драгомирова ложилось виной на тех же политических, будто их гордыня и независимость взгляда отняты, украдены у его сыновей. Он помнил каждого ссыльного, кого Иркутск снаряжал на восток и на сéвер в надежде, что гнус и болезни, тоска и голод закроют им обратную дорогу в Россию. Писал их имена в свои святцы, негодовал на любую поблажку и послабление, в ночных мечтах храбро приближался к дому Романова в Якутске с облитой керо-

спном паклей в руках и наслаждался зрелищем горящих, обезумевших, выкуренных под пули революционеров. И теперь у него немели пухлые руки от бессильного горя, что ссыльные выжили, потянулись от ледяных своих карцеров в Иркутск, к железной дороге, что они прощены, но даже и теперь нет в их прощенных глазах ни благодарности, ни раскаяния, все та же гордыня и покушение переменить в России жизнь. Люди Драгомирова вели счет вчерашним ссыльным, следили за ними на иркутских площадях и улицах, многих узнали, а не могли, не смели взять, уволочь для острастки в часть. Три дня, как в Иркутске объявился ссыльный из Верхоянска — из самых ненавистных Драгомирову; если ночь выдавалась кромешная и бессонная, то в такую мучительскую ночь перед Драгомировым из тьмы выходили глаза ссыльного, брезгливая их насмешка, непереносимый в преступнике состав гордыни и свободного разума. Два года прошло с их встречи в Иркутске; тогда, в ноябре 1903-го, кончался хороший, славный год, Петербург и Москва слали этап за этапом, города чистились изрядно. И тогда этот питерский висельник с тяжелой рукой мастерового, строптивец с красными, будто обмороженными веками встал поперек дороги Драгомирову. Не тронулся с места, пока не дали крытых кибиток и полных прогонных денег до Якутска, настоял, чтобы сняли с конвоя одного казака, из отпетых, лютых воров,— чему, впрочем, обрадовался и казак; кому охота в декабре мчать Ленским трактом?! И пришлось уступить, что-то было в нем такое, что пришлось уступить даже и в хороший, спокойный год.

Теперь Бабушкин в Иркутске, а не возьмешь, не позволено, и пристрелить, завлечь трудно — его не заманишь ни в окраинный трактир, ни тем более в заведение. Одна надежда — ссыльные рвутся в Россию, там их поприще, их волчата, их преступное оружие: авось схлынут, не принеся Иркутску вреда, уже и теплушка у них, ждут

поезда, куда прицепят. Однако мысль, что он упускает их, поселяла великую тоску в сердце.

— Есть и у меня до вас нужда и просьба нижайшая,— обратился полицмейстер к Коршунову.— Я вас не задержу, напротив, на рысаках домчу до вокзала, только прежде два слова tête-à-tête [1],— щегольнул и он французским.

Коршунов ждал. Верхним, так сказать, нюхом учуял, что перед ним человек дела и страсти.

— А что как прицепить одну теплушку к вашему эшелону? — сказал Драгомиров загадочно.

— Если с хорошим товаром, я не прочь.

— Вот именно, что товар! В Иркутске сошлось до трех десятков бывших ссыльных, это опасность для города.

— Увольте! — решительно возразил Коршунов.— Этакого мне везти в Питер нельзя.

— А вы позвольте, Сергей Илларионович,— продолжал Драгомиров вкрадчиво, задерживая гостя у двери.— Господин Гондатти хвастался, что управляет дорогой; вожжи-то не у нас, и служба движения больше их слушается. Прицепите теплушку — они лучший паровоз дадут.

— Так и торгуйтесь с ними! — Коршунов брезгливо отнял локоть.— Я говорил, что не возьму на себя случайной крови.

Он распахнул дверь, едва не ударив уткнувшегося на ходу в бумаги и занятого своим чиновника, шагал по вестибюлю к вешалке, к поднявшемуся с полукресла седому швейцару.

— Помилуйте, никто и не чает крови...— гнул свое Драгомиров.— Не обязаны же вы везти их через всю Сибирь. Бросите их где-нибудь в тайге, пусть помаются. Как бы вы нас одолжили, голубчик! Я вам в санях доскажу, какие курьезы бывают сибирской зимой...

[1] Наедине *(франц.)*.

## 6

В Хомутово они соединились с другой группой ссыльных, вошли в город перед рассветом, через предместье Знаменское, и проследовали по мосту над курившей паром темной Ангарой в Глазково, к вокзалу, торопясь услышать призывные голоса паровозов, увериться, что отъезд в Россию теперь дело если не часов, то суток. Торопливо вышагивая по мосту, Бабушкин уже видел себя и товарищей в поезде, в мелькании темных елей, берез и верстовых столбов.

Помещения вокзала, подъездные пути, пакгаузы и сараи — все забито пехотинцами и казаками. В теплушках на нарах и вповалку на укрытом сеном полу — запасные, мужики в шинелях, так и не потерявшие деревенской закваски. Два санитарных состава дожидались паровозов, высшие чиновники управления дороги прятались, сутками не появлялись в служебных кабинетах. Расквартированные в иркутских казармах батальоны тоже имели здесь горластых агентов, требовавших вагонов, паровозов и уплаты обещанных еще в Харбине денег. В отчаявшейся, близкой к бунту толпе метались сибирские обыватели, спекулянты, мужики, голодом изринутые из таежных глубинок, сахалинское уголовное дно, отпущенное по амнистии после манифеста. Относительный порядок был в депо; забастовочный рабочий комитет делал все, чтобы на запад уходило как можно больше поездов с демобилизованными. В депо снаряжали и двухосную теплушку для отправки ссыльных на Красноярск — Омск.

В Якутске Бабушкин получил адреса сибирских товарищей, старых искровцев, они могли помочь ссыльным одеждой, рассказать об Иркутске, о Сибири — это имело важное значение для Питера, где так или иначе он окажется через одну-две недели. И едва посветлело в гулком, закопченном здании депо, Бабушкин нырнул в мглистую

морозную рань, пересек мирно дымившее печными трубами Глазково: путь его лежал через Ангару в город. Река не давалась ноябрьскому морозу, дышала, ворочалась, сплетала струи, пар клубился над ней, садился лохматой бархатисто-сахарной изморозью на город. Люди вокруг перебегали улицы, ссутулившись, утонув лицом в воротниках и башлыках, а он, закаленный Верхоянском, расстегнул верхний крючок полушубка, шагал, как по Питеру, открыв чужим взглядам кромку шарфа, белый воротничок и галстук-бабочку. После вокзальной сутолоки улицы в эту рань показались сонными и даже умиротворенными. Несколько раз пересекали Большую воинские команды, попадались приказчики, спешившие к началу торгового дня, печатники и наборщики, которых он научился различать по нездоровой бледности и усталым, небыстрым векам, будто припорошенным неистребимой свинцовой пылью. В пойму Ушаковки низовой ветер врывался разбойно, гнал поземку под деревянными мостами — под тем, что вел в Ремесленную слободку и к тюрьме, и под мостом на Знаменское, где празднично белели закуржавевшие церковь и женский монастырь. Кривыми улочками предместья Бабушкин вышел к военному госпиталю, повернул вправо и в полуквартале от трактира и постоялого двора нашел нужный дом, бревенчатый, в два этажа, с грязноватыми, незрячими окнами. И внутри все пребывало в запустении, в намерзшей у порога грязи,— перила лестницы расшатаны, уцелевшие точеные балясины перекосило в гнездах.

Дверь открыла женщина, чуть отступив в полумрак коридора; вся в черном, с худым, измученным лицом. Она смотрела на Бабушкина со страдальческим равнодушием.

— Могу ли я видеть господина Якутова? — спросил Бабушкин, сняв шапку.

Она покачала головой медлительно и с сожалением.

— Не скажете ли вы мне, где он? Я его друг.

Он произнес это, понимая, что глупо: ни он, ни его Паша не отозвались бы на такую откровенность, так не ведется среди политических. Но нынче время все-таки иное, ведь и он, вчерашний ссыльный, свободная птица.

— Господин Якутов уехал в Уфу. По крайней мере так мне известно. Мы не были с ним коротки.

В ее тоне было и уважение к Якутову, и некая дистанция, отделявшая ее от его дел, и доверие к стоявшему за порогом Бабушкину. И вместе с тем ею владела какая-то посторонняя мысль, горечь, утрата или опасение утраты. С внезапным сочувствием сильного человека Бабушкин подумал о том, как трудно жить с такой обнаженностью нервов.

— Спасибо. Послушайте, чего вы боитесь? Неужели меня?

— Крови боюсь,— прошептала она.— Я теперь и людей боюсь...

За тот час, что Бабушкин ходил по Знаменскому, Иркутск изменился: по Большой заскользили легкие сани с сытыми лошадьми в упряжке, развозя в присутствие чиновников канцелярии генерал-губернатора, судебной палаты, штаба военного округа, горного управления. В доме за городским кладбищем, неподалеку от магнитно-метеорологической обсерватории, посреди опустевшей, будто нежилой квартиры он нашел захмелевшего почтового чиновника. Все двери квартиры настежь, в гостиной, на овальном карельской березы столе стоял зеленый полуштоф и рюмка.

— Извольте! — Чиновник обрадовался постороннему.— Николай Николаевич снимали-с вон те смежные. За полцены пущу. А то и так, за компанию!..

— Я в Иркутске проездом.

— Все мы в сей жизни проездом! — подхватил чиновник, чувствуя, что гость, не успев войти, уже на отлете.—

Великий российский транзит: от колыбельки к могилке! — Он кинулся к буфету и достал вторую рюмку.— Позвольте с мороза?

— Не пью.

— Представьте, и Николай Николаевич не пил. Уж на что хорош был человек, а тоже с изъяном. А я сию музыку люблю! — Он звякнул нерасчетливо рюмками, пролив на стол водку.— Выше колокольного звона ставлю! — Выпил и снова стукнул рюмку о рюмку: порожние, они пропели звонче.— Хотите произвести революцию? Революция — хмель, угар! Камни Бастилии! Головы, катящиеся с эшафота! Кто же пойдет в России за трезвенниками!

— Ежели дойдет до крайности, так и быть — однажды напьемся,— усмехнулся Бабушкин.— Куда съехал господин Баранский?

Чиновник налил, чокнулся и опорожнил рюмки.

— И спрашивать не смел: все у них секреты. Кон-спирация! Кон-ституция! Кон-трибуция! Кон-фирмация! — увлекся он пьяной склеротической игрой.— Кон-грегация! Кон-куренция! Представьте, в нашем богоспасаемом городе есть хозяйка типографии по фамилии Конкуренция! Куда же вы?!

Якутова и Николая Баранского в Иркутске не было. Ссыльный в Якутске советовал Бабушкину отыскать Попова-Коновалова, спросить в типографии у метранпажа, но кроме типографии «Восточного обозрения» и крупного печатного заведения Макушева в городе оказалось еще с десяток печатен. После двух частных типографий он заглянул в «Восточное обозрение» — и здесь пожилой метранпаж не слыхал о Попове-Коновалове, знал двух других Поповых, корректора и ссутулившегося над литерными кассами наборщика, и представил их Бабушкину.

Потерпев неудачу, Бабушкин остановился в нерешительности на тротуаре, не зная, стоит ли продолжать обход типографий.

— Товарищ! — окликнули его.— Вы спрашивали Попова?

Перед ним стоял юноша-наборщик, Бабушкин заметил его, когда говорил с метранпажем.

— Вам какой Попов нужен? — И еще не услышав ответа, поторопился спросить: — Вы из ссылки?

— А я думал, на приличного господина стал похож! — усмехнулся Бабушкин.

Они двинулись по тротуару, наборщик на ходу застегивал худое пальтишко:

— Приличный-то, приличный! А не подходите ни под какое сословие: это особенность ссыльных.

Бабушкин подумал, что похожая мысль пришла ему в Лондоне: вокруг избыточно бурлила жизнь, сословная во всем, и всякое сословие читалось на взгляд, а эмигранты были вне сословий, сами по себе, с непременной печатью не сословия, а личности.

— Нас Александровский централ просветил: иркутские дети и те ссыльных узнают.

— Вот нам и надо поскорее в Россию; там не узнают.

— Всем не терпится уехать! — воскликнул наборщик с внезапной обидой.— Генерал-губернатор старается задержать здесь вооруженных головорезов, а люди, те мимо и мимо.— Он остановился и сказал разочарованно: — И Попов в Забайкалье.

— Что это их всех из Иркутска вымело?

— Почему всех? — насторожился юноша.

— Уехали Якутов, Баранский, Попов.— Он говорил отчетливо, чеканил имена, испытывая юношу, тайно радуясь, что теперь можно и так — громко, в голос; межвременье давало на это право, а товарищам он и в малом не повредит, все они бог знает как далеко от Иркутска. Завтра уедет и он, времени у него — в обрез, лучше так, напрямик, пусть и этот славный парень не тянет, не таится, пусть говорит, если ему есть что сказать.



— Кто вы? — осведомленность ссыльного поразила наборщика.

— Иван Бабушкин, — ответил он охотно, весь еще в этом ощущении новизны и необычности происходящего.

— Вы в Верхоянске отбывали срок! — юношу осенило. — Я набирал листовку с вашим протестом против расправы над «романовцами». Иван Бабушкин! А я Алеша Лебедев. — Он протянул руку, заново здороваясь. — О вас Курнатовский рассказывал. — Желтоватые, по-рысьи посаженные, в белых ресницах, глаза изучали Бабушкина. — Вы у Ленина в Лондоне были! Лондон с Иркутском не сравнить?

— Только купцы здесь чаще на глаза попадаются. — По Троицкой, куда они свернули, строем шли солдаты. — Это что же, головорезы графа Кутайсова «Марсельезу» поют?

— Эти — безоружные. Их тут нарочно держат, не дают паровозов, говорят, что во всем виноваты забастовщики. В Забайкалье все в руках стачечного комитета.

— И дорога?

— Дорога! Телеграф! Там революционная власть, а у нас две власти: губернатор и мы.

— Все-таки две! — заметил Бабушкин. — Это тоже чего-то стоит — не всевластье Кутайсова, а две власти! Какова же ваша власть? Чем вы заняты?

— Дискуссиями! С меньшевиками, с либералами: их у нас больше, чем гильдейских купцов.

Впереди толпился народ, стояли, въехав полозом на тротуар, сани, рослый штабс-капитан распекал солдата:

— Па-а-чему не отдаешь чести, скотина!

— Потому — не в казарме, господин штабс-капитан, — гудел служивый добродушно-сговорчиво: — Вижу, едете, и езжайте.

— Но я нарочно встал у тротуара!

— Ехали бы: небось своих делов много,— советовал небритый, с сединой в рыжей щетине, солдат.

— Ваше благородие! Повтори: ваше благородие!

— Не гоже, господин штабс-капитан, тыкать мне,— терпеливо втолковывал служивый.— Теперечи манифест вышел: ты мне — «вы», и я тебе со всем моим удовольствием — «вы».

— Да я тебе морду расквашу!

— Хочется! — сказал тот, сочувственно оглядывая толпу, и повторил с пониманием: — Еще бы не хочется! А ведь нельзя — мордобой забудь.— Солдат был из дотошных ротных законников, он просвещал штабс-капитана почти ласково, будто хотел уберечь его от беды.— Ты меня воспитывай, военным судом меня страшщай, а кулачок сховай. У меня во́ какой, и то не хвалюсь.

Офицер занес кулак для удара, но Лебедев успел перехватить его руку:

— Не позорьтесь, штабс-капитан! — Голос его прервался от возбуждения.— Перед вами свободный гражданин России!

Штабс-капитан рванулся, но надвинулись люди, оттеснили его.

Он вскочил в сани, крикнул кучеру:

— В полицию! — и помчался прочь под улюлюканье и свист.

— Чего рассвистались! — посетовал солдат.— И его жаль.— Светлые, водянистые в прожелти, глаза смотрели грустно, и грусти этой достало бы на всех живых и мертвых, на все российские сословия.— Ему это внове, обжиться надо. На что конь умно́й, а и он не в один день к новой узде привыкает.

В эти минуты между Бабушкиным и Алексеем сложилось доверие, легло начало долгой, до смертного часа,

дружбы. Они вернулись в типографию — наборщик должен был что-то взять там — и двинулись к мосту через гудящую ветром Ангару. Иркутские дела обрисовывались все более отчетливо. Рабочих было больше вокруг города, на каменноугольных копях в Черемхово, в Усолье — на спичечной фабрике Ротова и Минского, в судовых мастерских на Лиственичной и на станции Байкал. В Иркутске же вместе с близкой Иннокентьевской около тысячи деповских рабочих, несколько сот типографских, телеграфисты и тысячи две приказчиков. Рабочие стачечные комитеты показали свою силу: они контролируют почту и телеграф, не позволяют самоуправствовать начальнику гарнизона и самому Кутайсову; все чаще выказывают неповиновение расквартированные в городе и окрестностях воинские части. Нет оружия, за ним далеко ехать. Комитеты на станции Тайга и в депо Иннокентьевской собрали деньги по подписке и отправили агентов в Тулу, под Москву и даже в Питер. Доставят ли они оружие? Никто не поручится.

Благодаря Алеше Лебедеву иркутская ситуация прояснилась для Бабушкина, в депо наборщик нашел руководителей рабочего стачечного комитета, и открылась возможность стать ближе к здешним делам, пусть на два-три дня, до той поры, когда теплушка со встроенными нарами, подобрав ссыльных, отправится в Россию.

С неизбежным их отъездом Алексей скоро примирился отходчивым молодым сердцем. Как не поставишь преграды перелетным птицам в северном небе, так и этих людей не удержать в Сибири — в России их семьи и дело, прерванное арестом. Алексей потолкался в депо, слушая веселое швырканье фуганков в руках ссыльных, стук молотков, громкоголосое, жадное предвкушение дороги, и понял, что их не удержать нуждами Иркутска. Им интересно все, чем живет его город, но в его гомоне и громах они слышат голоса других городов и улиц, видят другие лица, будто до них не тысячи верст пути. Алексея перестало задевать и

то, что Бабушкин больше расспрашивал о Забайкалье, чем о губернском городе, куда его привела судьба: о Чите, о Курнатовском, о Попове-Коновалове, о новом рельсовом пути на восток без паромной переправы через Байкал. Иркутск, начавший революцию хорошо, скоро отстал от Красноярска, от Томска, от Читы, которую и недруги теперь величали головой сибирской революции.

— К Кутайсову не ходите,— посоветовал Бабушкину Абросимов, токарь железнодорожных мастерских, темноликий, суровый с виду человек, вожак забастовщиков.— На порог не пустит. А если через холуев пообещает прогонные — обманет, только время потеряете.

Все полнее складывался образ иркутского опасного равновесия, когда и рабочие не решаются принять шаг пошире, посуровее и хозяева медлят в злобном страхе, что мало штыков и пороха и не дай бог размахнуться не по силе, покуситься да и упасть — как упал в Чите генерал Холщевников, тамошний губернатор и наказной атаман Забайкальского казачьего войска. Равновесие это — с задушенным криком ненависти, с ночной молитвой пополам с проклятиями, с нáрочными, тайком уходящими в ночь, с мольбами о помощи и иезуитством завтрашних черных планов, с затянувшейся иллюзией победившей свободы,— такое равновесие часто заканчивается непоправимой кровью.

Как ни приглядывался Алексей к ссыльному из Верхоянска, он не рискнул бы определить его прошлую жизнь и воспитание. Видел, что молод, заряжен нетерпеливой энергией, вслушивался в его речь с мягко протянутыми гласными; поражался, что поутру, едва ли не затемно еще, он свежевыбрит, по белому вороту темнеет галстук-бабочка, полушубок кажется случайно накинутым на плечи вместо хорошего покроя пальто или студенческой шинели. И по мосту через Ангару он вышагивал не сгибаясь под шквальным ветром, а весело, ребячливо даже, будто хотел

отдельно слышать, как отзывается его стоптанным сапогам мостовое дерево, а подвижный, метавшийся над рекой туман принимал как нежданную озорную игру.

— Всю зиму так? — спросил он у Алексея.

— В январе крещенские морозы скуют. Мороз и солнце и все в белых кружевах.

— Жаль, не увижу.— Он приблизился к перилам, заглянул вниз, где угрюмо сквозь клочья тумана неслась река.— А дед мой говорил не январь: с е ч е н ь. Сечень — Васильев-месяц.— Он пружинисто оттолкнулся от перил и пошел быстрее.— Два раза с е ч е н ь меня в каталажку сдавал, правда, он и родиться мне разрешил. Нынче хорошо бы мой день в Питере справить.

— Верно, не узна́ете Питера: у н а с перемены, а там!

— Узна́ю, Алексей — человек божий! — сказал Бабушкин, весь в близком, столь доступном теперь счастье.— Как же мне родины не узнать.

— Вы родились в Петербурге?

— Я вологодский. Лесовик. Не слышите, я букву «о» впереди себя, как обруч, гоняю?

— Мне такой говор нравится.

— Юношей я стеснялся, следил за собой, правил речь, из медвежат в люди выбивался. Вы сказали: перемены, а чувствуете вы п р о п а с т ь между тем, что было и что есть? Я три года назад, точно три года,— проверил он свою память,— вернулся в Россию издалека. Попал в Псков, тоже губернский город: этакий молодой господин в английском пальто и в штиблетах. Мороз, а я дни и ночи на улице. В городе провалы, аресты, люди тени своей боятся. Иным тогда казалось — конец, всех перемелют тюремные жернова. И вот — три года, всего три года, а иркутская улица «Марсельезу» и «Варшавянку» поет, у солдата ружье отнято — страшно, а что, как вступит в бунт! — в Чите — Советы...

Почему память все чаще возвращает его к Вильно и

Пскову, к Лондону и короткой петербургской поре на Охте? Что тому виной? Нетерпение? Дорожная лихорадка, «рейзефибер», как сказал Дитц, житель Штутгарта, снабдивший его лондонским адресом Ленина?

В Пскове он метался без явок — не найдя на месте Лепешинских и Стопани, рыская, свирепея на тех, кто шарахнулся в страхе, не принимал его пароля, лишал сна, ночевок, д е л а, деятельности, возможности двинуться в Питер и приняться за работу, ради которой он был возвращен из Лондона в Россию. Перед Псковом, перейдя границу, он просидел трое суток в Вильно у Басовского и его жены Гальберштадт, сотрудников транспортного бюро партии, тщетно дожидаясь документа, и в Псков примчался нетерпеливый, в надежде, что там или неподалеку, в Новгороде, отыщется Паша, в Пскове снабдят его паспортом и он поспешит в Питер, в Питер, куда он рвется душой и летит в мыслях и сейчас. А Псков отринул его, все каменные дома, все бревенчатые стены, сколько их было в городе по берегам Пскова и Великой, повернулись к нему глухими спинами, хоть пропади, хоть оземь грохнись у Поганкиных палат.

Жизнь в Лондоне, размеренная и спокойная, оказалась не по нему, но отчего? Отчего одни жили там годы, не отдавая праздности и минуты, жили, привязанные к России сердцем и каждой написанной строкой, ночной, невысказанной мыслью, а он не смог, не умел скрыть тоски, скрежета зубовного? Почему все испытания подполья оказались ему по плечу, а вольная эмигрантская жизнь сдавила грудь покруче осеннего лондонского тумана? И размышляя об этом, вняв и вняв одного себя, он находил ответ не в особых свойствах своей натуры, а в ненасытившейся любви к Паше, в ошеломившем его отцовстве, в колдовской, неистовой силе этого чувства, будто земля еще не знала другого такого потрясения. Он не смог помочь Паше в трудную для нее пору, когда новая жизнь в ней подава-

ла о себе знаки неровной желтизной лба и щек, грузнеющим животом, мгновенной отрешенностью взгляда: в канун 1902 года жандармы взяли его в Орехово-Зуеве в доме ткача Лапина, на собрании искровцев, и началась вторая тюремная страда — уездный каземат в Покрове, одиночка во владимирской губернской тюрьме, тюремный вагон, идущий на юг, в Екатеринослав, где жандармский ротмистр Кременецкий поджидал арестанта, чтобы по фотографии и приметам, разосланным во все губернии для установления личности анонима — выше среднего роста, блондина, с голубыми, в припухлых, красноватых веках, глазами,— опознать Бабушкина. Матери рожали сыновей, счастливые их несходством со всеми другими, прекрасной невозможностью повторить рожденное существо, его сокровенный дух и земные черты, а в подлом мире каждая такая черта оказывалась лишь приметой, уликой, неистребимым следом для жандармских ищеек. Опознанному, ему плохо пришлось в Екатеринославе — здесь он был весь в прегрешениях перед ротмистром Кременецким, перед екатеринославскими заводчиками и фабрикантами, отсюда ведь он ушел навсегда из поднадзорных в нелегальные. Паша была далеко, с ней его мать, обе женщины ждали чуда рождения — в нужде, в страхе за него, не ропща на судьбу,— вправе ли роптать он? А бежав вместе с Горовицем из арестного дома в Екатеринославе, он не смел, как ни тосковало сердце, броситься к Паше, к новорожденной Лидочке, великое дело назначило ему другой маршрут — в Лондон, к «Искре», для которой он работал в Покрове, в рабочих казармах Орехово-Зуева и Иваново-Вознесенска. В редакции «Искры», получив у Крупской почту последних недель, он впервые увидел Пашу со стороны, глазами агентов «Искры», и поразился. Ведь к искровской работе она пришла рядом с ним, закрытая, заслоненная им, счастливая своей незаметностью, женским, временами тревожившим его раство-

рением в любимом человеке. Казалось, и новую веру она приняла вдруг, вместе с любовью, от убеждения, что его дорога не может быть ложной. Он давал ей брошюры и книги, через которые прошел и сам, и она многое запоминала, но закрывала книгу и смотрела в его глаза, будто последнее подтверждение истины искала все-таки в нем, а не в премудрости книг. Как простодушно гордилась она, когда в Покров пришло письмо от Крупской и в нем ее Ваня был назван *одним из самых энергичных агентов,* Крупская и Ленин просили его *поменьше рисковать,* ибо *потерять его было бы слишком печально,* однако же, *на случай его провала,* просили у него и других адресов, связи с некоторыми надежными корреспондентами. Писано было на исходе лета, рукой Крупской, а спустя четыре месяца провал свершился, предательство сделало свое дело. Паша осталась одна, новая жизнь требовала от нее — первыми еще слепыми толчками — осмотрительности, просила не рисковать лишнего, помнить о материнском долге. И в эту именно пору, словно выйдя из-за укрытия на простор, она стала работником партии, ее отдельный голос доносился в Лондон из глубин России, ее партийная кличка — Чурай — мелькала в подпольной тайнописи, у нее появился и свой шифр и ключ для переписки с «Искрой»: «Полтава» Пушкина.

Бумаги «Искры» позволили ему в Лондоне представить себе жизнь Паши, а потом и не одной Паши, а вместе с новорожденной дочерью, в те месяцы, что он провел в тюрьмах и в бегах за границу. Узнав о его аресте, Крупская тотчас же написала Бауману в Москву, спросила адрес Прасковьи и прежде всего, перед всеми другими вопросами и даже перед главным делом, напомнила, что жене Бабушкина *необходимо будет помогать.*

В сообщениях Радченко, Стасовой, Шапошниковой и Краснухи и в ответных письмах к ним из «Искры» теперь нередко рядом с его новым именем — Богдан — возникало

странное, непривычное имя Чурай, не девичье Рыбась — Чурай. Паша меняла квартиры, переезжала с одной петербургской окраины на другую, на время оставила Питер, скрывалась в Новгороде, наезжала в Псков с дочкой на руках, в нужде, случалось, в крайней нужде, как ни старались помочь ей. Времена наступили тяжкие: аресты в Питере, в Новгороде, в Самаре, в Москве и в подмосковных городах, все труднее находить людей, которые встретили бы Пашу с полным доверием; публика боялась ее, а она с больной Лидочкой на руках, по обыкновению, стесняется людей, все еще думает, что помощь и участие оказывают не ей, Чурай, а жене Бабушкина, страдает, не зная, где он, увидит ли она его. Мысли об ее нужде лишили его покоя, отравили всякий кусок лондонского хлеба.

Как объяснить этому юноше, патриоту Иркутска, какая сила, какая страсть и нетерпение влекут ссыльных в Россию?..

Каково было ему жить в Лондоне, слушать монотонное ораторство на собраниях тред-юнионов, садиться за обеденный стол, похаживать без опаски вдоль Темзы, когда любимые не имели приюта и куска хлеба! А Псков, словно в жестокую науку, чтобы отцовское сердце сжалось страданием, показал, как страшна з и м н я я  п у с т ы н я недоверия, город, затворяющий перед тобой все двери, чтобы тебе не досталось и малой толики печного тепла! Он бродил вдоль ограды Ботанического сада, по заснеженному берегу Великой у Ольгинского моста, где темнели вмерзшие в реку плоты и лодки, возвращался к вокзальной площади, к Поганкиным палатам, вздрагивал, завидя вдали женскую фигуру с ребенком на руках. Заглядывал в трактиры и лавки, чтобы хоть чуточку обогреться, почувствовать, как сквозь английские штиблеты пробивается тепло к одубелым ногам, копил кровную обиду на людское недоверие, клялся в душе, что после этих обид не откликнется псковичам, *пусть хоть дюжину сватов по-*

*сылают к нему,* и знал, что откликнется, даже ворчать не станет, только бы его признал кто-нибудь из товарищей на псковском тротуаре, поманил бы за собой где-нибудь в конце Сергиевской или Кохановского бульвара. Но арест Лепешинского оборвал связи, на старых явках поставлен крест, новые ему неизвестны, а уцелевшим псковичам неведом он, элегантный господин в темном английском пальто и штиблетах не по сезону.

Когда-то он в одну ночь перешагнул пропасть: от аскетизма, от юношеской книжной веры, что революционеру не пристало тратить и часа на личное,— к решению соединить свою жизнь с Пашей. Но только с Пашей, только потому, что существует она, и вся их жизнь будет необычная, новая, они, и соединившись, все силы и помыслы отдадут революции. И Паша верила, что будет так и ей не суждено, запретно даже, материнство. А оно обрушилось, одарило, осчастливило, и вновь он, такой твердый в преследовании высшей цели, ощутил, как могучая сила природы овладевает им, подчиняет своему закону. И снова умственная пропасть позади, скороспелая теория склонилась перед жизнью: он будет отцом, и это счастье, и в этом тоже будущее России.

Мысль о Паше подтолкнула его из Пскова вернуться в Вильно. Псков уже не сулил ему паспорта. Пришлось отступить к двери транспортников в Вильно, а это против правил: Вильно — место горячее, и транспортники уже сделали свое дело, дали ему отдышаться после перехода границы и отправили дальше, в Псков. В Вильно он застал одну Гальберштадт. Басовский уехал в Питер с грузом литературы. Гальберштадт открыла на условленный стук дверь и пропустила его внутрь. «Все еще в штиблетах, Иван Васильевич,— сказала, не глядя на ноги.— Пскову не до ваших сапог...» Она уже знала об арестах в Пскове, а «сапогами», «шкурой», «платком», «дубликатом» и еще бог знает как они называли паспорт. Он устало

размотал шарф, снял пальто и повесил его в прихожей. «Знаю, без крайней нужды вы не вернулись бы. В Пскове аресты, там взяли Радченко. Кто вас там принял?» Он тер глаза и виски, оглушенный теплом полыхавших в печи березовых поленьев, сказал сердито: «Улица приняла. Поганкины палаты, вокзал! Чертовы конспираторы заморозили меня...» — «А почью?» — поразилась она. «Никаких ночевок! Оказывается, можно и без них обойтись!» Повеселев за чаем, он рассказывал, как по три раза на дню заходил в парикмахерские и однажды, изнемогший, засыпая, готов был пожертвовать усами, да случай спас: в цирюльню пожаловал жандармский чин, и его вытряхнули из кресла. «Значит, не нашли своей Прасковьи Никитичны?» — «Нет. Публика такая, что она и в Пскове могла быть, а мне не узнать. Я глаза проглядел: даже у вас, в Вильно; иду от вокзала — за каждой женщиной с ребенком готов бежать. Иной раз за руку ведет, понимаю, что не мои, а хочется...» «Да, вашей рано за руку,— сказала Гальберштадт.— Но я вас понимаю, вы истосковались. Вот мне повезло.— Она будто извинялась за свое опасное благополучие, домашнее тепло, за возможность находиться под одной крышей с мужем.— Быть вместе — это счастье, многие лишены его. Но я думаю, вы найдете Прасковью Никитичну в Питере! Уж очень она вас ищет, а где искать, как не там». «Вы бы ее Пашей звали,— попросил он.— Она молодая, добрая, всякий, кто с ней познакомится, Пашенькой ее зовет». «Может, так и будет, но мы по-другому привыкли — Ч у р а й! Так что и Прасковья Никитична — это нежности, это против конспирации!» — улыбнулась она...

Голос Алексея вывел его из минутной отрешенности, юноша поразился, как ушедший в себя Бабушкин уверенно выбирал дорогу, пересек улицу и свернул в переулок.

— Вы бывали в Иркутске?

— Что? — Мысли все еще в плену: уже он не в Пско-

ве, а в Питере, на Охте, рядом с Пашей, с живой еще Лидочкой. Всякий дом по пути, чьи-то ухоженные дети, женская негромкая ласковая речь — все возвращало Бабушкина к его великой тоске, к охтинскому жилью — других домашних общих стен их счастье не знало.

— Вы прежде бывали у нас?

— Когда в ссылку везли. Если от Знаменского монастыря смотреть — город красивый, спокойный.

— Еще бы! Ни копоти фабричной, ни гудков,— досадливо откликнулся Алексей.— Нашу промышленность по вони услышишь; салотопни, мыловарни, кожевенное дело, водочное, канатно-веревочное. Оттого и уезжают люди...

— А вы, чего вы ждете? — нелюбезно оборвал его Бабушкин.— Вот уж не время пророков дожидаться.

— Вожаки разъехались, как же вы не видите этого!

— Чем вы не вожак? — Он жестко уставился на юношу.— Вы — человек грамотный, дело знаете, а никак не решитесь влезть кой-кому на загривок. Неужто среди сотен рабочих нет вожаков?!

— Веру в себя в книге не вычитаешь, ведь и другие должны в тебя поверить. Абросимов — сильный человек, а с нашими благочинными ему спорить трудно. Вот и вы прибыли и кого стали искать? Якутова, Баранского, Попова-Коновалова. Вожаков. Курнатовского вспомнили. Двое из них в Чите, а, смотрите, как дело повели.

Они подходили к дому Общественного собрания, Бабушкин уговорился встретиться здесь с Абросимовым уже по отъездным заботам.

— В такую пору, как нынешняя, важно выиграть в прямоте и определенности.— Бабушкин остановился: в том, что говорил наборщик, был и резон.— Вы и кнут боитесь в руки взять, чтобы понукать клячу: а что, как придется оглоблей вооружиться! Не решитесь? — Алексей пожал плечами, и Бабушкин сказал сурово: — Что толку жаловаться на безлюдье, когда революция уже началась.

Над подъездом каменного двухэтажного здания пласталось красное полотнище с аршинными буквами: «Союз союзов». Люди шли густо, кто входил внутрь, пригнув голову, будто и эта надпись страшила вольнодумством, а кто задерживался на ступеньках благоговейно, готовый обнажить главу и осенить себя крестным знамением. Свежим глазом, отдохнувшим среди заполярных снегов от сочного ж а н р а российской сословности, Бабушкин отличал в толпе чиновную знать, промышленников в куньих шубах, с плутовскими мужицкими физиономиями, инженерную братию, независимых интеллигентов, которых камчатский бобер защищал от сибирской стужи, приказчиков, суетливых лавочников и немногих, будто не по адресу заглянувших сюда мастеровых, складских грузчиков и путейцев. Явился и фотографический мастер с черным аппаратом и треногой.

— Тут, брат, не скажешь: семь пар чистых и семь нечистых, во как чистые поперли,— дивился Бабушкин.

Узкая полоса мокрого от нанесенного снега паркета отделяла толпу чиновников и буржуа от группы рабочих. У высоких окон, против входной двери, стол под зеленым сукном, какие-то люди в распахнутых шубах, листы бумаги, чернила и ручки, колокольчик, принятый в публичных собраниях. Пока он не прозвенел, Алексей показал Бабушкину иркутских знаменитостей. Доктор Мандельберг, член Иркутского комитета РСДРП, вошедший и в состав военно-стачечного комитета, и глава либералов князь Андронников о чем-то совещались у стола, а вожак эсеров — низкорослый, краснолицый Кулябко-Корецкий свирепо похаживал по паркету, размахивая при поворотах концами башлыка и испепеляя взглядом толпу не нюхавших запаха селитры говорунов. Мандельберг — львиногривый, небрежный в одежде, с пылким взглядом темных глаз, в бархатной блузе под шубой; рядом с ним худой и стройный Андронников, рыжевато-русый, с живым, ирони-

ческим лицом, в темно-серой тройке, в теплом и легком, как и все на нем, пальто,— само изящество и артистизм. Даже и скошенное в нижней половине лицо не лишало его привлекательности — странная асимметрия и скорбные выпуклые голубые глаза будто обещали неординарность, ум насмешливый и энергичный. Он и заговорил первым, не затрагивал партийных споров, или, как примиряюще выразился князь Андронников, благородных партийных страстей: то, что рядом стоял доктор Мандельберг, спокойно посматривая в зал из-под лохматых угольных бровей, как бы говорило, что Иркутский комитет РСДРП тактически держится тех же взглядов и только Кулябко-Корецкому, этому enfant terrible[1] революции, она мнится во взрывах бомб и очистительной крови. Князь Андронников говорил от лица тех, кто хочет сотрудничать во имя демократии в эпоху, когда ничьим усилием не надо пренебрегать, ни одной руки нельзя оттолкнуть — он даже поднял узкую руку с перстнем на безымянном пальце,— когда надо открыть объятия любому, кто готов быть не верноподданным, а гражданином, голосовать за республику и конституцию.

— Мы свидетели того,— говорил Андронников,— как вырастает самодеятельность народа даже в условиях обещанной свободы. Все сословия пришли в движение, люди не ждут, когда их взгляды созреют для партийных платформ; сегодня с них достаточно, что, сходясь в своем цехе, если угодно, и в сословии, они говорят: мы за республику! За российское учредительное собрание! Союзы растут, как сказочный царь Гвидон...

— Ваши союзы растут, как поганки в дождь! — сказал Кулябко-Корецкий, ни в ком не ища одобрения.

— Пожалуй, как грибы при благодатном дожде! — снизошел Андронников.— А кровь, которую хотели бы

[1] Сорванец (*франц.*).

пролить господа Кулябко-Корецкие, чужда ниве русской демократии.— Он проводил взглядом смачно плюнувшего на пол и уходящего Кулябко-Корецкого и заговорил о том, что все сословия Иркутска охвачены союзами и назрела необходимость в Союзе союзов — едином центре, представляющем все оттенки демократии. Вскользь он упрекнул рабочих депо и типографий в сепаратизме, в нежелании войти в единый союз на началах равного представительства.— Сегодня мы делаем последнюю попытку объединить разрозненные усилия, создать действенный Союз союзов, который возглавит борьбу за демократию.

— За революцию! — подал голос Абросимов.— Руководить надо революционной борьбой, а не демократией, которой нет.

Внезапно по залу раскатился бас тучного чиновника: старчески розовое его лицо и острые глаза азиатского кроя обратились к толпе без всякого расположения.

— Предупреждаю, господа: по долгу присяги его императорскому величеству я воздержусь голосовать за крайние меры. Дешевый кумач над входом, черт знает что! — трубил брезгливый сытый старик.— Нет, господа, так не начинают солидного дела.

— Кто вас прислал?! — озлился всетерпимый Андронников.

— Присылают лакеев, а я де-ле-гат. От служащих Сибирского банка.

Легким движением плеча, заведенными за спину руками, будто старик предлагал мировую, а он — нет, дудки-с! — князь Андронников показал, что недоволен, но надо терпеть даже и монстра во имя единства российской демократии. Граждане, делегированные в Союз союзов от каждого из союзов, сказал он, должны выйти к столу, занести свои имена в списки — так сложится единый список руководства Союза союзов. Хорошо бы обойтись и одним представителем от каждого из союзов, но время таково,

что делегаты могут уезжать по неотложным делам, отправляться в служебные командировки, даже пасть от рук реакции, потому наиболее важные союзы должны быть представлены двумя, а то и тремя делегатами.

Бабушкин стоял в кучке железнодорожных и типографских рабочих. Он уже знал, что в Иркутском комитете РСДРП с недавних пор верховодят меньшевики. В Петербурге, после Лондона, он тоже натолкнулся на яростное сопротивление «экономистов», там, поддержанный Лениным, он повел борьбу против людей с неуловимыми, уклончивыми взглядами, но и те, примирители, не доходили до открытого братания с толстосумами и лабазниками. И время было другое — время собирания сил, размежевания, споров и подготовки будущей революции. Теперь же революция придвинулась, она уже отмечена кровью, она в гудках сибирских паровозов, увозящих калек и запасных с маньчжурского военного театра, в солдатских митингах, в воинственном радикализме двух тысяч иркутских приказчиков. Рабочие создали свой стачечный комитет, согласившись входить только в практические соглашения с либералами: создание Союза союзов — новая попытка подчинить революцию реформизму. Бабушкин жадно вглядывался в разношерстную толпу; велика же должна быть сила народной революции, если она подняла и этих с банковских кресел, от вощеного фигурного паркета и свободно играет каменно-тяжелым мусором.

— Граждане! — воззвал Андронников в разноречивом шуме и гомоне.— Сначала объединимся в Союзе союзов для общих целей российской демократии, а там и шпаги скрестим.— Он заглянул в лежавший перед ним список.— От союза инженеров предлагается два делегата.

Зал откликнулся благодушно: «Утвердить! Принять!», и двое инженеров двинулись к столу, чтобы внести свои имена в список. Сняв фуражку и склонившись к чистому

листу бумаги, один из них приготовился писать, когда послышался хриплый голос Абросимова:

— Прошу называть число членов каждого союза; от какого числа мы избираем двух делегатов?

— Это бессмысленно,— возразил Мандельберг.— Мы бы ограничились одним представителем от каждого союза, если бы личная неприкосновенность была гарантирована уже сейчас.

— Нас двадцать девять человек.— Инженер пренебрег поддержкой Мандельберга.— Двадцать девять дипломированных инженеров.

Инженерных союзов оказалось несколько, самый представительный из них — службы пути и тяги. Затем сквозь толпу под одобрительный гул протиснулись два делегата от двадцати трех членов союза казенной и контрольной палат. Они шли к столу канцелярской робкой иноходью, словно и в этом зале, овеваемые ветрами демократии, ощущали свою малость.

— Два делегата от союза дантистов! — Андронников улыбнулся: славная пора наступила, вот благодетельные курьезы демократии, в ней все равны, всякий цех в цене.

Люди почему-то смотрели не на худощавого брюнета, который, бросив на согнутую руку пальто, пробирался к столу, а на зубы сопредседателей: длинные зубы Андронникова, отчетливые, как и все в нем, и разномастные, покривившиеся, немало пострадавшие от зубодеров — Мандельберга.

— От союза лавочников — три делегата...

Под одобрительные выкрики тронулись к бумагам делегаты: церемонно, будто на подмостках, со всею важностью своего распространенного сословия, но и с готовностью засеменить, если потребуют обстоятельства.

Путь им преградил Алексей.

— Как можно, господа! — заговорил он с притворным возмущением.— В городе две тысячи благонамеренных па-

триотов с патентами — и всего-то три делегата? Что же вы ниже провизоров садитесь?

Лавочники обошли обидчика и двинулись к столу, но расписаться не успели — размахивая бумагой, в зал вбежал телеграфист.

— Из Читы! — крикнул он Мандельбергу еще от порога.

Читинские новости с каждым днем все больше удивляли; народовластие, укрепившееся там, использовалось в Иркутске каждым в своих интересах. «Вот как сильна революция, когда рабочий класс организован и не ждет подаяний, а берет власть»,— говорили иркутские большевики. «Помилуйте! — возражали меньшевики.— В Чите и не пахнет вооруженным восстанием: только однажды среди всеобщей сумятицы прозвучал выстрел и была отнята жизнь одного рабочего, это был свинец охранки... Читинская революция мирная, как и наша в Иркутске. Съезды, митинги, волеизъявления народа, единство всех демократических сил — вот путь к народовластию!..»

— *«...В Чите и Иркутске настроение отличное»*,— послышался голос Мандельберга,— *«все твердо веруют в успех дела. В настоящее время в руках наших телеграф в Харбине, Маньчжурии, Чите, Верхнеудинске, Иркутске, Томске, Красноярске...»* — Вот она, карта сибирской революции, могучей, в тысячи верст российской земли, и в центре ее — Иркутск. В такие минуты Мандельбергом овладевало волнение, которого он стеснялся: до юношеского восторга, до потных ладоней, до срывающегося в хрипе голоса.— *«В Чите успех на стороне социал-демократической партии, в городе своя милиция, войска перешли на сторону народа»*.

Телеграмма адресована не одному Иркутскому, а местным стачечным комитетам всей Сибирской дороги. Забайкальцы обещали добывать в больших количествах оружие, организовать переброску оружия в Иркутск и

дальше на запад. Иркутск получал особое значение: пока Чита на пути к военному Харбину, пока Томск и Красноярск на западе уверены в Иркутске, им легче держаться, воевать, имея крепкий тыл, непрерывную линию революции по всей Сибирской дороге.

Мандельберг с простодушной обидой в темных глазах смотрел на толпу. Он сдернул очки, которые хороши для чтения, но мешали рассмотреть лица в отдалении. Странно, странно! Почему они не радуются, не кричат «ура»? Ведь все так, все именно так и обстоит: и телеграф в наших руках, и мы смеем получать такие телеграммы, не опасаясь жандармов...

— Не оскверним своих рук оружием! — сказал Андронников непримиримо-резко.— Все бомбы — Кулябко-Корецкому! Себе оставим разум и сплоченность демократических сил. Вооруженную революцию Кутайсов утопит в крови.

— Ему бы штыков побольше, а предлог для крови он найдет! — крикнул кто-то из деповских.

— Мы безоружны, а безоружное восстание — абсурд,— сказал Мандельберг, утишая страсти.— История открыла нам другие пути. Мы будем брать уступку за уступкой: сегодня — телеграф, депо, завтра — типографии, городское самоуправление. Дойдет черед и до казарм, освобожденный народ разрушит их до основания! У нас будет конституция, и мы будем парламентскими социал-демократами, как в Германии. Грозное единение народа вырвет у правителей уступки одну за другой...

— Чтобы потом разом вернуть правителям все! — ровно, будто в размышлении, возразил Бабушкин.— А нам захлебнуться в крови.

— Пусть на них ляжет кровь! — опередил Мандельберга Андронников.— На них, не на нас!

— Они любой погром за доблесть сочтут, а расчет ли нам отдавать свою кровь.

— Кто вы такой? — Мандельберг заметил, что перед ним чужак, пришлый человек. — Вы политический ссыльный?

— Бывший. Эту уступку мы вырвали. — Бабушкин усмехнулся. — Но за то, чтобы нам называться бывшими ссыльными, в России отдано много рабочих жизней.

— Кто же вы такой? — уже осмотрительнее, без вызова спросил Мандельберг.

— Рабочий. Верхоянский сиделец.

— Вот, вот! Как это крепко сидит в вас: привычка к подполью, боязнь собственного имени, боязнь света, когда он уже пролился, когда история требует открытых действий. А мы вышли из подполья...

— С визитными карточками, что ли? — спросил Бабушкин.

— С фотографической карточкой! Мы пригласили мастера, сделаем снимок и напечатаем его в газете: пусть Кутайсов убедится, что все слои против монархии.

— Вы окажете добрую услугу жандармам. По этой фотографии легко будет повыкосить иркутских демократов: поди отопрись, когда на карточке твоя физиономия, шуба, жилет, даже брелоки видны...— Публика пришла в беспокойство, запахивая шинели и шубы, хмурясь от подозрения: уж не ловушка ли это собрание? — Им терять нечего,— Бабушкин показал на железнодорожников.— Их погромщики не забудут, они уже в списках, не в ваших — в других. А вы-то зачем шеи суете?

— Вы хотите восстания? — Выйдя из-за стола, Андронников почти по-дружески приступил к рабочим.

— Надо быть готовыми к восстанию,— сказал Абросимов скучным голосом: он еще не испытывал публично сил в споре с первыми ораторами города, и не ждал добра.— А будем сильны, вооружены и солдаты с нами, авось и уступки будут побольше; к вооруженному не просто подступиться.

— Всё авось да небось! — возликовал Андронников.— За восстание высказываются только те, кому нечего терять!

— При банковском счете в огонь не полезешь! — сказал Алексей.

— Пошлый, низменный аргумент! И русской демократии уже есть что терять: наши первые свободы и завтрашний парламент! — Андронников стоял вплотную к рабочим, хотел заглянуть в самые души, понять, отчего в них поселилась эта ужасная слепота и темное упорство.— Вы что же, думаете, нам не дорога свобода России? Что же мы — спектакль играем? Так невелика же честь: столько лицедеев,— движением руки он обвел большую часть зала,— а вас, зрителей, кучка.

— Это вы допустили сюда кучку,— хмуро ответил Абросимов.— На нас, пожалуй, списка не хватит: нас миллионы.

— Чистейшая демагогия! Миллионы рассеяны по стране, они — народ, а я говорю о спектакле в этом зале. Неужто нам не дорога свобода?

Так далеко Абросимов и в мыслях не заходил; ведь и слово-то свобода они произносили чаще, чем сам Абросимов и его товарищи, и звучало оно у них торжественно, громко, соборно. Ах как они хотели свободных трибун и кафедр, парламентского регламента, ничем не стесненного дыхания, свободы-птицы, чудом спустившейся к ним на руку. Они хотели свободы в дар, но никто в грешном мире не делал таких подарков. Эти мысли медлительно, сердито ворочались в голове Абросимова, но сильных слов не находилось, и в спор вмешался Лебедев:

— Вы лучше нас ответили на свой вопрос: за восстание только те, кому нечего терять! Хорошо сказано: рабочим нечего терять в восстании, кроме своего рабства...

— Кроме своих цепей! — провозгласил Андронников, давая понять, что и он начитан, знаком с этой фразеологией.

— Можно и так: кроме своих цепей,— согласился Лебедев.— Хотя неправда, рабочий может потерять в борьбе жизнь. Но его жизнь и теперь похожа на медленную, мучительную смерть. А ваша жизнь — другая. Я не завидую вашей жизни, но она другая.

— Что же она — позорная или недостойная?! — сила Андронникова в его пстовости.— Не вредит ли будущей свободе стремление иных помнить о сословном неравенстве? Когда наступит век свободы, оно умрет само собой.

— Жизнь ваша может быть и благородной и позорной — от человека зависит. Но тот, кто имеет магазины, прииски или заводы, если и вооружится, то чтобы защитить свое добро.

— Мы хотим монархию разрушить, а вы на магазины заритесь?

— Хозяин фабрики боится вооруженного рабочего, а ну как он прогонит царя, а потом захочет и фабрику отнять. А, думаете, адвокат, который на суде защищает хозяина против машиниста, изувеченного паровозом, захочет восстания? Или инженер, который переводит рабочих с поденной оплаты на сдельную в каторжных штольнях, ему-то зачем в рабочую дружину? Он не лучше пристава, только что безоружный. Революция может отнять их доходы, сделать беднякамп вроде нас. Солона им такая свобода!

Андронников подавлял в себе оскорбленное чувство: конечно, мальчишка не имел в виду его, когда упомянул адвоката. Андронников умел выбирать себе подзащитных, не марать себя грязными делами, его репутация стояла высоко. Разумеется, и лавочнику жаль своей лавчонки, а ты успокой его, растолкуй, что никто не зарится на его прилавок, пусть стоит за ним хоть до второго пришествия. Так нет же, нетерпеливые все погубят, всех застращают, пока не останутся в одиночестве, как голодные волки. Обернулись бы хоть на природу, как мудро все в ней устроено: есть птахи зимующие, а есть отлетающие, разве

завидуют они друг другу, северной стуже или африканскому зною?

— Так недолго и дело погубить, молодой человек,— сказал Андронников, сокрушаясь невозможностью внушить славному юноше истину.— Мы готовы на жертвы, и неизвестно, чья жертва больше, кто больше теряет, голосуя за свободу. А вам не терпится привести всех к алтарю социализма, которого еще нет, нет ни в России, ни в других, цивилизованных странах...

Поднялся изрядный шум, обиженная публика роптала, убеждаясь в гордыне и несправедливости рабочих. В либерале — просвещенном или кухонном, по неосторожности,— пробуждалась гордость: он так самоотреченно вошел в здание, осененное кумачом, бросил вызов жандармскому ротмистру, самому Кутайсову, перед которым привык трепетать,— ему ли слушать попреки неумытых, с въевшимися в руки и лица угольной пылью или типографским свинцом, рабочих, а тем более своих же приказчиков, бездельников, мечтающих разделить по справедливости чужое добро! И публика закричала, что хватит болтовни, у всех дела, служба, семья; Мандельберг потрясал колокольчиком.

— От союза рабочих иркутского депо,— объявил он, когда зал стих,— четыре делегата. Самая высокая квота, но не по числу рабочих, а потому, что железнодорожники часто в отлучке.

Зал неохотно давал эту поблажку, не взяли ее и рабочие.

— Требуем не меньше десяти делегатов,— сказал Абросимов.— В нашем союзе за тысячу человек, выйдет по одному от ста рабочих — не слишком жирно.

— Четырех! Четырех! — разоралась публика.

— Хватит четырех!

— Они и вчетвером изведут нас проповедями!

Никто из рабочих не тронулся с места.

— Я напоминаю: мы формируем представительный орган с равными для всех возможностями.— Мандельберг устал от несогласия этих упрямцев и в комитете РСДРП. Ведь вот зовут себя большевиками, а на съезде партии никого из них не было, о съезде знают понаслышке, да и о Марксе едва ли не понаслышке, и откуда набрались упрямства.— Что ж, ваша воля. От торгово-промышленного союза — два делегата.

— У них в союзе и десятка не наберется!

— Девятнадцать нас! — огрызнулся владелец типографии Коковин, с виду больше похожий на одичавшего в тайге целовальника, человек богатый, успешнее других соперничавший с губернской типографией.— Мы крепко на ногах стоим: при царе жили и при конституции, даст бог, не помрем.

Собрание жалко влачилось, распадалось на кучки раздраженных людей, озиравшихся, туда ли они попали, действительно ли нужно было им сойтись в одном зале с людьми крайности, чья худоба и одежда и без слов просили о лавочном кредите?

— Выходит, и в революцию сто рабочих не стоят одного толстосума! По какой же это правде? — потерял наконец терпение Абросимов и обратился к старику, служащему Сибирского банка: — Да на что она тебе, революция, любезный?

— Па-а-пра-шу не тыкать!

— Вы дезертируете! — выкрикнул в гневе Андронников.

— Они в пасынки к вам не пойдут! — Бабушкин ощутил волнение и азарт не наблюдателя, а участника событий. Все, все было знакомо, все пережито за годы борьбы и скитаний; и этот барский взгляд свысока, и несчастное желание говорунов увести за собой в болото людей действия, задушить худосочными теориями ростки жизни и то, что златоусты эти — часто люди искренние до слез, до ис-

купительных воплей, верящие в спасительность своей тактики. Повидал он и рабочих с умной головой, совестливых, на первых порах терявшихся в диспутах с прорицателями: и сам он прошел этот путь, переделываясь из чиелительного молодого человека в социалиста.— Рабочие делегаты образовали свой стачечный комитет, и они не пойдут в подчинение буржуазному Союзу союзов...

— У нас не будет подчиненных и правящих! — прервал его Андронников.

— Но голосования будут? — спросил Бабушкин.— А голосование, значит, и подчинение вашему большинству. Вот вам и кабала и рабство.

— Кто вы такой, что говорите от имени наших рабочих! — возмутился Мандельберг.

— Один из рабочих России.

— Раскол! — выкрикнул Андронников.— История не простит вам этого! Я буду свидетельствовать на суде истории!

— У вас свое место и на суде истории и в суде присяжных,— возразил Бабушкин, и негромкость непривычного им, глуховатого голоса, обдуманность спокойных слов лучше крика заставили публику прислушаться.— Вы адвокат, говорят, с хорошим именем, выступите легальным защитником на политическом процессе, если с ними,— он кивнул на рабочих,— не разделаются без суда.

## 7

Он бродил вдоль путей и оледенелых окон депо в состоянии смутном и напряженном. С безветрием к городу подкрался редкий для ноября мороз; казалось, выследив своих беглецов, сюда домчала верхоянская стужа. В поблекшее, темнеющее небо, с кровавым подтеком на горизонте, медлительно поднимались сотни дымов.

Бабушкин вернулся в Глазково с рабочими, покинув здание Общественного собрания. Теперь ему вполне открылись затруднения Иркутска: юноша прав — нужны опытные люди. До последней поры Абросимов, вероятно, держался в тени, но Иркутск по разным причинам лишился вожаков, и вперед вышли новички; им не хватает нескольких месяцев, чтобы почувствовать себя крепче в седле. А время наступило трудное даже и для бывалого человека, стихия все еще владеет Иркутском, еще не так сильна революция, как слаб Кутайсов, у него мало штыков и нет к ним вчерашней веры. Новизна положения, несходство с тем, что встречалось ему прежде, пробуждали в Бабушкине наивную жажду помериться силами не с губернскими либеральными златоустами, а с тайной, забившейся покуда в берлогу силой; она не знает замешательства перед кровью народа и только ждет своего часа. И совестно было, что Алексей ходит по пятам, выспрашивает, просит советов, как бедный у богатого, готов жадно и благодарно брать то, что принадлежит не одному Бабушкину, а партии, что было постигнуто им в общей борьбе... Эти мысли и погнали Бабушкина из дымного, нагретого горнами и кострами депо на лютый мороз. Здесь он принадлежал уже не Иркутску, а дороге, убегавшим на запад рельсам.

Спутников своих он застал в депо, Петр Михайлович поспал и отогрелся неподалеку, в доме кочегара; Маша успела предупредить Бабушкина, что старик плох, привезли его сюда на санках, он покорился, когда понял, что быстро до вокзала не дойдет. «Я все тревожилась, как быть с вашим саквояжем: оставить или увезти, если опоздаете?» — «Там добра на пятак, одни белые воротнички». «Отчего вы так привязаны к ним? — спросила Маша.— Я еще в Верхоянске заметила». «Когда с самого детства человека хотят в грязь затолкать, у него вместе с мыслью о свободе появляется желание выглядеть поприличнее, взглянуть

этаким интеллигентом из крахмального воротничка,— шутливо ответил Бабушкин.— Целое платье — дорого, а воротнички любому по карману».

Он говорил дружелюбно, иронически к себе, но невольно выходило, что они люди разного сословия и она все-таки из того, для которого недорого всякое платье. Маша вздохнула, мол, бог с вами, и сказала: «Хитрый вы человек, Иван Васильевич. Да уж ладно, скоро расстанемся и не придется мне разгадывать ваши загадки». «Хитрые — помалкивают,— возразил Бабушкин,— а я весь тут. Я упрямый, вероятно, неудобный человек, а хитрости бог не подарил».

Старика устроили в углу на нарах, он лежал на спине, заведя руки под затылок. Прищурился, будто подмигнул Бабушкину:

— Не нашли знакомых?.. Значит, новые знакомства завели,— сказал старик завистливо.— Мне только так и дышится, когда руки подняты, опущу — сердцу больно. Что в городе?

— Комитет у меньшевиков, это все устроенная публика, а наших мало и все такие, кому надо азы зубрить.— Бабушкин присел у него в ногах.— Жаль, не видели вы иркутской улицы!

— Остаться бы мне здесь! Не в дороге околеть, а с толком... все равно не доеду,— хрипло шептал старик, разнимая руки и тут же укладывая их под голову. И будто испугавшись своей мысли, заторопился: — В больницу — ни за что. Уж лучше в теплушке отправиться к праотцам. А может, и к делу поспею? — Взглянул вдруг на Бабушкина строго: — Не скор ли ваш приговор, Иван Васильевич? Что, говоруны здесь так сильны? — Жадно слушал, как Бабушкин в лицах описывал недавнее вече в Общественном собрании, демократов, чтивших присягу государю-императору, революционеров с гильдейскими патентами.— Славно! Славно! — приговаривал старик,

шевеля губами, обметанными седым жестким волосом.— Карикатура, а славно: вот как сквозняками повело, затрясло, застучало на Руси святой!.. Ну не славно ли?! Так и сказал: «На что она тебе, революция, любезный»? А меня-то на саночках привезли,— пожаловался он растерянно.

Стало темнеть. У эшелона георгиевских кавалеров поднялась суета, послышался стоголосый хруст снега под сапогами, забегали унтера, послышались команды. Теплушку покатили к стрелке, чтоб поставить в хвост поезда: если внезапно подадут паровоз, вагон ссыльных будет на месте. Маша замешкалась и бросилась к двери, когда десятки рук уже катили теплушку.

— Стойте! — крикнула она.— Дайте сойти!

Люди не услышали ее крика, и вагон катился, набирая скорость.

— Послушайте! — сердилась она.— Да остановитесь же!

— Не тревожьтесь, барышня! — крикнул Алексей.— Довезем!

У стрелки бег замедлили, Маша заметила Бабушкина, упиравшегося вместе с другими в теплушку, он решил задвинуть дверь, чтобы сберечь тепло.

— Остановите же, Бабушкин, дайте сойти!

Он покачал головой, медленно двигая в пазах дверь. Маша успела прыгнуть — неловко упала в нечистый снег, быстро поднялась, отстраняя Бабушкина.

— А вы? — спросила перехваченным от злости голосом.— Вы позволили бы, чтобы люди, как рабы, везли вас?!

— Видите, как весело волокут, как на святках.

Маша смотрела в глаза, не давала увильнуть, отшутиться.

— Вы сами прыгнули бы? Не лгите!

— Прыгнул бы, только половчее.

Лязгнули буфера, затихая в отдалении, десятки глаз из-под папах, башлыков и солдатских шапок, надвинутых на уши, угрюмо смотрели на приткнувшуюся к эшелону теплушку и дым, выходивший из ее узкой железной трубы.

— Одни унтера и повыше,— негромко сказал Абросимов.

— Зато быстро покатят! — Алексей во всяком положении умел видеть и выгоду.

Люди в эшелоне одеты добротно — на многих тулупы поверх шинелей и черкесок, башлыки и папахи новые. Изредка серели шинелишки, кто-то пританцовывал, охлопывая себя несуразными рукавицами, натягивал на уши куцую солдатскую ушанку, а то и фуражку. Дымки папирос и махорочных самокруток вились над толпой военных, которая росла.

— Откуда прикатили, енералы? — крикнули ссыльным с перрона.

Они не ответили. Кто-то из солдат спросил без подвоха:

— Из каких мест путь держите, горемычные?

— Издалека,— сказал Бабушкин.— Нас и кони везли, и олени, и собаки.

— Ври больше! — Служивый кивнул на теплушку.— Повезет тебя собака в этом терему!

— А мы на санях, в кибитке — из ссылки.

— Из убивцев, значит! — прояснилось солдату.

— Нет. Нас убить хотели: холодом и нуждой.

— Нашего брата разве этим изведешь!

Маше претило отшучивание товарищей.

— Мы — политические ссыльные! — сказала она с вызовом.

— Цареубийцы! — растолковал кто-то в толпе.

— Ов-ва! — поразился солдат.— Этакого дива мы и в маньчжурах не видали! Ты, что ли, стреляла?

Он выступил вперед, невысокий пожилой солдат в великоватой шапке, которая в мороз оказалась удобной.

— Стреляла! — воскликнула Маша, чувствуя, что вызов этот не к месту, но не умея остановиться.

— В государя? Женское ли дело?! — сокрушался солдат.— Как же ты, бабонька, на чужую кровь покусилась?

— А вы, как вы посмели? — возразила Маша.— В Маньчжурию ехали не землю пахать: убивать.

— При нас командир и батюшка с крестом, мы не своевольно. По разрешению.

— Скольких надо убить, чтобы Георгиевский крест на грудь повесили!

— Даром не дадут! — хвастливо крикнули из толпы.

— И кого убить: может, такого же крестьянина, как вы, только вы пшеницу сеете, а он рис.

— Пашаницу! — передразнили Машу.— У нас и рожь не родит: пашаницу захотела!

— Стреляете слепо, а я знаю своего врага: я метила в палача, кто приказал сечь арестантов, даже женщин.

— Бабу зачем сечь, ее за волоса потаскал и будя!

И полетели выкрики один другого солонее: воображению изголодавшихся в Маньчжурии солдат рисовалась наказанная женская плоть.

— Бабы от вожжей не убудет! И от розог — тоже!

— Она и сеченая — сладкая... Верно?

— А как вас потчуют, барышня? — С перрона спрыгнул разбитной чубатый унтер.— Раздемши или через холстину?

— И тебя шомполом правили?

Маша подняла кулачки в черных варежках, словно защищаясь от толпы, Бабушкин увел ее в сторону, а толпа шумела, смеялась, без удержу выкрикивала свое, охальное.

— Не поймут они вас, сейчас ни за что не поймут,—

убеждал он Машу.— Страх смерти миновал, они живы, домой едут, к тому же — особые, избранные..,

— Так и я их не боюсь! Слышите, не боюсь! — Она вполовину обернулась к толпе, снова бросая вызов.

— Знаю, чего вы в жизни боитесь,— тихо сказал Бабушкин.— Пощечины! Боитесь, что ударят по лицу.

— А вы? — Неужели святое — для него не свято, и все, чем дорожит человек чести, искажено в нем уловкой, теорией? Глаза Маши впились в него неистово.

— Если нужно будет — снесу. И это снесу.

— Как можно!

— А вот — жив: ко мне их грязь не пристанет.

— Я в тот же день умерла бы! — шепнула она в невольном испуге перед таящейся в ней, уничтожающей и себя и других силой.— А еще я боюсь милости палачей. А вы? Только тот революционер, кто смеется на кресте!

— Я, верно, из тех, кто молчал бы на кресте.— Он неловко повел плечами.— Не на кресте, конечно, а в крайних обстоятельствах.

Тот ли он человек, которого почитал Верхоянск и опасалось запойное уездное начальство; ни в ком не искавший; кажется, тронь кого-нибудь при нем неправдой, и он взорвется даже под угрозой казни? Отчего же теперь он осторожничает, ищет замену словам чести словами подлого здравого смысла? Не оттого ли, что впереди замаячили города России, почудились голоса близких, и он готов смолчать, только бы везли, везли, везли...

Пока они спорили, все вокруг переменилось. Толпа сошлась плотно, унтер-офицеры и солдаты забили перрон, на шпалах тоже появились военные, тесня ссыльных к теплушке. Сумерки, клубящийся от дыхания пар, лица, полузакрытые воротниками и надвинутыми папахами, не сразу позволяли разглядеть в толпе старших офицеров, но одного Абросимов узнал и шепнул Бабушкину:

— Здесь Драгомиров. Полицмейстер.

Стучали вокзальные двери, толпа бурлила, солдаты все больше возвышали голоса, негодовали, что нет паровоза, требовали отправки, грозились разнести вокзал; кто-то поднял над головой дубовый вокзальный стул. Но оказалось, что стул взят не в ярости, не для погрома: поддержанный услужливыми руками, на него встал полицмейстер, оконный свет пролил желтизны на рыжие, в изморози, усы и тяжелый профиль со слезившимся обвислым веком.

— Я старый солдат, всего повидал! — зычно крикнул он.— Если хотите домой, к женам, к детям...

— Давай паровоз! — забушевало вокруг.

— Чего рассусоливать!

— Если хотите домой, перебейте забастовщиков, загоните их в степи к монголам! Вы за Россию голову клали, а они в забастовке; перебейте их, пусть им, не вам придет гибель в Сибири! А вам —открытая дорога домой, на родину, в Россию!

В наступившей тишине послышался голос пожилого солдата:

— Кровью веру не утвердишь. Нешто мы палачи — своих убивать!

Кто рассмеялся на его простодушные слова, кто ругнулся незлобиво, отовсюду понеслись крики:

— Богоотступники!

— Нехристи!

— Изменники престолу и отечеству!

— Они не пускают вас к родным очагам. Задерживают эшелоны, поезда с мукой, обрекают на голод русский край.— Толпа колыхнулась, казалось, те, кто стоял на краю перрона, прыгнут вниз и начнется свалка.— У них и телеграф, и дорога, хотят — дадут паровоз, а не захотят — не допросишься...

Вокруг шныряли подозрительные лица, военные и штатские,— подталкивали ссыльных локтем, теснили пле-



чом, пускали в лицо цигарочный дым. Скалил белые зубы чубатый унтер, держась поближе к Маше.

— К вам пришли инженеры,— продолжал Драгомиров.— Сегодня и они бессильны: забастовка лишила их власти.

— Пущай крест кладут! — высоким голосом завопил пожилой солдат; и он терял снисхождение к забастовке.

Инженеры обнажили головы и осенили себя крестом.

— Орлы! — ободрился полицмейстер.— Государь отпустил вас по домам с почетом, при оружии, неужели вы будете спокойно смотреть на самочинство и разбой!

Толпа недобро качнулась, над перроном взлетела шапка, раздался выстрел и чей-то истошный, лесной, надрывающий нервы крик. С головы Абросимова упал сбитый казачьим офицером малахай, обнажилась седоватая, в редком волосе, голова. «Только бы никто не побежал, не бросился под вагон,— Бабушкин уловил настороженный скрип снега по другую сторону состава.— Нас тут немного, и можно кончить дело прежде, чем услышат в депо и подойдет рабочая дружина». И будто сорванный с места тем же подозрением, Абросимов вспрыгнул на перрон и протиснулся к Драгомирову.

— Дайте и нам повиниться, господин хороший,— сказал он спокойно, хриплым, будто и впрямь повинным голосом, и полицмейстер соскочил со стула.— Я, правда, и без стула длинный, а всякому попу, даже и худородному, амвона хочется.

— Держи! — Снизу ему бросили малахай.— Уши поморозишь!

Абросимов поймал шапку, но надевать не торопился.

— Чего об ушах тужить, если мне голову с плеч сулят! Все верно говорили их благородие: мы задержали три вагона теплых вещей: рабочие, смотрите, в пальтишках мерзнут, а чужого не берут. Шли эти вагоны не в Харбин, не к увечным воинам, а от них.— Зажмурив глаза от боли,

он натянул малахай и постоял, тиская уже закрытые уши.— Сил нет терпеть... а хотел услужить офицеру. В Петербург шли эти вагоны и в Нижний: генералы наворовали. Угоняем паровозы? — Он будто задумался, принять ли и эту вину.— В Россию гоним, что под рукой, старье даже — гоним, машинист иной раз на ногах не стоит, а мы велим — и едет, едет, чтоб солдатскому эшелону часу лишнего не оставаться в Иркутске. Это власти боятся маньчжурского солдата в Россию пускать, а нам оно и лучше: пусть едут домой и расскажут правду о войне...

— Вяжи его, братцы! — крикнул чубатый унтер.

— Повяжешь, погоди...— сердито отмахнулся Абросимов.— Я сам на плаху взошел. Скажите на милость, зачем мне, рабочему человеку, в Иркутске вас держать? Вас забастовкой пугают, а она вот — забастовка, стоит голодная, глаз не прячет. Нам не нужны ваши штыки...

— Гоните его, хама! — раздался надменный голос подполковника Коршунова.

Драгомиров воспрял духом: брошенные в толпу слова Коршунова произвели действие,— пала зловещая тишина, поунялась разноголосица, люди подобрались, будто в ожидании приказа.

— Три паровоза! — выкрикнул Абросимов, не теряя и секунды, и выкинул на пальцах то же число.— Прошлой ночью три паровоза стояли на путях. Их угнало начальство; один на станцию Зима и два в Иннокентьевскую, рядом. В Иннокентьевской рота каширцев охраняет депо.

Кому поверить? А что, как правда рядом готовые паровозы и все само собой разрешится без крови? Но зачем же полицмейстер в стужу, на ночь глядя, надрывал глотку, если он мог приказать каширцам привести паровоз?

— И ты положь крест, мужик! — нашел выход солдат: инженеры крестом поддержали генерала, пусть и этот вспомнит о боге.

Абросимов растерялся, не принимал сделки: честное и открытое слово выше божбы.

— Испугался! — крикнул унтер.— Все они христопродавцы!

— На него офицеры страху напустили,— пришел на выручку Бабушкин.— Он и забыл, какой рукой крест кладут.— Абросимов наконец перекрестился.— Пошлите с ним команду и офицера построже,— предложил Бабушкин, уже стоя на перроне рядом с полицмейстером.— Он покажет, где паровоз, а обманет,— делайте с нами, как полицмейстер велит.

Он дело предложил — простое, несомненное, без проигрыша для эшелона. Солдаты приняли его условия, они позволяли все решить миром, а Коршунов и не подозревал, что все сделано иркутским начальством так бездарно и дурно. Подкатила дрезина. Абросимов прихватил с собой машиниста — на случай, если каширцы отпустили домой машинистов. Солдаты смотрели вслед дрезине, прислушивались к затихавшему ее скрежету, к тонкому, визгливому голосу стылых колес, а когда дрезина скрылась за товарным складом, они увидели на стуле человека с веселыми глазами.

— Неужто оттого, что на вас, мужиков, надели мундиры, вы стали другими людьми и вам меньше нужна свобода? — спросил Бабушкин.— Или вы не поняли, чего от вас хотят, зачем везут в Россию, не безоружных, как всех, а при оружии?

— Прежде сроку не митингуй! Будет паровоз — валяй!

— Заткните ему глотку!

Коршунов молчал. Торопить людей теперь опасно, как бы не раскололся поезд, как это уже случалось с другими. Впереди у них восемь — десять дней пути, они увидят ласку начальства и угрюмость страпы; вдоволь мяса и хлеба, фронтовую чарку, а от попутных людей — проклятье, брошенное в спину; торопить их не надо.

— А если и народ за оружие возьмется? — размышлял Бабушкин.— Возможно такое? Еще бы невозможно, когда людям невмоготу терпеть. Если народ возьмется за оружие, а вас против него поставят, тогда как? Война! Брат на брата! Как же не спросить себя: хочу я такой войны или не хочу? Вы не жандармы, вас от земли взяли или с фабрики, туда и вернут, не в барские кресла. Как же вы будете целиться в нас, это только палачу легко...

— Уби-и-л-и! — тонкий, бабий вопль раздался позади.

Огибая заиндевелый угол вокзала, на перрон двинулась темная ватага, городской сброд — дворники, лавочники, оставшиеся в эту пору без товара, сахалинцы, пристав в темной шинели и двое в кровь избитых георгиевских кавалеров. Они остановились под окнами вокзального буфета, чтобы солдаты увидели разбитые лица, изодранные гимнастерки под расхристанными шинелями. Узкогрудый солдат с сонными, несмотря на кровь, глазами предался в руки чубатого унтера и повис на нем, а второй, мордастый встрепанный крепыш, порывался говорить.

— Напился... скотина-а! — Драгомиров взял мордастого за отвороты шинели и тряхнул.— Из какой части?

— Каширского 144-го пехотного полка рядовой Конобеев...— Он подался к генералу, как к благодетелю, но его держали под руки.

— Кто ж это вас так? — Соболезнуя, Драгомиров вынул из кармана белый платок, приложил его к лицу солдата и отдернул руку, будто ее обожгло.

— В гостинице «Золотой якорь»...— плакался мордастый.

— Тама! Тама! — встрепенулся в руках унтера сонный солдат и, запихнув в рот палец, стал пошатывать зубы, бормоча, что выбили, выбили.

— К девкам ходили?

Драгомиров играл роль так натурально, что Бабушкин не заподозрил умысла, западни, однако же ощутил какую-

то опасность; нелепым сделалось его стояние на стуле, и невозможно сойти в толпу, будто он бежит в страхе перед черной городской ватагой.

— Так-то вы храните свою честь и этот благородный крест! — Драгомиров перчаткой накрыл, как оскорбленную святыню, солдатский крест на гимнастерке.

— На нас вины нет, ваше благородие! — Наконец-то и мордастый солдат собрался с мыслями.— Нас туда силком затащили... забастовщики... сицилисты... Убить хотели...

— Кто бил? — не верил Драгомиров.— Не сахалинская ли каторга? — Он лицемерил, все рассчитав наперед.— У забастовщиков дело поважнее: паровозы прятать, солдат домой не пускать.

Багровые с перепоя глаза смотрели тупо: солдат потерялся,— уж не напутал ли он чего? Он уже готов был подтвердить догадку генерала о сахалинцах, но выручил дружок.

— Нешто мы слепые,— сказал он рассудительно.— Каторги от забастовки не отличим? Кулака, что ли, не разглядим, который нам морду кровянит!

— Кто же издевался над вами? Над георгиевскими кавалерами!

— Сицилисты били... чумазые! Кричали: всех, кто японца стрелял, порешим! Егорьевских кавалеров на столбах... развешаем, а не хватит столбов — дерева́ сгодятся!..— Врал он вдохновенно, прихватывал от усердия лишку.

— Бей забастовку! — Чубатый унтер отпустил солдата, вскинул руку с воронепым пистолетом и пальнул в воздух.

И снова толпа прониклась злобой к невозмутимым людям в худых, не по морозу, пальтишках, шубейках, путейских шинелях, к смутьянам, жестоким к солдату. Внизу, на шпалах, рабочих толкали в спину, в затылок, дожидаясь ответного удара или крика возмущения, чтобы нале-

теть, остервенясь. Чубатый унтер и г р а л, целился в Бабушкина, то в голову, то в грудь, яростно крикнула Маша, чтобы не смели, что это — скотство и позор; ругань и смех заглушили ее голос. Не сразу увидели паровоз, пока он в полусотне саженей не завопил, будто нарочно, чтобы остановить занесенную руку.

На тендере и паровозе кутались от стужи солдаты. Когда маслянисто-темная, в сполохах огня громада подошла вплотную, солдаты увидели Абросимова, выглядывавшего из будки, и караульных каширцев, обрадованных, что их ночная служба кончилась до срока.

— Вот и каширцы! — сказал Абросимов, перегнувшись вниз.— Спросите: кто их поставил сторожить: забастовка или власти?

— Деньги у нас взяли... все... сколько было,— канючил избитый солдат, едва поднимая сонные веки.— Ограбили!..

— Чего врет-то! — лихо закричал каширец в опущенной на светлые вороватые глаза папахе: он повис над толпой у железных перил, спиной к котлу.— Это Конобеевато ограбили? Вона где твои деньги, пьянь беспамятная.— Каширец вытащил из-за пазухи кошелек.— Как в кабак или в заведение — он мне на сохран отдает...

Вид кошелька разволновал Конобеева, по пьянке уже верившего в собственную ложь, он потянулся рукой и закричал:

— Кинь сюда, Сенька!

Шинель распахнулась от вскинутых навстречу кошельку рук, и Сенька увидел на груди Конобеева Георгиевский крест.

— Ну фармазон! — Рука с кошельком застыла в воздухе.— У кого же ты Егорьевский крест уворовал? Ну не помилует начальство!..

С брезгливостью смотрел подполковник на солдат-самозванцев и, заметив мелькнувшую в дверях спину Драгомирова, смушковую папаху, вдавленную в мех воротни-

ка, подумал, что по вислым щекам и тяжелым векам полицмейстера он съездил бы с еще большим удовольствием, чем по рожам каширцев.

Толпу быстро смахнуло с перрона: мороз, которого только что не замечали, теперь всех подгонял к вагонам, в тепло, иной солдат, только что готовый обрушить удар на ссыльного, смотрел теперь виновато, отшучивался, уходя, норовил дружески хлопнуть ссыльного по плечу.

Утихомирилась и теплушка; только Маша, с ее непрощением обид, с презрением к стаду, металась, приоткрывая дверь, поглядывая, не подняли ли семафор. Оглядывала пустынный перрон, упавший под окно стул, караульных у вагонов, Бабушкина, Михаила и иркутских рабочих. Еще и еще раз подивилась она странной слабости Бабушкина, назойливости, с какой он доискивается путей к встречным людям; его упованию на слова, тактику, как будто в эту жизнь можно внести порядок и план. И в том, что разыгралось только что на перроне, во внезапном избавлении от погрома, Маша видела только слепой случай, счастливое стечение обстоятельств, пощаду судьбы. И оттого ей странен был этот человек, и то, как, смеясь, он втолковывал что-то Абросимову и что-то чертил на снегу.

Отойдя в глубь теплушки, Маша ждала скрипа шагов за тонкой вагонкой, грохота двери в пазах — ждала возвращения Бабушкина. Разве их пути не разойдутся по приезде в Москву или в Питер? Отчего, кляня себя, она чувствует в нем брата, отчего ей близка эта неугомонная, упрямая душа? В Верхоянске время текло медленно, и она поражалась, видя, как он и там не унимается, будоражит ссыльных; раздражалась на его характер, видя в нем не только силу, но и слабость, страх одиночества, желание раствориться в толпе. Разве жизнь не есть постоянное подвижническое замыкание на самом себе, не подвластное ничему со стороны сжатие пружины воли и мысли,

сжатие до предела, когда взрыв делается неизбежным. Вот тогда-то личность и проламывает стену преступного правопорядка, и, если брешь достаточно велика, в нее устремляются тысячи людей, неспособных сами по себе начать что-либо. Но бывали часы, когда сердце Маши падало в слабости, в безотчетной тоске, и этот человек, молча конопативший лодку перед паводком на Яне или уходивший в тайгу с одолженным ружьем за плечами, казался ей самым сильным из всех, кого судьба загнала в Верхоянск. И желанным делалось в нем вдруг все — быстрый, будто свысока, взгляд на споривших с ним людей, нетерпеливый жест, грубые руки, со следами вара, в порезах и ссадинах, руки плотника, которые он клал на стол перед собой.

С тревогой думала Маша о том, как она станет врачевать Бабушкина, захворай он вдруг, будет ли он слушаться ее, или и на этот случай у него достанет упрямства, насмешки, своеволия, домашних премудростей, вынесенных из вологодского леса? Но он не болел, обтирался снегом, купался в Яне, когда уже никто этого не делал, одевался тепло, а если и прихварывал, то, верно, как-то обходился, перемогался, только краснота вокруг глаз проступала сильнее обычного.

Теплушка не выбирала дорожного артельного или старосту, но трудно было не видеть, что люди смотрят на Бабушкина как на старшого. Так будет и в пути, думала Маша, на сибирских станциях и за Уралом,— он первым будет уходить из вагона, чего-то добиваться для всех и последним, па паровозный гудок, вспрыгивать в теплушку. И будто в подтверждение раздался крик паровоза, а следом быстрые шаги, дверь отъехала в пазах, быстро забрались внутрь Бабушкин и Михаил. Бабушкин взял с нар саквояж, склонился над стариком и обнял его.

— Не вставайте: руку! — сказал он.— Счастливого вам пути!

— Жаль расставаться,— вздохнул старик,— но вы меня не удивили, к тому шло.

— Невозможно иначе,— повинился Бабушкин.— До свидания, товарищи! — На долгое прощание не оставалось времени.

Лицо Маши побледнело, как это случалось с ней не от беды, а от обиды, темные глаза загорелись угольной жаркой чернотой.

— Оставались бы в Якутске, Бабушкин! — сказала она.— Ведь и там митинговали!

— Здесь другое,— ответил он серьезно, уже от двери.— Сейчас в России нет места, где я нужен больше. Прощайте!

Бабушкин спрыгнул вниз, и Маша следом, встала рядом, растерянная.

— Научилась прыгать.— Она оперлась о руку Бабушкина.— С неподвижного вагона.— У ступеней соседнего вагона докуривали папиросы двое казачьих офицеров.— Загоняли собак и лошадей... Все вперед, вперед, в Петербург! — говорила она, волнуясь.— А теперь — остаетесь. Что это? Страх, что не угодите им? — она кивнула на стоявших неподалеку Абросимова и Алексея.

— Страх! Страх, что опоздаю в Петербург и там все сделается без меня. Страх, что здесь канун восстания, а я проболтаюсь транзитным. И расчет! — сказал он сердито.

— Какой уж тут расчет! — не поверила Маша.

— Что я им нужен.

— Поцелуйте мне руку. Это не страшно. Поцелуйте, на счастье... Мы ведь больше не свидимся.

Белая рука поднялась к его лицу, высоко, снисходя к его неопытности. А он стоял, теряясь, не зная, как поступить. Может, он и целовал руку Паши, палец за пальцем, не замечая, что целует руки, кто знает? Но целовать чужую руку, когда сердце не попросило?.. Он неуклюже подался к Маше и поцеловал ее в лоб.

— Прощайте, Маша. Будьте горды и счастливы.— Поезд тронулся, и, помогая Маше подняться в вагон, все быстрее шагая за поездом, он говорил: — Одно меня мучает... вы знаете: жена, мать. Возьмите адрес, если Петр Михайлович не доедет... непременно возьмите... Я хочу, чтобы они жили свободными, не унижались, не страдали до самой смерти...

Трудно бежать, ветер забивал дыхание, за теплушкой вихрился поднятый поездом снег. Позади — товарищи, оставленный у рельса саквояж. Бабушкин долго брел вперед, не спуская глаз с темного, расплывающегося в ночи торца теплушки. И когда снег все затянул пеленой, в ней стали роиться знакомые тени, и до его слуха снова, как тогда в розвальнях Катерины, донесся ласковый голос Паши: «Жизнь-то у нас одна, Ваня... второй не будет... а я все жду тебя». Он остановился, пораженный простой этой мыслью, звуками родного голоса, и неслышно, смятенным движением губ ответил жене: «Потерпи, душа моя, я еду к тебе... Не сердись, что остался... я и здесь — к тебе лечу, всякий мой шаг — к тебе...»

## 8

*Мы с Костей были того мнения, что ни один сознательный социалист не должен пить водки, и даже курение табаку мы осуждали... В это время мы проповедовали также и нравственность в строгом смысле этого слова. Словом, мы требовали, чтобы социалист был самым примерным человеком во всех отношениях...*

*«Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина»*

Конторщик Фролов положил перед ним лист бумаги с единственной фамилией пожертвователя.

— А вы уже и начали,— Бабушкин заглянул в подписной лист.— И с размахом!

Вверху писарской рукой выведена фамилия золотопромышленника Зотова, проставлена изрядная сумма пожертвования — 300 рублей, а следом клонилась влево корявая подпись. Бабушкин нацелился карандашом проставить впереди фамилии № 1, но Алексей попросил не делать этого:

— Мы с Михаилом фокус придумали: Зотов богат, на него все оглядываются...

— К Зотову вы ходили? — спросил Бабушкин конторщика.

Юноша потерялся. Робея, он поглядывал на необыкновенного, если верить восторгам Алеши Лебедева, человека, из тех, кого в губернском городе встретишь не всякий день. Конторщика обескуражила его молодость и то, что брился он тем же манером, что и старый отец Миши Фролова: после нескольких торопливых, отрывистых движений бритвы прихватывая пальцами кожу, будто проверяя, на месте ли щека; и даже то, что в одежде ссыльного он не нашел никакой романтической небрежности.

— Ему и ходить не надо! — выручил Фролова Алексей.— Его руку сам Зотов от своей не отличит. Распишись, Миша! Можно на этом клочке? — С улыбкой гордости за товарища Алексей смотрел, как вырастал столбец одинаковых подписей.

— Благородный у вас талант,— холодно заметил Бабушкин.

— Меня Зотов и надоумил. Позвал как-то к себе в кабинет, рука у него спьяну трясется, прыгает, а дело не ждет, надо подписывать, чтобы деньги не потерять. Зарычал на меня: смотри и пиши, пробуй. Я тут же и выучился, а он меня за горло: мошенник, мол, как посмел! Потом дал бумаги подписать, целковый подарил и сказал: надо будет — позову, а если без спросу — сгною.

Их план прост: когда на листе запестрят и другие подписи, можно будет обрезать верхнюю строку и явиться к Зотову.

— Чистое дело не делается бесчестным способом.— Бабушкин разорвал поддельный лист.

— А много ли чести клянчить у Зотова?

Прорвалась злоба конторщика к Зотову, прогнала румянец стыда с худого, бледного, в светлом пушке, лица.

— Мы не с протянутой рукой, напротив, мы́ снисходим, оказываем ему не вполне заслуженную честь.— Бабушкин подвинул к себе разлинованный конторский лист и чернилами крупно надписал: «Деньги на вооружение рабочих отрядов».— Думаете, не даст?

— В шею выгонит!

— Я бы с вами об заклад побился, да не признаю закладов, особенно, когда спор заранее выигран.— Он надел свежий крахмальный воротничок и галстук-бабочку, поправил неширокие черные штанины, пущенные поверх голенищ.— Сегодня политика в моде, того и гляди, старый порядок рухнет, как бы не похоронило тебя под развалинами.— Он оглядел напоследок свой рабочий стол в полупустой квартире спившегося почтового чиновника, пропустил вперед юношей, вышел следом на крыльцо и запер дом.— Лучше уж нос по ветру держать. А если верх возьмет жандармский кулак, и это не страшно: надо вовремя в грудь ударить — мол, нечистый попутал, поплакаться, что либеральный клич раздался из Питера, от самых верхов. А если победит революция, тогда кайся не кайся — толку не выйдет: опоздали, господа! Они и торопятся с авансом: деньги дешевле жизни.

Бабушкин снял с его души грех, страхи отступили, и конторщик вдруг огорчился своему неучастию в деле. Пока лист с фальшивой подписью лежал на столе, Фролов и себя причислял к бунтарям — он мстил тому, кого ненавидел. Ему бы хотелось написать не 300, а 3000 и чтобы

вместе с незатруднительными чернильными пулями от Зотова навсегда уходили и **ж и в ы е** деньги, разоряя его.

— С него и начнем; пусть развяжет чужие кошельки, если он так силен.— Захотелось утишить горечь юноши.

— В шею вас выгонит! — повторил конторщик.— Возьмите хоть сани подороже. А я покараулю вас.— Он замедлил шаг и отчужденно, прежде времени отдалился от них.

Сани наняли на углу в трех кварталах от дома Зотова — денег было в обрез.

— Странный житель! — Бабушкин оглянулся на сутулую, неподвижную фигуру.

— У него своя философия: если отнять у промышленников деньги, все, до последнего рубля, то ничего больше и делать не надо. Только раздать их поровну.

Желание узнать город, его сокрытые страсти толкнуло Бабушкина в дома денежных людей. В Иннокентьевской он уже побывал не раз, съездил и в Черемхово на каменноугольные копи, в Усолье на спичечную фабрику Ротова и Минского, встретился с рабочим комитетом на станции Зима, там первыми начали сбор денег на вооружение дружинников. Харбинские поезда обрушивали на город ватаги безоружных, обозленных и тоскующих по России солдат: оружие не достигало Иркутска. Проигранная, кровью остановленная война превратила Харбин в исполинский мертвый арсенал; если бы свершилось чудо и всевышний мановением десницы перенес это оружие из Харбина в Россию, в Петербурге отслужили бы благодарственные молебны. И Кутайсов грезил о преданных полках из Маньчжурии, но и опасался вооруженных солдат, не уверенный, кому послужит их винтовка: ему или революционерам. Оружие обходило город, а рабочей забастовке оно было необходимо, чтобы решительный вид дружин удерживал в узде и отпущенную сахалинскую каторгу, и черную сотню, и юнкеров.

Зотов встретил гостей в засаленном, обтрепанном халате монгольского кроя. Под халатом — фрачные брюки, жилет, слепящая белизной манишка под пружинно-густой русой бородой. Он куда-то собрался с визитом, слоновьи ноги втиснул уже в скрипящие штиблеты, галстук и булавку с кампем держал в руке. Пригласил в кабинет, наблюдая гостей каштановыми, странно сходящимися к переносице, крупными кобыльими глазами. Кабинет в запустении, среди темной мебели — письменный стол красного дерева и ералаш на нем не бумажный — завал охотничьих пыжей, патронов, дроби, какого-то хлама.

— Присаживайтесь.

— Дело — прежде всего, господин Зотов.— Бабушкин подал хозяину подписной лист.

— На оружие для рабочих дружин...— сказал Зотов.— Мне в Иркутске и охранять-то нечего, господин хороший. Мое добро в тайге, во глубине сибирских руд, как изволил сказать поэт. За дом, если что случится, мне «Саламандра» заплатит.

— А вдруг и «Саламандре» конец? — сказал Бабушкин.— И она смертна, может сгореть.

— Зотов! — Он вдруг неуклюже кивнул, представляясь, испытывая уже сидящих гостей.— Платон Егорыч Зотов.

— Богдан Шубенко. А со мной Алексей Лебедев, превосходный иркутский гражданин.

— Не наших вы мест, пришлый. Не ошибаюсь?

— Не пришлый, привозной.— Бабушкин улыбнулся, как бы обещая, что намерен вести разговор пусть и к собственной невыгоде, но напрямик.— Нас, как казенное золотишко, под охраной возят.

Зотов тоже опустился в кресло: все было в нем крупно, но подвижно, быстро, будто он еще и сдерживал себя, чтобы казаться степеннее. Лицо без возраста, некрасиво откинутый назад лоб, тяжелые надбровья, кобыльи равно-

душные глаза и тонкий, с горбинкой и крыластыми ноздрями, нос.

— Не много ли ратников для мирного нашего града? — сказал он. — Куда ни плюнь — солдат. Еще и эти прохвосты — пожарные! Зачем и рабочим оружие?

— Войска транзитные, утром проспетесь, а их след простыл. И полицию после манифеста отменить недолго.

— Эка хватил! — рассмеялся Зотов промашке агитатора и даже подмигнул юноше в голубой далембовой рубахе под триковым пиджаком, хотя, кажется, решил не брать его в расчет. — В Европе счет революциям потеряли, однако же полиция в чести! Полиция любому хозяину к месту. С меня начали, — рассуждал Зотов вслух. — Что же, я лучше или хуже других?

— За вами другие пойдут. И расчетов наших не скрою. Некий мудрец сказал: как хорошо, как покойно находиться на корабле в бурю, когда наперед знаешь, что ты не погибнешь. А тут и выкуп невелик.

— Каков же он?

— Какой сами поло́жите.

За спиной Зотова скрипнула дверь, он вскочил с места испуганно, с растерянностью на грубом лице. Вошла молодая женщина — в пенсне, босая, в глухом черном платье; гордое и нежное продолговатое лицо портил отцовский, с горбинкой, нос.

— Аннушка! — с болью вырвалось у Зотова. — Дочка. Ученая, — объяснил он и обратился к ней ласково: — Нешто тебе на ноги нечего надеть?

— Деньги клянчите? — спросила она у Бабушкина и вынесла из-за спины ко рту зажженную папиросу. — Вы бы ночью, в масках, иначе не даст. В гроб с собой приберет.

— Нешто я тебе жалел? — В печали он готов был позвать в судьи чужих, нелюбезных ему людей. — В Петербурге жила, скольких нахлебников кормила, счет деньгам потеряла, а ее оттуда — вон! Из науки вон, из Питера

тоже! Ей и в Иркутске жить нельзя, это я у генерал-губернатора вымолил, а ее всякий день и отсюда могут — вон!..

— Впрочем, им денег не давайте,— сказала Анна, уходя, будто не услышала сетований отца.— Скучные они люди.

— Унюхали?! — задвигал ноздрями Зотов, приходя запоздало в ярость.— Что, знакомый запах? Сера! Селитра! Бомбы делают! В доме Платона Зотова — бомбы! А чуть что не по ней, стращает: босая в Казанский собор пойду!

— Не пойдет,— сказал Алексей.

— Динамитчик ваш, Кулябко-Корецкий, что ни день — тут, ручки ей целует, собака.— Он заговорил потише, с лукавой откровенностью: — Я к Драгомирову ездил, чинов тайно потребовал. Явились двое — и к ним: чего, мол, в склянках намешиваете? Бомбы, говорят, делаем! А чины-то к двери, шашечки рукой придерживают, чтобы не гремели, будто и от шашечек взрыв может сделаться,— и ходу! — Босоногая Анна не шла из его головы.— Курят ведь! Кругом страсть эта желтая, вонючая, а они курят, судьбу испытывают, того и гляди дом разнесут.

— Разве что подожгут,— успокоил его Бабушкин.— Разнести может готовая бомба.

— И все-то вы знаете! — воскликнул Зотов и ткнул пальцем в подписной лист.— Не на бомбы ли и это?

— Мы убежденные противники террора.

— Вона, сколько вас разных!..— Зотов развел руками, показывая, что бессилен понять не то что их, но и собственную дочь.— Знать бы, что на доброе дело, тогда не жаль.

— Уголовную каторгу на волю отпустили: теперь денежным людям защита нужна.

— Вот это умно! Умно!

Он взял со стола перо, чтобы странный гость не поменял такого благородного предлога, как сахалинская каторга.

— Не лучше ли без имени, под номером? — спросил он небрежно.— Иные с б и р а ю т, а унижаться не хотят; под номером чище выходит, вроде и не барские деньги, а?

С б и р а ю т... Слово навсегда соединилось для Бабушкина с волостью на Ленском тракте, с гордой печалью Катерины, с ее незабытым и по эту пору голосом.

— Мы прятаться не станем,— холодно сказал Бабушкин.— А на ваше имя рассчитываем, я говорил об этом.— Он недовольно потянулся к бумаге.

— Ежели на порядок — грех скупиться! — Зотов быстро написал фамилию, проставил сумму и расписался. Вынул из ящика кредитные билеты, свернул в трубочку и отдал.— И в газете небось пропечатаете!

— Упаси бог! — Нетрудно было догадаться, что Зотов не хотел гласности.

— Люблю с умными людьми дело иметь! — сказал Зотов с облегчением.— Только бы мужика усмирить, медведя таежного. Город всегда неспокойный, это от бога, рабочий люд безземельный, дерзкий, а теперь и мужик глотку рвет: подай ему кабинетские земли, казну — прочь, сотских и десятских — долой, земскую квартиру — упразднить, почтовую гоньбу — отменить. И ему, видишь, хлеб из России вези!..

— Неужели крестьянин и хлеба не заслужил?

— Привези, он и вовсе сеять не станет! Если и ему потакать, тогда конец России: лучше вселенский потоп, чем мне мужика черного в своем дому увидеть.

— С год назад вы и не чаяли, что будете в своем кабинете с каторжником разговаривать: авось и мужика помилуете. Сами-то вы разве не из крестьянского сословия?

— Оттого, может, я мужика всей кровью чую,— угрюмо ответил Зотов.

— И я мужик: не дед, не прадед — я из мужицкого сына в рабочего переделался; где же ваше чутье, господин Зотов?

Зотов смотрел и не верил: рот грубоватый, можно сказать *простой*, особенно нижняя губа — тяжелая, сочная, мужицкая, но на том простота и кончается. Взгляд умный, пронизывающий, превосходящий. «Не мужик! — подумал Зотов, испытывая странную непрочность бытия.— Он из книжного племени, а то и блудный дворянский сын: в молодые годы мужик бы еще не весь вышел из него».

— Смутное время,— глухо сказал Зотов.— Что чужих-то разгадывать, я дочери родной не пойму: моя ли?

Он наклонил голову, багровую от шеи до приметного под поредевшим волосом плоского темени, и завел руки за спину тем же жестом, что и Анна, когда она появилась в кабинете. Так, не подавая руки, он и выпроводил их.

Улица ослепила зимним солнцем, ответным блеском снега, мохнатой белизной карнизов, оград и деревьев. Конторщик поджидал их в переулке; сизое от стужи лицо пряталось в суконном воротнике пальто. Он пристроился к ним молча, уязвленный, что дело обошлось без него, его страсть разграбления Зотова и сомнительный дар руки не понадобились. Похвалу Бабушкина, что Миша *преотлично* знает хозяина, принял хмуро, и Бабушкин показал ему подписной лист.

— И деньги отдал?

— Показал бы, да боюсь — ограбят. Теперь и нам охрана нужна, давайте с нами, Фролов.

Ссыльный затруднил его; отправься он в богатые дома, и где-нибудь его непременно узнают, скажут Зотову, распишут такое, чего и не было: что он при револьвере и разбойник из разбойников. И Зотов оставит его без хлеба, а ему нельзя — с недужной грудью, с домашней нуждой.

— Видите ли... мне так сразу трудно,— начал он, деревянно двигая окоченевшими губами.— Я и одет-то... Мне бежать надо... Зимой, случается, даже дышать трудно...

Он говорил правду, но ронял себя и видел, что роняет перед чужим человеком, который не то еще испытал в ссылке.

— А трудно; так и не надо с нами, мы подождем, когда и ваше время подойдет.

— Времена наши, может быть, и сошлись, не сошлись пути.— Злясь на себя, на свою уклончивость, юноша заговорил тверже.— Ведь и в революции не один путь, а если бы один, то это была бы ложь...— Они остановились против каменного дома с гранитным серым крыльцом, говорили, не опасаясь чужих ушей, и молодые жители Иркутска принимали это как должное.— Мне жить не долго, быть может, три или четыре года. Есть и такие, кто, умирая, готов похоронить вместе с собой мир, пусть все идет прахом! И я прошел через это, прошел, миновало,— говорил он торопливо, прогоняя себя вперед от той горькой поры.— А теперь я не хочу крови, ничьей. Я и о том спокойно думаю, что отец, изверг, загнавший всю семью, переживет меня.

— Значит, с любым злом помириться? — осторожно спросил Бабушкин: перед ним была истерзанная, усталая душа.— Тогда наши пути и не могут сойтись.

— Я против того, чтобы кровью доказывать правоту мысли.

— Кровью врага или своей кровью?

— Все равно! — воскликнул Фролов.— Знаю, что жертвовать своей — благородно, но как редко это случается без пролития чужой.— Он тщетно прятал волнение, унимал дрожь, вызванную стужей и непредвиденной исповедью.— Революция только путь к свободе и справедливости, а достичь их вполне можно, только изменив людей.

Бабушкин начинал понимать, чем держится дружба двух иркутских юношей, столь несхожих на первый взгляд.

— Вы говорите: изменить людей. А ведь для этого нужны условия, чтобы из человека ушел раб. Революция

и создаст эти условия. Вы любой крови боитесь, а затеяли сбор денег на оружие!

— Если бы мы нашли способ отнять у богачей всё или уничтожить деньги, их власть рухнула бы сама собой!..— Его иллюзии отчасти питал провинциальный Иркутск, ложное убеждение, что если в назначенный срок нечем будет заплатить жалованье приисковому рабочему и телеграфисту, околоточному надзирателю и чиновнику, то власть расстроится и рухнет.

— Жаль, вам нельзя потерять место.— Бабушкин протянул ему руку, потеряв интерес к странному соединению евангельской кротости с деспотизмом экономических реквизиций.— А то пришли бы к Зотову, попробовали бы напугать его своими планами. Нет! Эти господа весьма опытны и умны по части сохранения капиталов. А кровь наша для них пустяк: этим они тоже сильны.

В следующую дверь постучали попутно, к купцу первой гильдии, а с недавней поры и владельцу салотопни. Хозяин подивился щедрости Зотова, старался отгадать, зачем бестия Зотов о т к р ы л список, вопреки обыкновению затесаться где-то посреди пожертвователей. «Может, он фальшивые векселя с рук сбыл?» — сомневалась жена купца. «Наличностью!» — Алексей показал три сотенные. «Время подошло патенты на будущий год выбирать,— засуетилась купчиха,— его до рождества взять надо, а что, как зря? Что, как без него торговать разрешат?» Бабушкин не сразу нашелся, что ответить. «Патент денег стоит, и, надо полагать, немалых».— «Не говори! Задушила купца власть. В убыток торгуем...» — «Значит, и вы за революцию?» Она осенила себя крестом, повернув лицо к сумеречному углу, где под иконами теплилась лампада: «Куды клиент, туды и мы! Купец не сеет, не жнет, а хлебушек от него, ни от кого другого.— Тревога не шла из ее сердца.— Без патента тоже боязно, купцу нельзя без патента... Мы ж не нехристи, не контрабандой живем...»

Пришел черед и Казанцева. В его типографии Алексей начинал мальчиком на побегушках, мечтая когда-нибудь встать у наборной кассы. Здесь он подружился — истово и тайно — с дочерью Казанцева Ольгой и был изгнан из типографии, а Ольгу отправили в Петербург к тетушке. Короткое время они писали друг другу, потом писем от нее не стало, и Алексей не знал, прискучил он Ольге или их переписку пресек дядя Ольги по матери, чиновник губернской почтовой конторы. Казанцев постарел, неутомимая, красивая и в зрелые годы, супруга умерла, Макушев, Окунев и Лейбович, основавшие типографии после Казанцева, потеснили его, но главный ущерб принесла ему губернская типография — из Германии привезли печатные машины и гравировальные станки, выгодные заказы ушли в губернскую типографию и в «Восточное обозрение». На старике обвисла потертая тройка, щеки запали, лицо сделалось костистым, но не тяжелым, а странно легким, с постоянно жующими челюстями.

«Ишь размахнулись,— сказал он, вглядевшись в подписной лист.— Пришла охота с огнем поиграть. А я — пас! Не станешь же писать три целковых рядом с этакими дарами.— Он равнодушно смотрел, как Алексей спрятал лист в папку, не показал, с самого прихода, что узнал наборщика, своего ученика.— Нынче я беден, беден,— бормотал он,— скоро и на приданое дочери не соберу.— Остановил их у двери:— Молчанием казните? Не верите?» «Отчего же, вас рекомендовали как человека честного». «Денежная моя касса пуста, а наборные — нет,— ободрился Казанцев.— В них достанет шрифта для доброго дела. Я напечатаю всякую вашу строку, если там не будет требования крови, напечатаю бесплатно, ради истины. Всякое гражданское слово — напечатаю! Вы об оружии печетесь, а народу просвещение надобно: злоба застит глаза, и рука ищет снаряд разрушения».— «Как же просветить народ, не изменив его жизни?» — «Русский человек и в

крайних обстоятельствах, в нужде, к свету тянется!» — «А их по рукам! Да так, что обрубки остаются. Двух веков недостанет, чтобы в этих ваших крайних обстоятельствах просветиться народу». Кончить бы бесплодный разговор, но что-то в старике останавливало; затронулось то, о чем думалось постоянно, от юношеских лет в Петербурге. Книга! Не она ли, рядом с жизнью, с этим горнилом истины, превратила и его самого в человека? «Ну вот вы человек совестливый, у вас в руках шрифты, печатные машины, много ли вы сделали, чтобы помочь просвещению народа?» — «Да что же я мог малыми своими средствами!» — «Дать «Овода», например: главами, тетрадями, или Некрасова, несколько стихотворений, так, чтобы из памяти не шли».— «Губернская книга — утопия: не окупится, власти пресекут, найдут параграф».— «А пробовали? То-то же: эта книга больших барышей не сулила, оттого и не пробовали! А что власти пресекут, верно: и надо поменять власть, чтоб не мешала просвещению народа,— сами вы и подвели к этому».

Хозяин тронулся за ними, шаркая сапогами по полу, будто они так велики, что могут свалиться.

Алексей, храбрясь, с колотящимся сердцем, спросил: «Пожалуйста, скажите мне, как живет Ольга Ивановна?» Старик насупился, будто вспоминал и не мог вспомнить: о ком это молодой человек? «Ваша дочь?! Которую вы без приданого боитесь оставить!..» — «О приданом — к слову... привычка-с. Родишь дочь и мечтаешь, что она внуков к одру твоему приведет. Не выпало счастья, молодой человек». «Она жива? — Злость и испуг охватили Лебедева, все отгоревшее снова обрело в нем силу.— Она в Петербурге?» «Ее поглотил Петербург. Я и крика не услышал — далеко-с!..— сказал он со значением.— Эполеты-с да пуговицы мундирные дороже отцовских седин сделались.— И закончил устало: — Говорят, в гарнизонах подвизается, ко мне не пишет и денег не просит... Вы знали

се?» Не болезнь ли это, не начинающееся ли безумие? Но узнать человека, которого ты и подвел к мастеру-наборщику в ученики!

Зимний день уходил, снежное раздолье погасилось сумерками, на торговых улицах зажигались фонари. Странный день! Ночью он вернулся из Усолья, короткий сон и несколько часов за столом — Бабушкин писал письма в Читу и в Красноярск, обращение к солдатам гарнизона от рабочего стачечного комитета. А потом — к чугунным решеткам особняков, к тяжелым дубовым дверям, на паркеты и ковры, в мир враждебный, настороженный, уклончивый и потрясенный. Можно ли представить себе в этакой роли Баумана? Или Григория Петровского из Екатеринослава? Или порывистого Горовица? Даже Бабушкина, недавнего жителя Охты, Смоленска или Орехова? А нынче и это возможно, жизнь отворила замкнутые двери, и в этом хождении — веселящая сердце дерзость.

Они распрощались. Бабушкина ждали в Ремесленной слободе за Ушаковкой. Но не успел он еще отойти мыслями от опечаленных глаз Алексея, как навстречу из дверей парикмахерского заведения, невольно преграждая ему дорогу, шагнул доктор Мандельберг. В расхристанной шубе, пахнущий одеколоном, выбритый и помолодевший, в шапке, брошенной на голову небрежно, набекрень, безотчетно добрый, он рокотнул добродушно: «Прости, милейший»,— и тут же узнал, заговорил обрадованно:

— Поверите, сижу в кресле и думаю о вас. Пока мне скоблят щеки, пока режут самсоновы кудри, думаю о вас, о превратностях судьбы. Вы — прямо? — спросил он и, не дожидаясь ответа, предложил: — Провожу вас, остыну после экзекуции. Люблю морозец, и как не любить, в лисьей-то шубе!

И в этом был его ум: забежать вперед, сказать со снисходительным смешком в свой, не в чужой адрес.

— Чем же я так ваш ум занял? — спросил Бабушкин.

— Всем: судьбой, непривычной для нас энергией.

— Для кого это «для нас»?

— Для захолустья нашего.— Он приостановился, посмотрел в холодные глаза спутника: — Я, разумеется, вития, но выслушайте терпеливо. Вы в Слободку? — Бабушкин кивнул.— Я не льщу вам. Все, что сказал о провинции,— верно, ведь и нетерпеливцы наши — Попов, Баранский — отчего сбежали? От купеческого, салотопного Иркутска.— Он не сводил глаз с Бабушкина, заметил резкий, несогласный наклон головы.— Если и не сбежали, если приказ партии,— произнес он с оттенком решительного несогласия с правом кого бы то ни было распоряжаться чужой судьбой,— уезжали-то они с легкой душой. И вы уедете!

— Напротив — остался. По собственной воле, а если угодно, по приказу партии. И те, кого вы назвали, не оставили бы нынче Иркутска: с вами они расстались без сожаления, бесплодные дискуссии изнуряют.

— Откуда эта гордыня! Что вы знаете о нас?

— Вы уверены, что понимаете меня, отчего бы и мне не уразуметь вас? Мои товарищи в городе знают вас отлично.

— А понимают ли? — с оскорбленным чувством спросил Мандельберг.— Могут ли понять истинность моей революции!

— Я думаю, понимают. У нас будут деньги на оружие, мне сказали, в комитете есть адреса, где его можно купить.

— Проще купить его в Харбине, ближе. Там все сгнило, за хорошие деньги его продаст и генерал Надаров.

— Без драки он не отдаст ни одной винтовки.

— Как они ничтожны! Если бы вы знали, как они ничтожны! — Он страдал от невозможности передать собеседнику свое пророческое предвидение.— На брюхе будут

они ползать перед демократической Россией. Я вижу выброшенное на свалку оружие...

— А пропасти не видите? Бездонной пропасти между барской мечтой и жизнью? Надаровы сбросят в нее десятки тысяч людей, если мы останемся безоружны.

— Я не барин, я — революционер! — Он ощутил ярость ветра и запахнул полы шубы.— Я отдаю революции все без остатка.

— Бывает и барская революционность,— непреклонно сказал Бабушкин.— Можно захлебнуться и праведными словами.

Дома поредели, справа, от особняка вице-губернатора Мишина, отъехали сани, помчались быстро и остановились, в снег, в белое вихренье поземки выпрыгнули двое, смеясь, играя, перекидываясь снежками.

— Барин! Это из лексикона дворников. Революционер не станет попрекать товарища барством оттого, что тот не пролетарий, а, скажем, врач или адвокат. Мне говорили, вы в эмиграции были.

— Ездил. Туда и обратно.

— Там одни пролетарии — среди верхушки партии?

— И там есть баре, чего греха таить.

— Как же вы их отличали: по запаху или на ощупь?

— Отвечу: кто считает себя умом революции, а рабочих слепцами, орудием,— баре. И те, кто не понимает необходимости профессиональных революционеров, тоже баре-любители, и если дело идет к восстанию, они опасны.

— Напротив! — прервал его, негодуя, Мандельберг.— Они набат и предупреждение, спасение от авантюры.

Пятясь от смеющейся женщины, высоко державшей снежок, мужчина в папахе и шинели обернулся на их голоса. Раскраспевшийся, не успев прогнать из глаз веселой игры, человек замер, вдруг обозленный, будто пойманный на глупой шалости. Испуганно примолкла женщина и спрятала руки в муфту, осекся Мандельберг, точно устра-

шась, что жандармский подполковник мог услышать его; и Бабушкину не удалось скрыть замешательства.

Слишком хорошо знали они друг друга, чтобы обознаться. Долго сиживали друг против друга в казенном кабинете; тогда еще жандармский ротмистр Кременецкий и подследственный Бабушкин. Еще до очной встречи ротмистр подолгу сличал фотографии и жандармские описания — в одних глаза Бабушкина названы голубыми, в других — серыми, одни находили его рост невысоким, другие — средним, одни утверждали, что волосы он зачесывает назад, другие — что на косой пробор,— а взглянул на него живого и понял, что разноголосица эта возможна. Опознал его по фотографии из Владимира, и как не опознать, если видел это лицо и во сне, охотился, подходил близко, казалось, руку протяни — и он твой, а упустил, бездарно упустил когда-то из-под надзора, не оценив, не успев вглядеться, дал птице улететь в просторы России, и первым в январе 1900 года разослал по губерниям фотографию беглеца. Ждал и не ждал, доставал из стола фотографию и вглядывался запоздало, и знал каждую черточку, и лицо оживало, веки то припухали и краснели больше, то опадали, и ротмистра охватывало злобное опасение, что исчезла главная особая примета. Два года ждал, пока слякотным и серым февральским деньком 1902 года, под конец месяца, встретил подконвойного Бабушкина на Екатеринославском вокзале. Впился в глаза: какие они — голубые, серые? Показались серыми, но когда в следственный кабинет заглянуло солнце — сделались голубыми, и так всякий день, до самой проклятой ночи побега Бабушкина из камеры 4-го полицейского участка. И ротмистр снова погнал это лицо по губерниям в надежде, что однажды придет счастливое известие и арестантский вагон возвратит его жертву. Ротмистр служил хорошо, не все арестанты убегали от него; он был переведен в Петербург, и там узнал, что его исконный враг выдворен в Верхоянск. Пожалел, что

обошлось без его руки, но радость, что дело кончено и можно сбросить карточки в архив, изгнать из памяти, была велика.

Изгнать не удалось, мигом ожила злоба, приметил памятливо и спутника Бабушкина из этих прижившихся в Сибири.

Не оборачиваясь, они услышали приглушенные голоса, стук сапог, сбивающих снег, удар кнута по крупу лошади и быстрый, удаляющийся скрип полозьев.

— Кажется, офицер узнал вас,— сказал Мандельберг.

— В Екатеринославе он был жандармским ротмистром; тому уже больше трех лет. Надобно много подлости сделать, чтобы в три года — из ротмистра в подполковники. Это Кременецкий.

— Да он же к нам из Петербурга,— серьезно встревожился Мандельберг.— Он теперь начальник губернского жандармского управления, в генеральской должности.

— Этот не поверит в сказку о безоружной революции в России. Прощайте!

Мандельберг вздохнул: жаль, разговор с глазу на глаз лучше, публичность и его толкает к крайностям, к фразе, а как хорошо поговорить по душам, подойти к предмету с разных сторон, доказать, что кровь должна лечь на палачей, а вожди демократии обязаны быть чисты. В безоружную толпу не стреляют; если в Петербурге и открыли огонь, то по наущению, недозволенный, абсурдный огонь, и вот результат: обновляющаяся страна, манифест, первые свободы. И не надо вызывать духов из тьмы: долой оружие, да здравствует революция!

## 9

Сын советника губернской казенной палаты, по матери племянник генерала, Коршунов полагал себя и верноподданным и гражданином России. Верность престолу он

разумел как чувство первобытное, доставшееся ему с первыми голосами над колыбелью и поясным портретом бородатого мужчины с жестокими и печальными очами. Портрет в простенке трижды поменялся за жизнь Коршунова, вернее, дважды, первый выплыл из туманов младенчества, он существовал как бы изначально. Два портрета ушли в черном крепе, под пьяные слезы отца и проклятия тем, кто посягнул на кровь помазанника божьего. Когда меж бархатных портьер появился третий портрет, Коршунов служил штабс-капитаном, презирал отца, а в царствующем монархе видел то, о чем не принято было говорить вслух: мягкость и бесхарактерность, печаль и жертвенность. Никогда не видевший *живого* монарха, Коршунов сделался его непрошеным опекуном и сострадальцем, вместе с ним горевал по жертвам Ходынки, негодовал на императорский дом Японии, честил петербургскую толпу, *вынудившую* январские пули — новое страдание государя.

Родился Коршунов в Екатеринбурге, служил в Западной Сибири, близко к Оби, радуясь всякой новой рельсе, грудам шпал, железным и бревенчатым мостам, деревянному, на каменном основании, зданию станции Обь. Суровый человек, не заплакавший на похоронах своего первенца, Коршунов подавил умильные слезы, когда локомотив приволок в Ново-Николаевский поселок храм на колесах, блиставший синим лаком наружных стен, крохотной, осененной крестом звонницей с тремя колоколами над входным торцом вагона. Подвижная церковь назначена была для новых мест, где не было каменных храмов, а только черные таежные гнезда раскола, проказа иноверчества, каменные капища остяков, еще трепещущих своего бога — Турму.

Отдаленность Сибири, необходимость строить, подвигаться на Восток, споспешествовать прогрессу — все это питало в Коршунове гражданина. Он верил в будущее Но-

во-Николаевского поселка на берегу Оби и полагал, что если быстрота и дешевизна езды на чугунке почти задушили пассажирские перевозки от Тюмени до Томска по Иртышу, по Туре и Оби, то потеря эта многократно возместится оживлением таких важных торговых пристаней, как Бийск, Барнаул, Сургут, Березов и Обдорск. Он близко сошелся с умным инженером Кнорре, с ним обсуждал будущее Сибири; домогался назначения в действующую армию, когда эшелоны чередою потянулись через Ново-Николаевск к Харбину, оглашая победными воплями кабинетскую тайгу — неоглядные, принадлежащие кабинету его императорского величества земли. Коршунова направили в Маньчжурию с сибирским пехотным полком, и там, хранимый богом, государем и судьбой, не получив и царапины, чудом избежав плена, Коршунов быстро двигался по службе. К концу проигранной войны он служил при генерале Надарове и более всего ненавидел нижних чинов, приписывая поражение их нежеланию воевать. В Харбин он покатил по рано подсохшей, с обещанием жестокой засухи, земле 1904 года и на каждой версте находил следы преступной нераспорядительности: ржавеющие в придорожных болотцах рельсы, кипы подгнивающих шпал, гарп, варварские порубки, брошенное навсегда мостовое железо. Но он ехал по молодой дороге и молодости ради многое прощал. За Иркутском на станции Байкал эшелон погрузили на ледокольный паром — короткой июньской ночью они переправились на рельсовые пути Мысовой. В тиши лунной ночи, в добрых всплесках байкальской волны, в благополучных перемещениях с рельсов на рельсы Коршунов видел добрый знак. А полтора года спустя он во главе эшелона георгиевских кавалеров ехал обратно по каменистому, вырванному у скалистых гор карнизу, ныряя в тоннели, огибая южную оконечность Байкала. Враждебное, уступленное забастовщикам Забайкалье, иркутское ничтожество Кутайсова, жидовский базар — этими

словами Коршунов определил для себя всякий митинг оппозиционно мыслящих людей,— на площадях и улицах города взывали к силе и мести Коршунова. Снаряжая его из Харбина, Надаров объявил ему о повышении, одарил новым мундиром, папахой и погонами. Много истязующей новизны вломилось в жизнь Коршунова, впрыгнуло на грубых тяжелых ногах, оставляя отпечатки каблуков: повальное шулерство, и не за зеленым карточным столом; бездарные сражения; ненавидящий взгляд солдата, а более всего октябрьский манифест государя. С того несчастного дня, когда Коршунов в Харбине читал текст манифеста с телеграфной ленты, он оскорбился чудовищной уступкой, малодушием и отныне пожалел государя презрительной жалостью, без ореола. В Харбине катастрофа казалась Коршунову полной, всякое слово манифеста принималось им в прямом значении. И какое освобождение вступило в его душу, когда, выехав из Харбина, он убедился, что дело не проиграно, что малодушные строки манифеста сиротствуют на лежалых номерах газет, на обрывках бумаги, приклеенной к заборам и афишным тумбам!

Коршунов не лгал, когда сказал иркутскому полицмейстеру, что не прольет случайной крови — не в Сибири решится его карьера, не в попутной тайге, а в столице. Коршунов предупрежден: станция Зима в руках комитетчиков, то же и в Черемхове и во многих местах на пути к Красноярску, и всякий день может принести изменения к худшему. Отцепить теплушку? Солгать, что ссыльные сами задержались на одной из станций? На сибирской однопутке не пройдет и часа, как какой-нибудь машинист споткнется об одиноко стоящую вымершую теплушку. Опрокинуть ее в снег? Теплушку снег не спрячет: много инженерных грехов укрыл он, а вагона не укроет. А откройся расправа, и завопит голодраная, вшивая Россия, тогда, пожалуй, и начальство пожертвует им; примет его солдат, унтеров и офицеров, а его — в грязь...

И Коршунов решил — теплушка послужит ему прогонной бумагой, даст привилегии в быстром движении к Омску. Старался не думать о ссыльных, а думалось все чаще и надсаднее. Сердито гремел дверью купе перед носом поручика-адъютанта, разыскавшего Коршунова в Харбине,— он оказался дальним родственником Линевича и попал в эшелон, хотя был не герой, а трус недавней войны. Коршунов заставлял себя думать о будущем, об Омске, о родном Екатеринбурге и России, но мысль поворачивала вспять, в постылый, всем торгующий и все продающий Харбин, и в хвост поезда, в теплушку ссыльных, увенчанную железной дымящей трубой. Адъютант, Владимир Симбирцев, обиженно горбился в коридоре, у окна, его мысли и желание были тоже в теплушке, с единственной во всем эшелоне женщиной. Он разглядел ее: она представлялась ему жертвой, женщиной приличного круга, совращенной обманом или силой. Коршунов не держал ее в памяти, женщины случались ему, но никакой роли в его жизни не играли — брал он их редко, по нужде, как берут обед или в урочный час баню. На станциях выходил непременно и убеждался, что ссыльных ждут,— быстро прибивались к теплушке мастеровые, телеграфисты в казенных тужурках под тулупами, путейцы, несли ссыльным еду, но разве в кошелке или в узле не может лежать и револьвер? Коршунов все высматривал русого сероглазого смутьяна в лисьем треухе, а поручик поглядывал на ссыльную, на черный пушок над губой, которым — по эротическому каталогу офицеров — господь метит натуры страстные. «Она женщина... не баба, не подстилка, не лахудра»,— говорил он, волнуясь, Коршунову. «Думается, вам подстилка и нужна, поручик».— «Я подойду и заговорю по-французски, она ответит, увидите, ответит...» Он рванулся в хвост эшелона, но скоро остановился в нерешительности. «Ну-с, струсили? Дрянной же вы любовник. Вы бы подошли, с вашим-то французским...» — «Вы полагаете, Сергей

Илларионович?» «Да, в рожу вам плюнет,— смачно сказал Коршунов.— Твари эти, из благородных, самые бешеные; они или сами стреляют в царей, или спят накануне с тем, кто бросит бомбу. Вы для нее хлюпик, молокосос...» — издевался Коршунов.

Теплушка не митинговала в пути: радость, торжество прорывались во взлетевшей вверх шапке, в смехе, в порывистом объятии. В скотском ящике из кирпично-красной вагонки было больше жизни, чем в девяти заиндевелых классных вагонах. Сибирь встречала не его, а изнуренных, со следами цинги, заросших в ссыльных берлогах преступников; на станциях, где паровоз не брал воду, эшелон протягивали вперед и против вокзала оказывался не коршуновский вагон, а теплушка ссыльных. Случилось и худшее — к ссыльным потянулись солдаты, шли, не оглядываясь на офицеров, толковали о чем-то, пересмеивались, угощали друг друга табаком, будто роднились с каторгой скорым дорожным родством. Трое солдат забрались и в теплушку. Станция стояла на закруглении пути, Коршунов приметил, как замешкавшихся солдат подняли наверх. Долгие часы провели они с ссыльными у чугунной печки, и для Коршунова солдаты эти были мертвы, будто побывали в холерном бараке или среди чумных.

Мертвы, мертвы, а убить их он не мог: только запомнить мог, пометить в памяти черным мстительным крестом. В этой сдержанности Коршунова открывалось бессилие, оно вопило, сливаясь с истошным криком паровоза, оно пестовало злобу, как волчонка в логове. Он поддался злобе, приказал закрывать перед станциями вагоны — и тут же окриком остановил поручика, отменил приказ: солдат, может, и стерпит, отогреет проталину в оконном мху, чтобы глазеть на Сибирь. А стерпит ли Сибирь? Стерпят ли телеграфисты? Вот кого возненавидел Коршунов неутолимой ненавистью. Люди в казенном платье, с двумя рядами латунных пуговиц, допущенные к аппаратам, грамотные,



а частью и образованные люди — предавшиеся черни и разврату ума. А ведь не инородцы, хотя есть и поляки, тонкой кости, с тонкими же, будто благородными лицами, и вовсе изредка — полубуряты, полутунгусы, Сибирь многое перемолола, перемешала, но и большинство своих, русских. Если эшелон запечатать наглухо, кто поверит, что едут демобилизованные: наружу выйдет вражда. Как объяснить солдата, отгороженного замком от сибирской дороги?

Запереть солдата нельзя. Пришла нужда, а нельзя. Страшно. А страха своего Коршунов никому не прощал: теплушка ссыльных превратилась в проклятье и казнь.

Довершил ненависть Красноярск.

Подъехали вечером к пассажирскому зданию, двойнику иркутского вокзала. Но все не похоже на Иркутск, ярко освещен вокзал, деловито светились окна паровозного депо, кузницы и главных мастерских. В поднявшейся метели перекликались три или четыре паровоза, маневрируя, сцепляя вагоны, выбрасывая в небо искры, высвечивая белую подвижную пелену. На Коршунова пахнуло прежним деятельным, промышленным и торговым азартом; пригрезился порядок, свободный ото льда Енисей, ярмарочно-голосистая пристань, возмечталось вдруг, что с забастовкой покончено и встретят его здесь старые мундиры, чистые, возвратившиеся на посты инженеры.

Чуда не случилось. Именно в Красноярске возник первый митинг, ссыльных пригласили в зал, к теплу печей и братских объятий, а теплушку сторожили вооруженные рабочие, в нее погрузили две плетеные укладки хлеба и еще что-то из съестного. Коршунов не просил о долгой остановке: пускаться к ночи в город, на поиски губернского начальства неразумно — с него хватит, он нагляделся в бегающие глаза Кутайсова. Но впервые случилось и другое: рабочая дружина двинулась по вагонам, а Коршунов сле-

довал за ними, не смея запретить непрошеной инспекции. Шел, глядя в их спины, в нестриженые затылки, терпел их болтовню с солдатами, шел, радуясь предусмотрительности офицеров, которые старались стушеваться, не мозолить глаз. С ним обращались без почтения — он терпел. Много спрашивали — он отвечал. «Почему одни георгиевские кавалеры?» — «Таков приказ. Должны же быть вознаграждены солдаты, храбро сражавшиеся за Россию». Хотелось крикнуть: за престол! за отечество! — но не решился, и сделалось вдруг душно, тяжело сердцу. «Почему при оружии?» «Таков приказ.— И от себя: — Эшелон на эшелон не приходится, грузятся в Харбине быстро. Тут больше именное оружие, дареное». «А офицеров, зачем так много?» Ответил с достоинством: «И у офицера есть сердце и тоска по родному дому... по родине». Они вполне ощутили взаимную неприязнь; искра могла вызвать взрыв. Но в вагон вбежал телеграфист без шинели и крикнул низкорослому комитетчику, который допрашивал Коршунова, обращая к нему широкое лицо с разлетистыми глазами: «Григорий, тебя Моисей к телефону. Моисей!» — повторил он, будто уже одно это имя должно все решить. Комитетчик смотрел на Коршунова, думал свое, не без сомнений. «Поезжайте,— сказал он хмуро.— За то, что ссыльных везете, вам семь грехов простится». «На нас их семижды семь»,— усмехнулся Коршунов; дерзко-шутливый ответ лучше угрюмого молчания.

Так и отъехали: свет станционных фонарей побежал по вагонам, лицо Коршунова окаменело в толкающей на безрассудство тоске. Прилег, накрывшись шинелью, чтобы унять озноб. Как ни жмурил глаза, тьма не приходила, что-то высвечивало внутри глаз, то серым пятном, то светлея, оборачиваясь скуластой мордой комитетчика: его глаза расставлены так широко, что Коршунову не охватить их одним взглядом, надо брать порознь; чей-то голос в самое ухо кричит имя: «Моисей! Моисей!» Коршунов хочет

уклониться, податься назад, но мешает перегородка купе. Он задремал, и вскоре привиделось ему нечто из прошлого, страшное и освобождающее.

...Ночная тайга обступила дом кабинетского лесничего, он могучего сложения, свирепый с виду, а генерал, брат матери Коршунова, зовет его небрежно — Проша. Сквозь двойные рамы окон и кондовые кряжи, через три двери, пригнанные так, что сквозняком не шевельнет и паутины, слышно, как стужа рвет изнутри деревья, где задержались живые соки. Луна в эту ночь спорит с морозом: холодным режущим светом, беспощадной ясностью, которая перебивает даже и свет городской висячей лампы, превращает окна в голубоватые с прозеленью глыбы льда.

Гимназисту Сереже Коршунову блаженно на печи, он открыл ступни, отбросил дошку и слушает голоса мужчин за столом. Они обсуждают завтрашнюю охоту на объявившегося в округе шатуна, оголодавшего, угодившего под свирепый мороз. Гимназист уже знает, что его дядя — не второй человек после царя, что он глуп, несносен, хвастлив, что Прошка из почтительности старается говорить тише, но дело говорит он, Прошка, и все будет так, как советует он, но, вернувшись в город, генерал припишет удачливую охоту себе, а неудачу — Прошке, и еще потребует, чтобы Сергей подтвердил. Оттого-то он слушает и не слышит, лежит на тощем животе лицом к окнам, смотрит поверх занавесок на голубой снег, слушает голоса хозяйских лаек, неспокойных от частого в эту пору волчьего воя, от близости генеральской, запертой в сарае, своры. Дом велик, в нем на всех достанет перин и одеял, льняных простынь, подового хлеба — в полпуда буханка, — мяса, вяленой рыбы, всякого моченого и сушеного лесного дива.

Внезапно голоса лаек поменялись, в них открылась злоба и азарт. Из тайги, из ее темнеющего обруба вышел

человек и стоит на снегу, залитый луной, странно легкий, в малахае, в осенней одежонке,— высокий волосатый человек. Ему не двинуться в полукольце осатаневших собак. Прохор кинулся из горницы и стукнул тремя дверьми, рядом с ним вышедший из тайги человек казался призраком. Прохор пинал ногами псов, человек стоял недвижно, будто связанный лунной пряжей. «Беглый»,— объявил Прохор, возвратясь в горницу. В тоне его был и вопрос: чего бы хотели господа? Для него это не внове, но нынче в доме генерал, пусть решает. Подошли к окнам: генерал в накинутом на плечи мундире, два его спутника в егерских фуфайках. «Под замок, что ли?» — спросил Прохор. «Каторга или ссыльный?» — «Видать, каторга: разговор у него простой». Псы остервенились, будто почуяли на себе взгляды людей и захотелось служить еще лучше. «У них нынче разговор простой, а встретится один на один — зарежет». Вернулись к столу. Дядя сказал: «Пусть идет с богом. Мы не жандармы, да и рождество на носу.— Прохор повернулся к двери, хотя и одолевало его недоумение: не так ему велено поступать с беглыми.— Только вот что, голубчик,— генерал остановил лесничего уже на выходе.— Ты его облегчи, чтоб ему бежать сноровистее было: что там на нем надето?» — «Поддевка овчинная... как решето... вся в дырах»,— тайно просил за беглого Прохор. «Сними! А малахая не трогай: пусть идет с богом». «Куды ее вшивую,— переминался у двери Проша: он готов взять, запереть беглеца, доставить к исправнику, а эта казнь не по нем.— Ей и места не придумаешь». «Сними! — сердился генерал.— Псам на подстилку».

Один Сергей и видел, как вернулся к беглому Прохор, сдернул, будто с портновского манекена поддевку и, озлясь, ударил бродягу, толкнул и прогнал.

Медведя не взяли и следа не нашли, а в двух верстах от усадьбы лесничего обнаружился труп беглого. Каменно-меловое лицо серебрилось изморозью, льдисто сверка-

ли карие глаза, худой рот в оскале, а в нем мало зубов и цинготные десны, уврачеванные смертью. Гимназист, первым наткнувшийся на тело, закричал, забился в истерике, и глаза беглого, глаза без выражения, долго еще мучили его.

А сейчас гипсовое лицо пришло из прошлого как освобождение, дремотное сознание просветлилось отрадными словами — облегчи... чтоб бежать споровистее... сними...

Не за горами рождество, вокруг Коршунова тайга от монголов до Ледовитого океана — тайга, которой у него не отнимут комитетчики, он знает теперь, что делать.

Сними... Облегчи... Пусть идет с богом.

И енисейский мороз тоже его, не их: пусть идут с богом! Коршунов вскочил, начал действовать быстро и уверенно, будто долгие часы обдумывал все подробности своей первой, после Маньчжурии, военной операции.

## 10

*На этом же собрании был поднят вопрос о посылке венка на могилу Энгельса, который только что умер в это время. Часть стояла за посылку, но большинство было против... Лучше мы поступим, если в память Энгельса устроим что-либо другое; увлекаться венками нам не следует. Это умер не какой-либо барон или князь, которому необходим венок...*

*«Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина»*

Чудо и благоволение судьбы,— к исходу вторых суток миновали Красноярск,— она помогала им наверстывать потерянные годы, стирать из памяти кандальное, воловье

движение к Якутску, Верхоянску, Олекминску, Акатую. Похожее ощущение полета возникло у Маши и после улуса, где похоронили Андрея, но то движение связалось в ней с Бабушкиным, с его энергией, и казалось странным, что его нет с ними в теплушке и он не слышит, как колеса отсчитывают раздвинутые стужей стыки рельсов, как через эшелон трубно окликает их паровозный машинист. Как мог он жестоко наказать себя, лишить себя России, родины, близких, ради встречных людей и чужого края?! В первые часы после Иркутска недоумение Маши было остро, близко к обиде, она стыдилась внезапного глупого сиротства, открывшейся вдруг необходимости в чужом, не слишком любезном человеке. Стыдилась и зпала: чем-то она выдает себя, по крайней мере старику, белому барину, и нет зеркала, нет ведра воды,— они набивали котел и чайник снегом,— чтобы подглядеть, что выдает ее: глаза, стиснутые губы, неспокойная жилка на исхудавшей шее, неубранные, упавшие до бровей волосы?..

Старик лежал под приподнятым люком, укрытый всем, что нашлось лишнего; без наружного воздуха он задыхался. Левая рука вытянулась вдоль тела, согрелась под тулупом, боль в сердце приглушилась.

Ссыльные, слетевшиеся из разных мест, перезнакомились в Иркутске, теперь это была говорливая семья, возрожденная свободой и движением к цели. Пели отчаянно громко, чтоб и это взять у судьбы, не откладывая, спеть вчера еще запретное, промчаться тайгой и петь, не опасаясь, слышна ли их песня в соседнем вагоне. Слова «Марсельезы» обретали силу действительности, были не пророчеством — сбывались: Отречемся от дряхлого мира, отряхнем его прах с наших ног. Машу поражало: все знали слова песен, все порывались петь, даже у старика шевелились сухие от постоянной жажды губы.

Лучше других пел Студент, как его называли, пред-

почитая это имя крещенному имени Ипполит, худощавый человек с меняющимся по настроению лицом: то улыбчивый, близорукий гимназист в пенсне, не сбривший первых волос на подбородке, то желчный, брезгливо оттягивающий углы рта, скептик. Схвачен он был в Петербурге, в студенческую пору, в связи с арестом Радченко, но взят не на исходе 1902 года, а летом следующего, 1903 года,— долго держан в следственной тюрьме, судим не скоро, и по малости доказанной вины сослан сравнительно милостиво — под Киренск. Доставили его туда по Лене с последней баржей, а не прошло и года, как он уехал в Иркутск. Пока ждал в Киренске, в доме либерального купца, набросился на газеты, и теперь забавлял товарищей вычитанными из них куплетами.

И бурлит, и негодует,
И бунтует, и бастует
Русская страна,—

пел он чистым, высоким тенором на самодельный мотив.

Но сведу я с нею счеты,
Разошлю-ка пулеметы —
Будет тишина!

И теплушка повторяла грохотно: будет тишина!

В деревнях такая мода:
Голодать от недорода —
Погибает край.
Пусты гумна и ометы;
Надо выслать пулеметы —
Будет урожай!

На второй день пути последний куплет подхватывали все:

Пулеметы не мешают,
Населенье уменьшают,
Ну его совсем,
Только лишние заботы,
Разошлю-ка пулеметы —
И валяй по всем!

Песня непохожа на старые, клятвенные, она приплясывала, подмигивала, похохатывала, тем и отпускала душу, стиснутую ссыльным бездейством, веселила дерзостью, а кто не откликнется веселью в час святого нетерпения! И еще будоражило — ведь напечатано, из столицы, с газетного листа выпорхнуло — разве не к добру! Вчерашний ссыльный, мыслями устремленный к России, брал все перемены, как вдыхают степной воздух после духоты и смрада, как прихватывают родниковую воду спекшимися губами.

Скоро заметили — Студент хотел понравиться Маше, быть как-то выделенным: молодостью ли или немерной, с быстротою гримасы меняющейся физиономией. Так почка, когда приходит час, раскрывает крылья листиков, не зная о том, что тысячи таких же почек на тех же ветвях заняты тем же; она слышит только пробуждающий голос солнца. Сделалось важным, видит ли Маша, что в вагоне — он и что он не просто весел, а с примесью горечи, размышления, что он то добр с другими, то отчужден и, подобно ей, не страшится одиночества?..

Маша попросту не замечала этого, поглощенная другим.

Дорога открывала ей жизнь с неожиданной стороны. В Верхоянске она держалась крохотного кружка, где главенствовал Андрей, была среди тех, чья рука не забыла успокоительной тяжести бомбы, кто намерен своевольно разбудить народ, а Бабушкин — с к р о т а м и, по формуле Андрея, с работниками безнадежного подкопа; они покушались поднять сознание рабочего, создать массовую партию и восстанием народа уничтожить несправедливый порядок. В погребенном под снегом Верхоянске эти планы казались даже не утопией, а карикатурой на нее,— среди полярной ночи и сполохов северного сияния еще можно было помыслить о метательном снаряде, а разглядеть в матерых сугробах рабочую массу мог только маньяк. Но

наступал день, и маньяк всякий раз поражал их деятельностью, актами борьбы. Протест против расправы над «романовцами» объединил ссыльных Верхоянска; отчего же сама мысль о протесте возникла у него, отчего не задумал действовать Андрей, только полыхнули яростно глаза и сухие руки легли накрест на острые плечи, устраняясь в гневе, зарекаясь делать что бы то ни было в этом проклятом мире. А Бабушкин вернулся с охоты в мартовский, еще без признаков весны, Верхоянск, дерзко разбудил ночью якутского, прискакавшего накануне казака, выпытал подробности, ночью же составил бумагу: ссыльные подписывали ее поутру, не успев и одеться. Почему Андрей медлил, скорбел, ораторствовал, а скучный пропагандист — действовал? Случалось, прилежный труд Бабушкина — слесарное ремесло для заработка, рыбалка в холодной стремительной Яне, починка сапог, конопачение лодок — раздражал Машу, будто человек этот вжился, слишком вжился в ссыльный быт, примирился с подневольной жизнью. По самой натуре ей хотелось от сильного человека взрыва, поступка, пусть опрометчивого, того, о котором тут же и пожалеет, но поступка. А Бабушкин оставался с виду спокоен, настойчив, трезв. И когда ссылка забурлила, заторопилась бежать из Верхоянска, а он остался, повременил, Маша только вздохнула: бог с ним, верно, его приморозило к этой жизни так, что и не сразу оторвешь. Но дорога от улуса, где осталась могила Андрея, до Иркутска показала Бабушкина с лучшей стороны, однако Машу в его веру не обратила. Ей не дано было смешаться с толпой; в любых обстоятельствах она сохраняла трезвый, а то и отчужденный глаз наблюдателя: что они? как они — все вокруг — поведут себя? как поступят перед лицом торжествующей неправды?

Теперь железная дорога выносила навстречу им вооруженных дружинников, рабочих депо и мастерских, машинистов и кочегаров, кондукторов, телеграфистов, механи-

ков, ремонтных служащих, вчерашних маньчжурских солдат, уже перемазавших шинели в мазуте и ржавчине. На станции Зима кто-то узнал Студента, бросился к нему, открыв объятия, в Красноярске двое пришли к старику, звали остаться, обещали больницу, а он не соглашался, расспрашивал о положении в городе, о людях, которых знал издавна. В Черемхово им притащили вторую лестницу с железными скобами вверху, чтобы быстрее сходить и забираться в теплушку, несли одеяла, хлеб, горячий картофель, уголь, вязанки березовых поленьев — заросший по глаза черным волосом Михаил басил нараспев: «Да не оскудеет рука дающего-о!» С ними не было Бабушкина, и Маша отчасти уже его зрением принимала эту доброту и отзывчивость, порыв солидарности в людях, которые мелькнули и навсегда уйдут из ее жизни. В Верхоянске ей казалось несомненным, что, как ни честен и прям Бабушкин, рядом с ним неуютно и скучно: слишком пряма его дорога и нет в ней тайн. Потом Бабушкин и его спутники вернули ее к жизни, приняли ее как сестру, и оказалось — можно с ним рядом, можно день за днем в одной кибитке, и в спокойной беседе, и в нестесненном молчании. За ними жизнь, о которой Маша знала книжно, догадкой, а Бабушкин прошел босой по ее колотому, битому стеклу.

Месяц, прожитый рядом с ним, возникал перед ней с силой, какую обычно имели для нее события давние, уже отобранные памятью из потока лет, и она гнала от себя подозрение, что виной тому Бабушкин, искала причину в самом времени, в упавших преградах. Хотела так думать, защищая свою женскую свободу и привычное одиночество, но мысль возвращала ее в улус, на порог ямского станка, она видела его руки, как он проходит рубанком доску и смотрит, прижмурив глаз, на ребро доски, себя, стиснувшую ладонями уши в избе Катерины, чтобы не слышать, о чем они будут шептаться в горнице; радость, что не ошиблась в нем, в его чистоте, и тут же острый, горький

отрезвляющий вопрос: кто же та, другая, единственная, кому он хранит верность? Потревоженная мыслью о Бабушкине, Маша спасалась надеждой, что он нарушил одиночество ее духа, а между тем в ней проснулась женщина, и, как ни хитрила Маша, она сама, теряясь и страшась, ощущала в себе это пробуждение, будто на дворе весна и соки жизни погнало от корней к ветвям. Впервые за годы ссылки ощутила она свое тело, его отдельное существование, шевеление пальцев в бесформенном валенке, округлость колена, мускульное сжатие живота, когда сгибалась в пояснице, садясь на нары к старику, стесненность груди под тяжелой одеждой, пылающую, темнеющую от румянца щеку. Возникало странное желание: заплакать счастливой, облегчающей слезой, ощутить сладкое жжение век, прижать к ним руки и не думать ни о чем трудном.

Дорога оказалась легкой, быстрой, сулила доброе и на тысячах других верст. Скоро перестали будоражить внезапные остановки, на однопутке иначе нельзя: держали у полустанков, в тайге, где ничто не обещает глазу станции, хотя она в полуверсте, паровоз бросал ободряющий крик, эшелон трогался, задвигáлись открытые в тревоге двери, и ссыльные смеялись беспричинному, глупому страху; сибирская земля уже как бы принадлежала им. Красноярск совсем раскрепостил души: вчерашнее начальство сдвинуто на обочину, жило крадучись, с готовностью подчиняться,— он возник и сверкнул для них вольными огнями, праздничностью станционного зала, пахучим, обжигающим чаем за сдвинутыми столами, он был как пролог новой жизни, имя которой — свобода.

Отъезжали, сгрудившись у двери теплушки, будто сожалели о прерванной стоянке, дорожили каждым огоньком, самым последним, мелькнувшим среди берез и елей.

— Хорошо! — Студент поборол застенчивость, потянулся к Маше озябшими руками, и Маша протянула руки,

теплые, согретые муфтой: он выглядел взъерошенным мальчишкой.— Не помочь ли вам со стариком, Марья Николаевна? Я ведь сын фельдшера.

— Тут и батюшка ваш не помог бы: сердце отработало.

— Почему так устроено, что нельзя отдать сердце другому? Здоровое — немощному. Молодое — тому, кто нужен людям!

Это был порыв, подъем духа, когда жизнь кажется превосходной, а чья-то обреченность — черной несправедливостью; радость, что заговорил с Машей, до этой минуты дичился, унизился до кривляния, до грошового байронизма, а заговорил, и она ответила как другу.

— Все так устроено, Ипполит,— сказала Маша, и привычное имя, произнесенное ее густым голосом, показалось новым, никогда не слыханным.— В природе все разумно: даже и то, что человек может отдать сердце людям, а не отдельному человеку.

Машу занимало, зачем понадобился старику револьвер: она видела, как один из навестивших его красноярцев дал старику оружие, как тот спрятал отяжелевшую руку под кожух, молча, без благодарности, будто все у них было условлено.

— Не тревожьтесь, куда мне теперь оружие,— отшутился на ее вопрос старик.— Михаилу подарю. Ночь подержу, в героях побуду.

— Если не для сопротивления, тогда для чего же?

— Когда за нами приходят, Машенька,— сказал он ласково, видя ее смятение,— когда они ломятся в двери, мы знаем, что преступники — они. Они не правы, а мы правы. И будет суд, тоже неправый, и надо сказать на суде все, что успеешь, и перенести все, чтобы вернуться к борьбе. Возьми мы привычку палить в жандармов, нас и в живых давно бы не было.

— Тогда зачем оружие? — Она страдальчески-несог-

ласно поматывала головой.— И Бабушкин в Иркутске станет искать оружия.

— Будет, будет *добывать* его! Но не для одного себя, не для громкого подвига самопожертвования.— Старик открывал Маше давно им обдуманное, пережитое.— Я прошел терроризм, знаю его силу и привлекательность; у меня есть право сказать вам, что ложь и что правда...— Он замолк, насупив серые, с длинным белым остьем, брови.— Оружие необходимо народу, рабочим дружинам, чем больше его будет у нас, тем меньше прольется крови. И необходимо оно на один случай: когда десятки, а то и сотни тысяч готовы взять его в руки, чтобы сделаться властью.

— Сопротивление неизбежно, и вы это знаете!

— Это судьба не одной России. Гражданская война — несчастье, но ее ведут не одиночки; и это правда не для одной России.

— Сколько же веков должно пройти, чтобы народ захотел защищаться... дополз до этого сознания!

— Здесь ваша слабость,— сказал старик с сожалением.— Слепота. Тщета мысли,— не сердитесь, сестра милосердная. Если бы вы знали, как мы близки к восстанию!

— Мы?! — Маша озиралась, недоуменно смотрела в полутьму уснувшей теплушки.

— Россия! — шепотно воскликнул старик.— И город, и мужик; у сибирского мужика репутация самого благополучного, далекого от бунта, а каков нынче он! Должны же вы и сердцем что-то чувствовать: мое никудышное, в рубцах, а слышит, неужто ваше глухо?

Маша не ответила.

— В моем положении не схитришь; скотом надо быть, чтобы лгать, *умирая*.— Он глубоко вздохнул, точно проверил, может ли говорить дальше.— Многие клянут нас, что исповедь мы променяли па проповедь, клянут и будут клясть десятилетия. Что не несем совести своей на

церковные камни, в суетные руки попа. Разве это возможно для мыслящего человека — облегчать совесть с помощью тех, кто уже два тысячелетия слеп, кто не спас ни одной жизни, а если и облегчил кому страдания, то ложью, короткой ложью у могилы, у ямы. Потому что там,— он шевельнул головой, словно хотел уставиться в потолок теплушки,— там нет ничего: не перед тамошним судией ответит человек, а перед будущим, перед судьбой всех и жизнью своих детей. Какой суд может быть выше этого суда. Говорят, блажен верующий, он отыдет с миром. Ложь! И в смерти вперед выходит живая сила нравственности. Надо не грешить, не быть тварью при жизни. Но если ты хочешь отдать жизнь другим, непременно отыщутся равнодушные скоты, зарычат, ополчатся, найдут и каземат, и погреб в Сибири, и христовы строки, назначенные добить тебя. Меня жизнь напоследок обидела, не дала окончить дела... Уложила! — Он точно удивлялся и негодовал, что распластан, опрокинут навзничь.— Сущность-то жизни земной в человеке. Отними его от природы, от травы, от леса, от реки, оставь все это без людей,— кажется, и камень завопит: дай человека!

— Уж камни обошлись бы птицами,— горько пошутила Маша.

— Это в вас от огорчения жизнью; старое оружие выпало, а другого не знаете.

— Где же вы находите истинного, чистого человека?

— Я ведь тоже из сытого дома вышел,— сказал он, помолчав.— Оттуда, где многое уже было сделано, чтобы не смешаться с толпой. Тронулся в народ: глаза горят, а незрячие. Что народ? — не знаю. Знаю только, что хочу его облагодетельствовать. И вот первый злой урок: невозможно облагодетельствовать народ ни платьем с барского плеча, ни хлебом с чужого стола, все не впрок, все в насмешку. Я и ударился в тоску, в злость — неблагодарен народ! И за бомбу: вот ты каков, так я тебя раз-

бужу; слов моих не услыхал, послушай динамитную музыку. Эту жизнь вы знаете, всю ее тщету: сотни втайне обрадуются гибели палача, а тысячи ужаснутся, отбегут куда подальше, хоть в церковь, чтобы не смешаться с убийцами. Вот тогда я снова пошел к людям, но не пророком, не дарителем, а товарищем. Будущее за теми, кого труд собрал сотнями под одну крышу, тысячами к одному хозяину, кто хочет не землю переделить себе в выгоду, кому-то в ущерб, а переменить жизнь. Этот человек просыпается не для мести, и жечь он не хочет, и стрелять не торопится, хотя защищаться при нужде будет отчаянно. Вы не думали вот о чем: родится ребенок в курной избе или в рабочей казарме, в нищете,— под ним с первого дня кусок стираной холстины...

Состав тряхнуло и затормозило, набегал, усиливаясь, грохот буферов. Заскрипела дверь соседнего вагона, ударилась раз и другой о стенку тамбура, в снег то прыгали, ухая, то сбегали коваными сапогами по ступеням — люди словно по тревоге покидали вагон.

Вразнобой ударили по теплушке приклады: ссыльные знали этот жадный, проламывающий стук,— в нем азарт и темный страх насильника, страх, что жертва ответит выстрелом. Потом громкий голос потребовал, чтоб открыли, и Михаил сказал, что дверь не заперта, пусть входят, кому угодно.

Дверь отъезжала в пазах медленно, клубы пара растаяли, обнажились очертания нар, тусклое ночное свечение чугунной печки, фигуры стоявших и сидевших ссыльных.

— Живо всем из вагона! — скомандовал Коршунов. Приказал обыскивать ссыльных, отнимать оружие и спички, и не торопил, ровно поглядывал, как они запахиваются поплотнее, вяжут деревенские кушаки, посматривают, нет ли близко станционных огней.

— Женщину оставьте...— шепотом просил Симбир-

цев.— Буду обязан навсегда... аки пес верный,— пробовал он шутить, заглядывая в спокойное лицо подполковника.

Сходили медленно: теплушка словно прихватывала за плечи, втягивала обратно теплом, недавним братством, надо было вырваться из ее плена, понять, что впереди, есть ли тут другие люди или одни офицеры и унтер-офицеры. Показалась Маша, теплый платок лежал на плечах, руки подняты к растрепавшимся волосам.

У двоих отняли револьверы: без ругани, кажется, даже не запомнили их в сгрудившейся толпе.

— Женщина — пусть останется,— взмолился Симбирцев, и Коршунов снизошел, чубатый унтер прогнал Машу в теплушку, заглянул внутрь, не разглядел за Машей лежащего старика и задвинул дверь.

Место глухое, за пнями вырубки — могучий редкоствольный лес, потом строй деревьев смыкался, и свет луны, голубой и холодный, был бессилен пробиться в глубь тайги.

— Пальто, шубы, поддевки, всю рвань — долой,— сказал Коршунов.— Нельзя эту заразу в Россию везти: карантинная служба не позволяет.

Не сразу и поверилось: они и так продрогли до кости.

— А закурить можно? — послышался сердитый голос Михаила.

— Зажгите ему спичку! — приказал Коршунов.— И закурить, и спеть позволено. И уйти можете гуртом и в одиночку, как угодно: вы на каждой станции желанные гости.

Студент замешкался, нетерпеливый Симбирцев сорвал с него шинель и меховой, неприметный под шинелью, жилет. Легкие сдавило каленым воздухом, почудилось, что упал в ледяную воду.

— Забавляетесь, полковник! — его голос дрожал от холода, и это угнетало Студента.— Царские свободы празднуете.

— По нынешним временам я и расстрелять вас не вправе,— Коршунов присмотрелся к Ипполиту, но не признал в нем того, кого искал.— Был с вами в Иркутске еще один: он тогда на перроне говорил.

— Не захотел поганиться, с тобой ехать,— ответил Михаил: их приговор прочитался в безлюдье тайги, и не о чем было торговаться с подполковником.

— Марш! Марш! — Коршунова тоже трясло, он отвел взгляд от проклятого инородца.— Марш! — командовал он и стрелял из револьвера поверх голов, в темные лапы елей. За ним подняли стрельбу и другие, срезанная хвоя падала на уходивших ссыльных. Они шли со сведенными лопатками, в ожидании пули, хотя она и принесла бы скорую смерть. Скрывшись за стволом ели, Михаил выхватил из валенка утаенный револьвер и разрядил его в толпу у теплушки. Его бил озноб, прижатая к шершавому стволу рука потеряла твердость, только одна из пяти пуль задела ногу казачьего офицера. За Михаилом не погнались, Коршунов прислушался, понял, что патроны вышли, и сказал:

— Пусть, не надо ему легкой казни.— На ходу бросил Симбирцеву: — Помните — живых свидетелей не должно быть.

При поручике остался чубатый унтер. Они отодвинули дверь, унтер подсадил Симбирцева и забрался сам. Увидели женщину на краю нар, но когда закрылись в теплушке, темнота поглотила и ее. Унтер набросал в печь щепы и сухой бересты, в теплушке посветлело.

— Тут человек! — крикнул унтер.

Старик тяжело приподнимался на локтях; услышав, как щелкнул затвор, Маша заслонила старика:

— Послушайте! Он тяжело болен...

— Вылечим! — Голос унтера срывался от злости на свой испуг: истощенное лицо старика показалось страшным. Поезд тронулся, унтер качнулся, и его пуля пробила

вагонку в стороне.— Отойди! Убью! Пусть на ходу прыгает, а то двоих пристрелю!

Симбирцев ухватил Машу за локоть, дернул к себе, и в этот миг раздался выстрел. Унтер-офицер упал, его винтовка глухо стукнулась о пол. Симбирцев, прикрываясь Машей, подвигался к изголовью нар, выхватил из кобуры револьвер, оттолкнул ее, дважды выстрелил в старика и, споткнувшись, падая, почувствовал, что и тот успел выстрелить. Пуля ударила в правое плечо, и кровь потекла к локтю. Симбирцев оглянулся и не нашел женщины. Береста выгорела, снова сгустки тьмы в углах, звуки дороги, металлический скрежет, стук — и ничего человеческого, ни шороха, ни дыхания.

— Послушайте... Где вы?..— Ни слова в ответ. Неужели он один в теплушке с двумя мертвецами? Вытянув вперед левую руку, поручик двинулся к печке.— Я ранен... мне нужно помочь...— Страх подгибал колени.— Помогите офицеру... вам все простится.

В поезде их не услышат: он будет кричать, его пристрелят, никто не услышит. Поручик бросился к убитому старику, прижался спиной к торцевой стене, бил каблуком в вагонку, звал на помощь.

— Я истекаю кровью...— сказал он сиплым просящим голосом.— Есть в вас что-либо человеческое....— И, шатаясь, двинулся к печке.

— Стоять! — приказала Маша.— Кто этот подполковник?

— Коршунов! Коршунов! — повторял он, торопясь оказать услугу, увидеть просвет.— Сергей Илларионович Коршунов.

— Эта расправа — приказ Иркутска или Петербурга?

— Знаю! — крикнул Симбирцев и шагнул к ней.— Личная просьба Драгомирова. Спрашивайте, я все скажу.

— Еще шаг, и я выстрелю,— предупредила Маша.

— Богом молю... всем, что для вас свято!..— Он тяжело

опустился на колени, готовый заплакать.— Я молод... война пощадила. Вы не можете меня убить... я спас вам жизнь.— Поручик торопился, дробно постукивали зубы, непрерывностью слов он хотел задержать ужасное.— Вы не выстрелите, не убьете, я понимаю...— Эта мысль ободрила его. Он поднялся с колен и побрел на голос Маши.— Вы не можете убить... У вас благородный вид... Вы добрый человек... осталась с больным...

— Стой! Ты отодвинешь дверь и выпрыгнешь, скотина!

— Я сломаю ногу... такой мороз...— зачастил он, захлебываясь подступившими к горлу рыданиями.— Верная смерть...

Он бросился туда, где белело ее лицо. Маша выстрелила из винтовки унтер-офицера, поручик устоял, согнувшись, будто разглядывал чугунную печь, и Маша выстрелила еще раз.

Она сложила руки старика на груди, закрыла складчатые, мягкие веки и придержала их пальцами, будто, прощаясь, согревала доброго к ней человека. Частые гудки паровоза подгоняли ее, страшила мысль, что вдруг скоро станция и в теплушку придут офицеры. Отодвинула дверь, чтобы в широкую щель протолкнуть плечистого унтера, следом за ним сбросила Симбирцева и ружье, а с револьвером прыгнула сама.

Она упала с откоса на 649-й версте от реки Обь, выбралась на рельсы, пошла на запад и вступила в каменную скалистую теснину — полотно дороги пробито здесь в базальте и граните — и вскоре увидела освещенное окошко сторожевого дома на 643-й версте.

В восемнадцати верстах от этого дома станция Кемчуг — деревянный вокзал с двумя фонарями над входом,

с белыми, как над избами обывателей, трубами, с пустыми, сиротливо торчащими фонарными столбами.

Эшелон Коршунова проследовал Кемчуг без остановки.

## 11

Темень и тишина.

Тишина полная, глухая, будто не в депо на скрещении рельсовых путей, а в дремотном окраинном домишке. Серое и днем оконце конторы заслонено бортом вагона, отсвет снегов не проникает внутрь, глаза не различают шкафа, стола, длинной скамьи напротив нар, где устроился Бабушкин, а в спокойные времена засыпали дежурные, деповские сторожа, машинисты, которых задержала пурга или близкий рейс. В полночь ушли на запад два поезда с запасными, еще с полчаса трубил кондукторский рожок, попыхивал, посверкивал огнями маневровый, уводя в тупик порожние теплушки и остов сгоревшего классного вагона. Во втором часу ночи покинули контору Алексей и солдат — представитель союза военнослужащих; умчались в типографию Казанцева печатать составленное вместе с Бабушкиным обращение военно-стачечного комитета к жителям Иркутска о том, что забастовавшие солдаты, казаки и офицеры приняли на себя обязательство перед *гражданами города охранять во время забастовки порядок, их личную неприкосновенность и имущественную безопасность*. Обращение упрочит вес забастовки, отнимет частицу власти у Кутайсова, сдержит в узде своры черносотенцев из братства св. Иннокентия. Проводив их, он убрал фитиль, дунул в ламповое стекло и улегся, как любил, на спине, с вытянутыми вдоль тела руками, дожидаясь дремоты, когда вдруг потянет повернуться на бок, ноги согнуть, как в беге, и уснуть крепко, не шевелясь до пробуждения. Все обещало скорый сон: усталость, тишина за

кирпичной стеной, шорох оседавших поленьев, сухое потрескивание, голос жестяной вытяжной трубы, все просило сна, а сна не было. За спиной еще дышала ссылка заполярным, мертвенным дыханием. Даже и бег ямских лошадей после Кангаласы не казался ему быстрым — мысль летела в Питер с такой яростной поспешностью, что и борзые кони, казалось, топчутся на месте. Быстрее, быстрее — к делу, к любимым; после смерти Лидочки их осталось на земле двое, но из темноты почи, из неспокойной завесы снега перед ним возникало три лица, всегда три,— посредине, защищенное матерью и Пашей, нежное лицо дочери. В Иркутске дорога кончилась; сам оборвал, сам **запнулся**, увидел себя со стороны, как больно ударял носками сапог о рельсы, спотыкался рядом с покатившей теплушкой, бежал за ней, шевелил губами, винился перед Пашей.

Дорога оборвалась, но время помчалось бессонно, словно он снова во Пскове и нет ему покоя, хотя и не крадутся за спиной шпики и дружески открыты многие двери. Время неслось, в чем оно единственно и может нестись истинно и устремленно: в людях, в непредвиденной смене событий, в собраниях и митингах. Неслось, не признавая узды, поток жизни не принимал ни одного из русел, услужливо предложенных губернскими властями, либералами или объединенным рабочим стачечным комитетом. Движение становилось все более массовым, но волны бились врасхлест, сталкиваясь, ослабляя друг друга, рискуя растратить силы и замереть в старых берегах.

На железной дороге двоевластие: 21 ноября железнодорожники решили установить восьмичасовой рабочий день, революция многое поменяла в распорядке Сибирской и Забайкальской дорог, однако узкая стальная магистраль не могла иметь своей отдельной судьбы и отдельной революции. Покинь дорогу последний верноподданный чиновник, перейди она вся, от пылающих горнов мастерских до

начальственных кабинетов, в руки рабочих, и тогда она оставалась бы тем же соединительным мостом между Россией, откуда изредка приходили эшелоны с мукой и зерном для голодного края, и военным, солдатским, все проигравшим Харбином. Власть на дороге не надо брать с бою: вот тревожное и непредвиденное состояние! Враг жив, он проезжает мимо на запад, украдкой поглядывая в вагонное окно, или вышагивает по сибирскому кабинету; он не лишен чинов, орденов, оружия, привилегий, но стушевался, хитрит, пребывает в страхе, что его лишат не жизни, а власти,— его упраздняют, но дают отдышаться, набраться сил и злобы. И в этом мирном отпадении и мирных победах таилась величайшая опасность для революции, ибо это был худой мир и передышка, которой одна сторона пользовалась лучше, нежели другая.

Город словно бы созрел для народовластия. Вчерашняя твердая рука уже не тверда, поплыла под ногами земля, генерал-губернатору некого позвать на помощь, кроме сотни зеленых юнкеров, горстки приставов и полицейских. Уже побежали с корабля крысы, отбывают из губернии чины, не сказавшись Кутайсову, кто в Петербург по делам службы, кто в неизвестном направлении; при отменном здоровье подают рапорты о болезни, прошения об отставке, предпочитая жизнь обывателя служебной карьере; находят приют у хлебосольной родни в таежных поселках и улусах. Правительственный корабль накренился, течь велика, волны демократии бьют в сгнившую обшивку, ломают шпангоуты. Город без больших фабрик и заводов подогревал заблуждения меньшевиков: всякий раз, когда на митингах принималось решение продолжить военную забастовку, меньшевистские ораторы добивались непременной поправки — забастовку продолжать мирную, но с оружием в руках. Малочисленность рабочих, недостаток оружия и то, что комитет РСДРП оказался в руках реформистов, превращало Ир-

кутск в слабое звено сибирской революции между Томском — Красноярском и Читой — Харбином. Но в Иркутске обнаружился и непредвиденный властями революционный резерв: солдаты. Загнанные в эшелоны еще в Харбине, они в скудости тащились через Забайкалье и останавливались в Иркутске за получением денежных расчетов. А Иркутск был так же прижимист, хитер и неласков к запасному, как и Харбин. Вооруженного солдата он часто опасался и спроваживал, безоружного мытарил в здешних казармах и кормил впроголодь. Недовольных скопилось тысячи, солдат потянулся в колонну, нашлось у него и знамя, и список прав, которых он домогается; солдат открыл для себя, что именно забастовщики заняты ремонтом паровозов, сносятся телеграфно с другими комитетами Сибирской дороги, помогая солдатам вернуться в Россию.

И Кутайсов решился на крайность. Собственной властью он приказал уволить запасных четырех сроков, добыл для них денег и спровадил из Иркутска[1]. И что же — остановило это бег времени?

[1] Месяц спустя, 22 декабря 1905 года, страшась последствий, Кутайсов писал об этом в докладе царю. Он пугал Николая II призраком революции, стремлением революционных партий «воспользоваться возмущением солдат, чтобы арестовать начальствующих лиц и объявить временное правительство». «Положение было в высшей степени серьезное,— писал генерал-губернатор задним числом, улизнув в Петербург и пытаясь предотвратить свое служебное падение,— готовые к возмущению части, дурной состав офицеров, слабость и неспособность командиров частей, отсутствие надежды получить откуда-нибудь помощь и частные известия из всей России заставили меня принять совершенно исключительные меры.

Я знал, что 23-го или 24-го утром войска присоединятся к открытому восстанию, что к этому дню назначен колоссальный революционный митинг и что у меня для прекращения бунта в руках будет одна только сотня юнкеров; но, с другой стороны, я также знал, что если распустить запасных и дать им средства выехать на родину, то от уволенных нельзя будет ожидать беспорядков,

Памятью возвращается Бабушкин к дням, прошедшим после того, как тысяча беспокойных покинула Иркутск. Присмирел ли город?

Отчаянная мера привела к новому взрыву, подкуп был слишком очевиден, а с ним — и слабость Кутайсова. Уволенные уехали, это не были записные бунтовщики: выбирал их не Кутайсов, а случайность срока рождения. И уже через день Бабушкин провел в помещении 1-го Запасного батальона собрание солдат для выработки революционных требований, а 28 ноября, на четвертый день после отправки экстренного поезда, на восьмитысячном собрании солдат и офицеров требования к начальнику гарнизона были утверждены. На утро 29 ноября солдатская забастовка продвинулась еще на ступеньку: отвергая иркутскую армейскую иерархию, митинг избрал военно-стачечный комитет, своего начальника гарнизона — поручика Осберга и своего же коменданта города.

---

а оставшаяся часть войск, увидя, что запасные увольняются, останется спокойно дожидаться своей очереди; необходимо было только принять эту меру, пока войска еще не привели в исполнение свою угрозу,— бунт надо было предупредить, но идя навстречу желанию солдат, вместе с тем не следовало дать им повода думать, что это исполняется не по заранее предвиденному распоряжению начальства, а по их требованию.

Не видя никакого выхода из создавшегося положения, мне ничего другого не оставалось делать, как превысить свою власть и приказать уволить запасных четырех сроков: 1893, 1894, 1895 и 1896 гг.; для исполнения этого приказания я дал два дня, а от железной дороги потребовал экстренный поезд, и 24 ноября вечером около 1 тысячи человек беспокойного люда было увезено из Иркутска.

Мера эта дала ожидаемые результаты: революционная партия на время утратила почву для возбуждения неудовольствия в войсках, батальоны избавились от наиболее опасных элементов, а оставшиеся еще в рядах батальонов запасные младших сроков увидали, что начальство не имеет в виду лишать их ожидаемой свободы и при первой возможности увольняет их от службы».

Враг словно замер, притаился в таежной чаще: иллюзия народовластия, победы одними речами и ультиматумами, была для многих так полна, что нечего было и думать о восстании, о борьбе за реальную власть.

И среди обманчиво тихой ночи в напряженном мозгу Бабушкина родилось решение: ему необходимо в Забайкалье. Не на запад, а в Читу: в ближайшие недели не отвоевать Иркутский комитет РСДРП у меньшевиков, рабочие дружины тонут в торговом, чиновном и ремесленном городе, среди взбудораженных толп, расплывчатых и волнующих слов о свободе, о народовластии, о конституции, о мирных победах и мирной революции. Напрасно меньшевики на каждом перекрестке кричат о мирной революции, словно заклиная мятежных духов: восстание сделается возможным только вместе с цепью таких же восстаний на всем протяжении Сибирской и Забайкальской дорог. Отсюда кажется, что революционная Чита победила без боя, Бабушкин и себя ловил на этой иллюзии,— Холщевников уступил рабочим все, чуть ли не ключи от военного арсенала, и успех Читы используют иркутские меньшевики, объявляя его торжеством вожделенной мирной революции...

Его разбудили еще до рассвета Абросимов и чиновник губернской канцелярии Крушинский. Этот человек с вытянутым лицом и печалью в блекнущих синеватых глазах принес после отъезда ссыльных тревожный слух о черном сговоре Драгомирова с Коршуновым; полицмейстер похвастался за карточным столом, и дошло до чиновной братии. Та новость не подтвердилась, ссыльные миновали Красноярск, а там долго ли и до России.

— Принесло во́рона ни свет ни заря,— посетовал Абросимов.— Ни разу еще добрых вестей от него не слышал.

Крушинский отходил от стужи, пальцами сдирал наледь с рыжеватых изрядных усов.

— Откуда же им быть в волчьем логове,— заступился Бабушкин за чиновника.

— Ночью арестовали офицеров,— сказал Абросимов,— тех, кого избрали вчера на митинге.

— Взяли в казарме? При солдатах? — спрашивал Бабушкин у Крушинского.

— Их вызвали обманом. Это самовольный шаг Ласточкина, я уверен.— Крушинский представил себе ярость генерала, когда тот узнал, что солдаты избрали начальником гарнизона вместо него ничтожного поручика.

— Не думал, что Осберга так просто возьмут.— Бабушкин знал Осберга, ценил в нем соединение энергии, ума и вызывающей резкости.— Самому пойти в руки!

— Время такое, Иван Васильевич. И я пошел бы, да и ты, пожалуй. Не пойдешь, скажут — струсил! — Абросимов ободрился в последние дни, он теперь не один стоял перед сложностями жизни.

— Для чего же тогда наши патрули!

— Много ли их! Погром — остановят, если попадут на него, поджечь — не дадут, а эти аресты — хитрые, без шума.

— Ласточкин отступится,— убежденно сказал Крушинский: он только теперь вполне перевел дыхание, пошевелил пальцами рук, будто из них выходили последние остатки стужи.— Никаких петиций, переговоров: идти к гауптвахте солдатской толпой, он освободит офицеров. Ласточкин — трус.— Коснулся пальцами шершавого верха выгоревшей печки, убедился, что терпимо, и, продолжая говорить, прикладывал к теплу ладонь и, нагретую, складывал ее с другой.— Надо действовать быстро. Вчера из Харбина прибыл нарочный офицер, с Дальнего Востока к нам следует семью эшелонами при полном вооружении Второй пехотный Сибирский полк.— Это была его недоб-

рая новость.— Полк не примкнул к революционному движению.

— Его расквартируют в Иркутске?

— Если полк задержится у нас хотя бы на неделю, Ласточкину и этого достаточно.— Он поднялся.— Мне до службы надо домой заглянуть. А на мосту ветром сшибает: этой зимой река рано станет.

— Каширцев тоже ждали как кары господней.— Абросимов надеялся, что обойдется.

— Тех изменил фронт, Маньчжурия,— возразил Крушинский.— А эти — баловни.

— Взорвать бы к дьяволу Хинганский туннель или скалы на Кругобайкальской! — Абросимов сорвался впервые: другие, случалось, тешились анархистской мечтой — отгородиться бы от кипящего харбинского котла, от пушек и казаков, от преданных престолу полков. Абросимов не мог помыслить дорогу мертвой, но вот припекло, загнало в угол, и он о том же, поверил вдруг в губернскую революцию, закрытую от мира рваным, рухнувшим гранитом.

— Что об этом толковать.— Крушинский нахмурился.— Дорога — наш крест, но она же спасение и жизнь. Отнимите дорогу — и что? Таежная глухомань, царство мертвых. Крест! — повторил он.— У нас на спине лежит, мы несем его, а прервите дорогу, и мы будем распяты на нем. Есть жизнь и нужды народные, перед ними отступает все. В революции не может быть ничего, что пошло бы во вред народу,— что ему во вред, то уже не революция.

В словах Крушинского привлекала и логика, и выражение целостной, поднятой до всеобъемлющей веры нравственности. Прежде чиновники редко встречались Бабушкину в революционной работе — единицы, бывшие чиновники, перейдя на нелегальное положение, они спустя год ничем не отличались от других интеллигентов в партии. Сибирь по-новому показала ему это сословие: много-

людное, заметное в жизни края. Были в этом сословии превосходные люди, сами воспитавшие в себе дар конспирации, ненавидящие самовластие двора и губернских князьков.

Крушинский пожал им руки и умчался. Абросимов повел Бабушкина завтракать в дом кочегара, куда по приезде ссыльных в Иркутск определили на недолгий постой Петра Михайловича, Бабушкина и Машу. Всякий раз, приближаясь к калитке палисадника, он вспоминал их первый приход, счастливую Машу, как она, хохоча, показывала рукой на старика, а тот беспечно, по-мальчишески поигрывал калиткой, радуясь ее певучему домовитому скрипу. И в этот раз подумалось о них и завистливо, как о счастливцах, и покойно и благодарно, с надеждой, что кто-нибудь из них уже повидал его Пашу, принес и ей облегчение.

На крыльце Бабушкин придержал Абросимова за локоть, прислонился к перильцам, озирая серые, поставленные вразброс избы. Заиндевелый мир, в рваных дымах над кровлями, еще не отчетливо выступивший из рассветной мглы, рослый человек с добрыми и вопрошающими глазами были с детства близкими, повторяющимися через все бытие Бабушкина, а вместе с тем и зыбкими, готовыми исчезнуть, как исчезало из его жизни многое другое.

— Пойдем,— торопил Абросимов.— На тощий желудок сегодня Ангару не перейдешь: снесет.

— Устоим.— Ему представился деревянный мост, по которому, пригнувшись, бежит чиновник губернской канцелярии.— Мне в Читу надо, Иван Михайлович. И скоро.

Абросимов опешил, вспыхнул простодушной обидой. Когда Бабушкин решил остаться в Иркутске, Абросимов не сразу и поверил в этакую щедрость ссыльного, но скоро привык, не благодетеля нашел в нем, а товарища.

— Ты вольная птаха. Уедешь хоть в Читу, хоть в Америку.

— Меня комитет пошлет, Абросимов. Ты пошлешь! — жестко возразил Бабушкин.— И не одного пошлешь, двоих. Погоди! — Бабушкин рукой загородил дверь. Светлело, ветер налетал долгими, проникающими порывами.— Крушинский прав: нам дорога нужнее, чем губернатору. Без Читы оружия не получить, а митинги прискучат, пойдут на убыль. За Уралом для нас оружия нет, да и есть ли оно там? Я у Мандельберга клянчил адреса...

— У него их и нет. Адреса у эсеров.

— Он тешится, что перезимует в благополучии, а за зиму весь народ в демократы запишется. Кутайсов со товарищи сгинет, по рельсам побредет царю жаловаться, а царя уж и в Петербурге нет и нигде нет, кругом один парламент на немецкий лад! — Бабушкин рассеянно глянул на Абросимова.— В Питер не поспеем ни он, ни я: наша война здесь. Декабрь, январь — другого времени не будет. Два месяца. Мало?

— В два месяца хорошей избы не поставишь.

— Вот и надо в Читу. Не на телеге — в вагонах винтовки привезти. Вооружить всю магистраль — если Сибирь и Россия начнут вместе, можем взять власть, не просто взять — удержать.

— Хватит ли у Читы оружия и для нас?

За их спиной стукнул засов, дверь отворилась, на крыльцо вышла хозяйка, Наталья, не удивилась им, крикнула на ходу, что Григорий не вернулся из рейса, пусть идут в дом. Низкорослая, темнобровая, яркая лицом, шелково-смуглым, с раскосыми, под нежными розоватыми веками, глазами, она кинулась к амбарчику. В руках миска, локтями прижала полы кофты, ветер стрельнул ситцевым подолом, открыл крепкие, с сенокосной поры загорелые икры над короткими валенками. Из амбарчика оглянулась, словно знала, что гости посмотрят вслед, и заранее радовалась этому, как радовалась всей своей хлопотливой жизни с тревожно-терпеливым ожиданием мужа-кочегара.

Не успели сесть за стол, ввалился Григорий, высокий, вровень с Абросимовым, но шире в плечах; рядом с женой — таежный медведь! раззвалистая походка, спокойствие карих сонливых глаз, нестриженая шевелюра, лицо, заросшее бурым завивавшимся волосом. Им с машинистом пришлось тащить продовольственный состав не до Верхнеудинска, а до самого Петровского завода. В Чите голодно, но дорога — у комитетчиков, на станциях хозяин один, вчерашняя власть сгинула, будто и не было ее.

— Новый, говоришь, хозяин? — Тревога за мужа отпустила Наталью, пришлые люди не мешали их давнему спору.— Взяли не свое и рады! Пришли бы к нам в избу, мол, отдавай, Григорий Ефимович, попользовался — отдавай.

— Здесь все мое,— сказал Григорий.— Наше с тобой.

— Выходит, твое и здесь, и на железной дороге, и в губернии? А ихнее что же? Век было ихнее, а теперь им по миру идти? Им в петлю легче, чем в наши черные руки отдать.

— На земле, Наталья Петровна, только и есть двое хозяев,— вмешался в разговор Абросимов.— Природа и рабочие руки. Чего природа не сотворила — они сделали.

— За то и плачено им, не даром же.

— Нам — гроши, деньги — хозяину!

— А ты торгуйся! Говори свою цену,— легко и весело урезонивала Наталья мужа.— Тебя послушать, под Читой не жизнь — рай. Новый хозяин! И что, накормил он голодного? Или злобе пришел конец? Подобрели люди?

— Не сразу, Наталья Петровна,— сказал Абросимов.— На это время нужно.

— А не сразу и они сулят.— Она задумалась.— За паровозы большие тысячи плачены. Иной паровоз и нерусский. Гриша говорил, у немца купленный. И те ваши?

— И те рабочими руками сделаны,— втолковывал Абросимов.

— Ну? Не баламутить же и немца: пусть хоть он спокойно живет. Ты скажи мне, Григорий Ефимович, в Чите не казаки ли верховодят?

— Не они. Хотя и казакам вб как подошло.— Кочегар вскинул жесткую бороду, ребром ладони уперся в кадык.

— Чего они делают, хозяева новые? Какую невидаль?

— Ждут,— серьезно ответил кочегар.

— Дело ли это для мужиков — ждать! — Сама из Забайкалья, из семьи, где русская кровь давно смешалась с бурятской, она сызмальства приготовилась к жизни скудной, степной или таежной, да вот встретил ее Гриша на пароме через Байкал, взял за руку и привел в губернский город, к станции, дал ей счастье, сам не ведал, чем был для нее, а она знала, помнила благодарно, но зависимости не было в ней нисколько.— Что же ты слова порастерял, Гри-и-ша? — выпевала, торжествуя, Наталья.— Чего они там ждут?

— Нас и ждут,— сказал кочегар и отложил ложку: вот, мол, как ты меня потчуешь, кусок в горло не идет.— Ждут, когда вся Сибирь за дело возьмется.

— Кто ее угадает, Сибирь-то, дикой наш край.— Наталья вздохнула и глянула на мужа с покорностью и раскаяньем.— Сибирский народ вольный, если что не по нему — спину покажет, кланяться не будет.— Заметила, что Бабушкин оставил пельмени, не съев и половины.— Не по вкусу тебе мое, Иван Васильевич?

— Напротив, превосходные пельмени. Я едок никудышный.

— Болеешь?

— Тороплюсь.— Он рассмеялся: — Самому обидно: встал от стола и не вспомню, что ел.

Сколько раз корила его Паша, что ест словно сослепу, не жадно, а именно торопливо, будто ждут его под дверью. Бывало, на Охте мать успокаивала Пашу, говорила, что так сызмальства повелось — жадности в нем не было, го-

лод бывал долгий, а кусок маленький. Мать вполовину права: привычка детства миновала бы, не приди другое: все бегом, чтобы на пустяки и минуты лишней не ушло. В торопливость, в небрежение толкала и скудость: долго ли расправиться с ломтем хлеба! Попадая изредка в чужой уют, он втайне чувствовал себя чужаком и видел рядом с собой Пашу, ее знаки ему, чтоб не печалился, делал свое твердо, как решено между ними, и все сладится; вспоминал их скитальческую жизнь, неуют, несытость и проникался новой нежностью к жене за то, что она без жалоб и без тайного недовольства разделила его существование.

Взволнованный, он подошел к окну: внимание привлекла женская фигура, что-то знакомое почудилось в неспокойном движении головы. Женщина нерешительно повернула, пошла обратно, приблизясь к дому кочегара, стала спиной к нему, руки упали вдоль тела; усталость, беда, тщета усилий были в ее опущенных плечах. На ней мужское пальто, фетровые боты, все чужое, незнакомое, и какая-то во всем нескладность, мешковатость.

Женщина, будто чужой взгляд достиг ее, обернулась к Бабушкину, к окну, где стоял он. Не отшатнулась, узнав, не обрадовалась, глубже втянула голову в плечи; темные, огромные на бескровном лице глаза смотрели на него горестно, а вместе с тем и удивленно, будто искала она не его. На призывный жест его руки не ответила, стояла окаменев.

Бабушкин выбежал на крыльцо. Женщина не двигалась: это была Маша, ее глаза, ее истончившийся нос на худом лице.

— Марья Николаевна! — окликнул ее бегущий Бабушкин.— Почему вы здесь? Что случилось?..

Она плакала молча, кусая губы, изламывая темные, поседевшие от инея брови. Затрясла поникшей головой так истово и резко, что волосы упали из-под платка на лоб, и в них открылась седина.

— Идите!..— Голос ее прозвучал властно. И когда он послушно повернулся, Маша сказала ему в спину: — Простите мне слезы... Забудьте о них, Бабушкин. Идите!

Бабушкин убыстрил шаги, а Маша все еще оставалась на месте. Оттого, что он уходил по морозу без верхней одежды, сведя лопатки, вынужденно, словно против воли, спиной к ней, глазам снова представилось страшное — таежное, ночное, увиденное в дверную щель теплушки.

— Не узнали? — спросил растерянный Бабушкин у хозяев.— Помните, квартирантка ваша?

Наталья бросилась навстречу, привела Машу, ласково подталкивала ее, разматывала платок, расстегивала, как на маленькой, костяные пуговицы перешитого из путейской шинели пальто, касалась поднятого защитно плеча, острого, угловатого под синим сукном глухого платья. Усадила поближе к медному кипящему самовару, и Маша медленно отходила в тепле. Порозовело исхудавшее лицо, обозначились морщины, которых прежде не было,— вниз от крыльев носа, тонкий рубец на лбу у правого виска и два свекольных пятна на обмороженных щеках.

Наконец Маша заговорила, и Бабушкин, привыкший на Ленском тракте к ее голосу,— а голос Маши лучше глаз и игры лица выражал ее натуру, ее незащищенность и мгновенные перемены настроения,— сразу почуял непоправимость беды и ее потрясение, оно ощущалось и в пугающей краткости, сухости ее рассказа о таежной расправе, и в том, как она, боясь новых слез, избегала сострадательных слов.

Запричитала по старику Наталья — сызмальства росшая без отца, она привязывалась к старикам доверчиво и навсегда,— повинно наклонил голову Абросимов, Бабушкина толкнуло к окну, он посмотрел туда, где несколько минут назад заметил Машу,— не привиделось ли ему все это? — и вдоль стены, держась ее рукой, прошел к двери, остался в темных сенцах, прижимаясь лбом к каменно-

тяжелой шершавой глиняной корчаге, стоявшей на полке. Не ощутил ее ледяного прикосновения, отчаивался, что не сумел остаться, смотреть в глаза Маше, испугался новых слез, но уже не ее, а своих. А слез не было, как и в тюремной камере, когда узнал о смерти Лидочки, к сердцу и к горлу, и к самому дыханию подошло что-то потруднее слез. Не слышал, говорят ли за столом или молчат, не принимало ухо и внятного недоброго натиска ветра, сухого шороха снежной крупы о наружную дверь,— остались только печаль и ярость, горькое сожаление, несправедливая и все же грызущая мука, что от этого боя он ускользнул, ушел, без умысла, но ушел, выбирал себе трудную судьбу, а выбрал легкую, выбрал жизнь...

Когда собрался с силами и вернулся в избу, понял, что времени прошло совсем немного и за столом все еще молчали, тревожась и недоумевая, зачем он ушел.

— Когда это случилось? Когда и где? — он словно допрашивал, будто имело значение, на какой версте погибли товарищи.

— Не доезжая Кемчуга.

— Сколько верст оставалось до Оби?

— Не помню.

Она помнила: в памяти отпечатался дорожный столб с цифрой 649, и еще пять верстовых столбов до поманившего ее света сторожки, когда она, обессиленная, с окровавленным лбом, упала в снег и поползла. Но что об этом говорить с черствым человеком.

— Почти полтыщи,— сказал Абросимов.

Бабушкин вздрогнул, будто поразился присутствию здесь кого бы то ни было, кроме Маши и мертвых товарищей по ссылке.

— Отчего же офицеры так долго не трогали ссыльных? Чего они ждали? — Здесь была загадка, нечто важное.

Маша смотрела на него враждебно, сожалея, что в доме

Натальи оказался и Бабушкин, с его резонами, допытливостью, холодным сердцем.

— Тебе пора,— глухо сказал Бабушкин Абросимову, достав из кармана часы на цепочке.— Я приду следом: с Осбергом все обойдется, солдаты отвоюют его.

Абросимов ушел, поднялся и хозяин; подвинув Маше стакан чая, взамен остывшего, вышла из горницы и Наталья — суровым молчанием Бабушкин выпроваживал и их.

— Откуда в вас такая уверенность, что все погибли? — спросил Бабушкин.— Вам же встретилась сторожка.

— Мне до нее оставалось шесть верст — им двадцать. Я в пальто, они раздеты.

— Может быть, лесничество, чья-нибудь изба...

— Оставьте ребячество! До самого Кемчуга на пятьдесят верст вокруг — никого. И мороз: трещали кедры, мне казалось, что по мне стреляют.

Даже не беспощадный смысл ее слов, а глубина скорби, ее несомненный, похоронный, подтвержденный временем отзвук ошеломили Бабушкина. Уцелели только он и Маша. Но она была там, приняла бой, свершилась и ее месть, а его не гнали раздетого на мороз, ему не угрожали оружием. Безотчетная зависть к Маше, к содеянному ею проснулась в нем: желание вот так же однажды измерить свою жизнь поступком отчаянным, местью полной и физически ощутимой. Он вздрогнул от этого внезапного чувства. С самой юности понятие д е й с т в и я связалось для него не с дерзким поступком, когда тысячи людей смотрят на одного тебя с преклонением, с гневом или со страхом и омерзением. Истинное действие оказалось протяженным, оно — вся жизнь человека, трудная, опасная работа изо дня в день. Такая жизнь не умаляет риска, напряжение не покидает тебя и во сне, за тобой охотятся, тебя укрывают проходные дворы, лазы в заборах, ты вожделенная д и ч ь филеров и голубых мундиров; пру-

жина сжата туго, до предела, и сжата не однажды, не в недели подкона или в канун взрыва, а постоянно, при каждом твоем шаге, перемене жительства, при каждой конспиративной встрече. Отчего же сердце кольнуло завистью к бедной Маше? Как возникло никогда не тревожившее его желание оказаться не самим собой, а кем-то другим, опустошенным местью, с измученным лицом, с подрагивающей рукой?

— Почему меня не было там! — вырвалось у него с болью.

— Я тогда подумала: почему нет вас, вы нашли бы выход... Но спасения там не было, то, что я жива,— случайность.— Он был теперь открыт ей весь, и его горе, и подспудный огонь, упрямая вера, что он нашел бы выход и спасение.— И я бы на вашем месте страдала,— сказала она совсем тихо.— Минутами я не прощаю себе, что не ушла с ними в тайгу. Но вы не могли знать, что нас ждет.

— Откуда на вас это пальто? — Он показал на вешалку.

— Мне дал его Кулябко-Корецкий: слыхали о таком? — спросила она с вызовом.— И поселил — в доме у Зотова, у Анны Зотовой.

— Где замешивают серу и мастерят бомбы. Зачем вы вернулись в Иркутск?

Она принялась расхаживать по комнате, поглядывая в окна, занятая мыслями, к которым Бабушкин не имел касательства.

— Так приблизиться к России — и повернуть! — недоумевал он.

Маша смотрела на него открыто и трезво, без волнения.

— Может, я захотела повидать вас; случается ведь и такое в человеческой жизни.

— Не верю, Марья Николаевна,— ответил он, помол-

чав.— Вы не из тех, кто поворачивает с полпути... по пустякам.

Маша рассмеялась, и в ее невеселом смехе было мстительное удовлетворение, что она угадала его ответ и оттенок испуга, нелепой угнетенности ее признанием.

— Могли же вы остаться в Иркутске ради миража, фикции! А у меня вполне объяснимое дело. Наше общее с вами дело, долг перед товарищами. Поручик, которого я застрелила, успел назвать второго, на ком лежит эта кровь. Коршунова мне не догнать, а Драгомиров дожидается казни здесь.— Шаг ее убыстрился, будто она уже вышла на иркутский проспект выслеживать добычу: голос понизился до хриплого шепота, глаза горели ненавистью. Что-то зловещее, угрюмое, вдовье окутало Марию Николаевну, убийство уже утвердилось в ней, рвалось наружу, томило ее суставы, жгло изнутри.— Не одобряете! — Она сжала губы, выпятила их, некрасиво кривя, откликнулась его трезвому, недружественному взгляду взглядом презрения.— Разумеется, вы против! Вы рассчитываете победить врага на митингах, апостольским словом! Думаете образумить власти, повернуть скотов на стезю добродетели!

— До этой поры вы не позволяли себе пошлостей,— ответил он холодно.— Ваши слова недостойны.

— Что справедливо, то достойно! — Ее презрение достигло неистовства, между тем оскорбленный и обескураженный Бабушкин чувствовал, что ему нельзя ответить ей той же мерой, нельзя позволить, чтобы выстрел иркутских эсеров открыл дорогу черносотенному погрому.

— Отнять жизнь у Драгомирова — ничтожная цель. Мы должны взять у них все: землю, которую они присвоили, жизнь на ней, все их царство.

— Господи! — горестно воскликнула Маша.— Несчастное племя! Люди, заблудившиеся в словах, как в лесу. Для толпы — все оружие: нож, вилы, выдернутый кол.

Толпа бывает безоружна духовно, когда люди сломлены, задушена гордость. А вы раздáвите тварь, и в считанные дни сделается то, чего вы не добьетесь годами митингов.— Она ждала спора и возражений, ощущала злой прилив сил.— Вы несносный человек. Не хозяин своих страстей, нет, вы раб серой теории, несчастной доктрины. Вы так слепы, что готовы были бы предупредить их о покушении!

— Они и сами знают, что им надо остерегаться, а день и час и мне неизвестны.

Он уклонялся, а Маша испытывала потребность в ранящей боли, как бывает с человеком, которого измучила боль тупая и ноющая, и он ищет спасения в острой, режущей.

— А если бы знали час и место?

Некуда было уйти от ее испытующих глаз, которые и хотели, чтобы он унизился, и чего-то страшились.

И голос Бабушкина прозвучал холодно и резко:

— Если бы убийство полицмейстера грозило нашему делу, жизни сотен или десятков людей, я бы искал средств предотвратить убийство. И не в теории дело, а в разуме и чувстве. Террор всегда вызывал ответную несоразмерную кровь, а теперь она может захлестнуть нас, на десятилетия утопить все, ради чего мы живем...

— Трусы не делают революции!

Маша сорвала с вешалки пальто, отпрянула в сторону, опасаясь, что руки Бабушкина потянутся помочь ей, плечом, слепо толкнула дверь и выбежала из дома.

## 12.

*Мне живо и ярко рисуется один вечер, когда пришлось жить страстями массы заводских рабочих, когда трудно было удержаться, чтобы не броситься в водоворот разыгравшейся стихии, трудно было удержать схваченный и*

*сжатый в руке кусок каменного угля, чтобы не бросить его и не разбить хоть одного стекла в раме квартиры какого-либо прохвоста мастера. Невозможно остаться равнодушным зрителем в такой момент, и много нужно иметь мужества, чтобы останавливать своих же товарищей от проявления ненависти к своему угнетателю...*

*«Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина»*

Будто в спину ударило: холодок прошел по телу, разогретому у самовара в трактире, куда Бабушкин ходил с Алешей Лебедевым перед дорогой,— за ними следили. Почувствовал прежде, чем увидел; в отдалении кто-то двигался в шаг с ними. Бабушкин глянул мельком: мастеровой в короткой бекеше, высокая шапка из черной мерлушки, лицо с запавшими щеками и ненаходчивым взглядом выпуклых глаз.

— Теплынь,— сказал Бабушкин, озирая темневшую улицу.— После чая и холод не берет.

Шпика озадачила беспричинная остановка, он показал тяжелый, носатый профиль, уставясь в витрину булочной.

— Мороз упал.— Алексей не переставая думал о предстоящей поездке в Читу, видел свое победное возвращение в родной город, вагоны, свинцово-тяжелые от винтовок и пулеметов.— Днем старик Казанцев приходил: сказал, что готов газету печатать, если мы решим.

— За нами шпик,— шепнул Бабушкин.

Алексей сбился с шага, так поразил его Бабушкин. О шпиках он наслышан; но чтобы теперь здесь, в Иркутске, за его спиной! Более счастливого дня еще не было в его жизни: через два часа он отправится в Читу за оружием, и точно в подтверждение значительности его новой судьбы за спиной — шпик.

— Урони варежку и нагнись. Погляди на него.

Вид шпика разочаровал юношу, ничего зловещего — заурядный, тусклый человек. А Бабушкин повернул и двинулся прямо на шпика, и тот не нашел предлога уйти, повернуть, стушеваться или идти своей дорогой, не обращая внимания на встречных. Бабушкин приблизился вплотную, заглянул в забéгавшие глаза и громко сказал Алексею:

— Сообщите подполковнику Кременецкому, что его люди плохо работают. Дурно! Теряют след, пьют и шатаются за своими...

— Ни в одном глазу! — потерянно выдохнул шпик.

Его ошеломил громкий голос, сердитый барский тон, с брезгливым презрением кабинетного человека к людям улицы, и крахмальная рубаха с черным галстуком под овчиной смущала агента, будто этот чин затеял маскарад, а он помешал. Глаза незнакомца истязали его открытостью презрения, а вежливое «вы» добило окончательно:

— Вы расстроили всю игру... свинья! Ах, какая невозможная свинья!

Они пропустили вперед шпика, тот неуверенно обернулся и двинулся размашисто, вынув руки из карманов бекеши.

— Вы всегда так с ними?! — упивался Алексей.

— Не приведи господь! В других обстоятельствах, да еще от матерого шпика — только бы ноги унести. Через три забора махнешь, портки в клочья, одна мечта: уйти, сгинуть.— Подспудно его занимало то, о чем в азарте забыл сам Лебедев.— Газеты нам не осилить.

— Столько наборщиков и печатников с нами! И бумагу найдем, ночью газету сделаем — Миша Фролов напишет, он умно пишет...

— О победе над правительством путем изъятия денежных знаков? — добродушно прервал его Бабушкин.— Газету читают тысячи, надо с ними разговаривать честно

и напрямик.— Он убеждал не только Алексея, но и себя: мысль о партийной газете приходила в голову, питерские учителя привили ему вкус к газетному листу, с появлением «Искры» и он стал пишущим революционером, корреспондентом.— Газете нужны программа и лозунг, а к чему бы мы могли призвать иркутских граждан сегодня, 30 ноября?

— К революции!

— О ней твердят и либералы и эсеры. Их перекричать — недолго и охрипнуть, а газета с хрипотцой — несчастье. Газета открыла бы наши беды: что топчемся на месте, не решаемся начать, взять власть. Уже и сейчас трудно напасть на врага врасплох, а ведь он оправится, смекнет, что мы — в обороне...

— Тогда надо звать к восстанию! — Алексей озирался, втайне надеясь, что темная фигура еще возникнет позади.

— Если начинать драку, Лебедев, так с верным расчетом, что на выстрел мы ответим выстрелом, поведем в бой, а не на бойню. Время есть, есть: попадем в Читу, все прояснится.

Времени должно хватить, поможет отдаленность края. В неспокойном затишье пройдет еще полтора-два зимних месяца, когда и природа требует от солдат повременить — пальцы мигом примораживает к железу. Декабрь будет их, и еще январь — сечень, как говаривал дед; «сечень,— упрямился старик на все резоны, отвергая январь,— Васильев-месяц, а в роду у нас всякий мужик или сам Василий или Васильев сын, век на посеке живем, род наш весь тут». И получил дед деревенское прозвище Сечень, а Ваня сызмальства за него горой, и наперекор всем стал величать январь дедовским словом. Сосланный в Екатеринослав, услышал, что и тамошние жители зовут первый месяц года сичнем, почти как дед-смолокур. Сечень соединял в себе такое, чего не было в заемном

имени «январь»,— секущий нахлыст ветра, богатырскую сечу в долинах северных рек, звук речи пращуров, голос славянских племен, не сложивших еще отдельных языков для русских, украинцев и белорусов. И сладко было, что, когда он впервые произнес с е ч е н ь при Паше и осекся, еще робея ее, она не посмеялась над ним, а поправила: «Сичень». «Сечень!» — по-дедовски заупрямился он. «Сичень!» — отозвалась Паша. Сечень — сичень! Сечень — сичень! — и Паша взяла над ним верх, у нее в запасе были и другие имена месяцев, хранящие запахи трав и цветов, и шелест леса, и аромат лип, и первобытность,— лютый, березень, квитень, травень, червень, липень...

У них будет время добыть несколько вагонов оружия для Иркутска, Иннокентьевской, Черемхово и Зимы, и тогда, может статься, граф Кутайсов, как и генерал Холщевников в Забайкалье, отступит ввиду безнадежности сопротивления. Комитет на железной дороге действует осмотрительно: решили было отстранить инженера Свентицкого от управления дорогой, но он, не видя физической угрозы от комитета, отказался выйти из должности, заявил, что в случае насилия откажется подписывать денежные требования и поставит в известность надлежащие учреждения. Комитет уступил, однако отныне все распоряжения Свентицкого, равно как и отсылка служебных телеграмм, исполняются только с ведома комитета, после подписи председателя Исполнительного бюро Хоммера.

Бабушкин опасался эсеров; правда, за свирепой внешностью Кулябко-Корецкого, за его мужиковатыми и эксцентрическими манерами скрывался человек нерешительный, но появилась Мария Николаевна с ее яростью и жаждой мести, которых не насытил бы даже и захват власти рабочими Иркутска. Правительство взбешено Сибирью, вышедшими из повиновения телеграфистами и более всего тем, что революция в Сибири не проливает крови. Пусть бы пал от руки забастовщиков генерал Лас-

точкин, осмотрительный Гондатти, пусть бы пристрелили графа Кутайсова или любого другого сибирского администратора от Томска до Харбина, и тогда Петербургу можно бы вздохнуть, столкнуть под уклон тяжелую колымагу власти, пусть потрещат кости правых и виноватых под ее коваными, в стальных шипах, колесами.

Пока еще власти слабы. Хотя в город прибыли первые эшелоны Иркутского пехотного полка, а по дороге от Благовещенска растянулись еще семь эшелонов 2-го пехотного, Ласточкин освободил из-под стражи арестованных офицеров, едва колонна рабочих и солдат двинулась к мосту через Ушаковку. Странным было это освобождение: запертые с ночи двери камер беззвучно отворились, гауптвахта опустела, выход оказался свободным. Осберг с молодецкой неосмотрительностью двинулся по каменной лестнице вниз, не опасаясь, что, быть может, это подстроено и его застрелят при попытке к бегству.

Почему поторопился генерал Ласточкин? Потерял интерес к своему двойнику, к поганцу поручику, избранному на его, генеральскую, должность? Уступать гибельно, а Ласточкин уступил, и трусливо, не встретясь с поручиком, не пощупав, как обещал, кулаком его асимметричной азиатской — вопреки немецкой фамилии — рожи.

Что за этим: страх или ловушка? Ласточкин ждет войск и молится, чтобы господь послал смирных, верных государю, но услышит ли его господь! Даже старшие офицеры Иркутского пехотного полка, едва прибыв в город, объявили генералу, что им нет дела до старых распрей и они не дадут вовлечь себя в политическую рознь, не выступят ни на его стороне, ни на стороне забастовки.

Время еще есть. Бабушкин отослал Алексея в Глазково, пообещал прийти следом, к отходу поезда...

Никто не отозвался на его звонки. Не откликнулись и ударам в массивную дверь — никто не полюбопытствовал.

Дверь оказалась незапертой: он потянул ее, и она подалась. Пуст коридор, никого в передней, не закрыты двери в кабинет Зотова: дом казался брошенным. Но кто-то ведь жег свет в трехоконной комнате на другой половине, кто-то живой должен здесь быть. Он прошел в столовую, овальный стол под скатертью не убран, сдвинуты грудой тарелки с остатками трапезы; за столовой — еще коридор, слева из-под двери пробивался свет.

Бабушкин постучал, откликнулся женский голос:

— Да. Пожалуйста...— Голос будто удивленный, что тот, кого ждут, зачем-то стучит.

Анна Зотова устремилась навстречу, сухая рука нашаривала пенсне на шнурке, лицо подобрело, пока не надела пенсне, не узнала гостя.

— Здравствуйте,— сказал Бабушкин.— Я хотел повидать Марью Николаевну.

— Маша! К тебе! — бросила она через плечо холодно.

В углу за ширмой горела настольная лампа.

— Кто там, Анна?

— Не знаю...— ответила Анна, хотя и знала: недружелюбный взгляд из-за толстых стекол не оставлял в этом сомнений.

В комнате, наполненной ровным светом поднятой под потолок лампы, среди серных, покусывающих ноздри запахов, среди склянок, металлических цилиндров, назначения которых Бабушкин не знал, стеклянных аптекарских ступ, нескольких метательных снарядов грубой, ноздреватой отливки, в этой невозмутимой лаборатории терроризма Бабушкин вспомнил рассказ Зотова о полицейских чинах, трусливо бежавших из его дома. Время и в этом показывало свою шутовскую, опасную физиономию: что издревле совершалось в глубокой тайне, делалось теперь

открыто и дерзко; над чем трудились в глухом подполье, перешло в дом золотопромышленника, под обнажающий свет ламп.

Бабушкин ждал. Ждала и Анна Зотова, пресекла в себе порыв уйти, показать свое к нему пренебрежение, ждала появления Маши, ждала ее глаз — как поведет себя Маша? Мужчину она угадала еще в тот его приход, когда подкралась босая к двери кабинета, подслушивала, негодовала на уклончивую трусость отца; еще не видя посетителя, составила себе портрет более грубый, ждала увидеть наглеца, вымогателя, интеллигента, пустившегося во все тяжкие, а перед ней оказался чистый человек. Все в нем бесило Анну: впечатление нравственного здоровья, спокойствие и то, как он быстро понял и ее судьбу и внутренне отстранился, перестал ее замечать. В ней самой сталкивались многие силы, и всё вразброд, в несогласии, не творя жизнь, а разрывая ее ткани: истязующее недовольство собой, нелюбовь к зеркалам, к зотовскому носу, к плоской груди, которой так недоставало материнства, подозрение, что жизнь пройдет в напрасном ожидании, в готовности принять мужчину даже в Кулябко-Корецком с его круглым брюшком, истерической женой и тремя детьми. А этот сборщик денег в залатанном полушубке, терпеливая скотина, пройдоха, оказался красивым, открытым и уверенным.

Маша медлила; может быть, подумал Бабушкин, она разглядела его в щелку и колеблется, выйти ли к нему?

— Господин Бабушкин ждет.

Анна хотела увидеть их встречу. Ведь и Машу она могла бы отвергнуть так же бесповоротно, как мысленно отринула Бабушкина. А случилось так, что приняла, и не знала удержу в гостеприимстве, во мгновенно вспыхнувшей ревнивой любви. Почему он пришел, какие тайны связывают его и Машу?

Звякнуло за ширмой, Маша что-то уронила.

— Повымер ваш дом, Анна Платоновна,— показал и Бабушкин свою память.— Хоть святых выноси.

— Отец на рабочие дружины уповает,— уколола его Анна.

— Вы и своими снарядами обойдетесь.

— О нашем доме идет дурная слава, даже прислуга не держится. А вам не страшно?

— Этого — боюсь,— сказал он серьезно, показав на стол.— Опасаюсь, как беды. Как невольного предательства.

Марья Николаевна появилась из-за ширмы собранная, не удивленная его внезапным приходом, и, едва взглянув на нее, он укрепился в подозрении, что опасности надо ждать от нее, не от Анны с ее лепивым, умственным терроризмом.

Лиловая шелковая кофта, узкая в талии, со свободным, в кружевах, воротником, нарядная, в сборках, юбка, из-под которой едва выглядывали замшевые острые носки ботинок, и прическа матроны — тяжелый узел волос, собранных на затылке, не прибавили Маше домашности: потемневшее худое лицо, сведенные брови, прямой и отвергающий взгляд обещали трудный разговор. Бабушкин снял полушубок и, не найдя в комнате вешалки, бросил его на спинку стула. Сказал с оскорбительной для Зотовой резкостью:

— Прошу вас, Анна Платоновна: оставьте нас одних. Обстоятельства не оставляют мне времени.

Все было нестерпимо для Зотовой: настойчивый выпроваживающий взгляд и то, как он, не глядя, притянул к себе свободный стул, показывая нетерпение. Маше бы следовало оскорбиться, отплатить Анне солидарностью за привязанность, но она молчала, и Анна ушла, странно поведя головой — вниз и в сторону, и рывком вверх, будто понуждаемый уздой конь.

— Вы хотели сесть — садитесь, не смущайтесь,— ска-

вала Маша негромко.— Я просидела несколько часов, не разгибая спины.

— Они и вас засадили за это? — Он сел, показал на склянки и аптекарские весы.

— Меня берегут, вы знаете, для чего. Согреть для вас чай? Не хотите... Технологи у них есть, технологов так много оказалось в бедной России! — Она потянулась к лежащей на плюшевой скатерти бомбе, коснулась ладонью неровной поверхности.— Хорошо, когда снаряд шероховатый, иначе пальцы могут соскользнуть. Но и это выходит из моды.— Она отняла руку.— Хороший револьвер безопаснее, меньше рискуешь.— Она не щадила его, возвращала к неизбежности шага, который он считал гибельным.— Читаю «Дон-Кихота», над ним и оцепенела,— продолжала она.— Гимназисткой еще проглотила и не придала значения. Вы перечитывали после детства?

— Читал однажды и взрослым уже человеком.

— Заметили, что книга имеет отношение к каждому из нас? К нам особенно!

— Не примерял доспехи рыцаря на себя.

— Но как же, Бабушкин! — почти страдала она.— Вот вам высокий пример жизни: есть цель и вера, и поступаешься всем: хлебом, рассудком, самим существованием. Чьи же доспехи вы надели бы на себя?

— Мне нравился Овод, потом его затмил Спартак. Там мощь в самóм народном движении.

— Но разве в сердце нет места нескольким героям!

— Мне по душе Спартак,— упрямо повторил Бабушкин.— Или уж Санчо Панса с его трезвым разумом.

Маша смотрела на него с сожалением, тщетно стараясь протиснуться в его неуютный и неприветливо-жесткий мир. Как часто, забываясь, она относила этого человека к своему кругу, наделяла детством, похожим на ее детство, с сумеречной тишиной отцовского кабинета, с мягким блеском стекол, закрывавших книжные шкафы, с

собственной этажеркой любимых книг. Он сам тому виной — его ум, превосходная, не испытывающая затруднений речь, цепкая, ничего не роняющая память. И только изредка, обидевшись на что-то, Бабушкин вдруг намеренно огрублял речь, словно возвращался в Тотьму, к земле, к лесной смолокурне, и тогда ей открывались в нем простонародные черты и спор заходил в тупик.

— Вы уезжаете?

Он внутренне вздрогнул: как она могла угадать?

— Не удивляйтесь, я ведь тоже стараюсь мыслить и умозаключать. Вы сказали Анне об обстоятельствах, которые не оставляют вам времени, а что еще это значит, если не отъезд. И в вас кроется уже дорожное нетерпение, я помню вас в дороге. В Россию? — спросила Маша.

Он покачал головой. Шел, готовый к оскорбительной ссоре, а встретил почти участливый интерес.

— Значит, в Забайкалье,— заключила она.— Хотите получить оружие, а оно там. И как всегда, самое трудное — на себя. Черная прислуга революции!..

— У нее не бывает прислуг.— Он порывисто поднялся.— Это потребует двух-трех недель; дайте мне это время.

— Просите об этом не нас, а генерала Ласточкина.

Она отрезвляла его не тем, что отсылала к врагу, а переведя разговор с себя на организацию эсеров.

— Власти не решатся действовать без уверенности в успехе,— сказал Бабушкин.— А вы одним гибельным шагом...

— Бабушкин! — Она протестующе вскинула руку.

— Одним *предательским* шагом,— повторил он, чтобы не было сомнений и в его решимости,— разрушите всё.

— Не пришлось мне повидать вашу Прасковью Никитичну,— Маша недобро усмехнулась.— Может, через нее я и вас поняла бы наконец. Кто вы? Аскет? Убийца собственных страстей? Славную женщину прогнали из гор-

ницы среди ночи... Потому и не любите рыцаря из Ламанчи, что у вас все справедливо, логично и жестоко!

— Любовь не раздают, как милостыню.

Сказал и пожалел; лучше бы смолчать, не трогать той деревенской женщины, с чашкой меда в руках. А Мария Николаевна сжалась защитно и жалко, подняв плечо, как горбунья, будто он и метил в неё, ей преподносил урок морали. И она ответила грубо, только грубость и могла защитить ее:

— Солдатка не любви просила: не души вашей.

— Души, Марья Николаевна. Души! Она превосходная, чистая женщина.— Он шел напролом, отнимал у нее иллюзию, что она поняла Катерину, что ее сочувствие к славной женщине — полное, высшее.— Эта женщина...

— Катерина! — перебила его Маша.

— Да, Катерина,— не понял ее Бабушкин.— Все черные силы соединились, чтобы задушить ее в селе, которого имени мы с вами в памяти не удержали. А у нее первая мысль — одарить другого, кусками поделиться, и впереди всего — потаенное желание: найти в человеке душу. Она богаче меня! Таких людей тысячи и тысячи, неграмотных, не повидавших другой жизни: ну и что...

— Уходите! — Она повернулась к нему спиной и отошла к окну.— Уходите!

— Вы сказали, что до Красноярска ссыльных встречали рабочие, были митинги, значит, вы видели, как растет движение...

— Чего вы от меня хотите? — перебила его Маша, руки ее вцепились в кружевную занавесь.

— В память о старике, в память обо всех замученных — не торопитесь!

— Чего я должна ждать?

Она справилась с женской обидой и повернулась к нему со строгим лицом.

— Я вернусь из Читы с оружием.

— И отвоюете власть?

— Отвоюем, сделаемся властью, если тысячи рабочих будут вооружены и солдаты с нами заодно.

— Мечты! Генерал Ласточкин и жандармы будут драться до последнего патрона.

— Но пусть бой начнется, когда это будет выгодно нам. А вы можете втянуть нас в проигранный бой.

— Неужели вас привел сюда страх?! — Презрение и отчужденность снова владели ею.— Болото, заурядное российское болото... уродливые потуги сибирских цицеронов, кучка заносчивых телеграфистов, готовых умереть в страхе от собственных дерзостей... Россия слышала другие взрывы, теряла не захолустных полицмейстеров, а царей! И никто не казнил за это осторожных агитаторов. Нет, послушайте! — не дала она ему вмешаться.— За убийство Драгомирова заплачу жизнью одна я, даже за помазанников божьих убивали не тысячи, убивали героев, а толпа шарахалась, проклинала своих святых...

— Сегодня ответом на террор будет не одинокая виселица, нет, и не суд присяжных. Расстрелы без суда, залпы, жестокие, слепые покарания, трупы на улицах, вот каков будет ответ.

— Вы прорицаете, как Кассандра, и все у вас черное.

— Страх перед вами уже привычный, да и чем-то же надо жертвовать, ну хотя бы Драгомировым. А страх перед народом, перед забастовщиками, перед непокорным солдатом — это страх отчаянный, новый, жизнь вынимающий из дряхлого тела. Его одинокой виселицей не заглушишь, много нужно пролить крови, чтобы почувствовать себя в безопасности.

— А взяв власть, вы дадите мне убить полицмейстера?

Она задала вопрос деловито, прислушиваясь к шуму в сенях.

— Без суда — нет. А после суда...— Он пожал плеча-

ми.— Если вам будет угодно взять на себя исполнение приговора...

— Вы не смели прийти сюда после того, что было утром... Странный, дурной человек!

— Сердцем вы ждали моего прихода: это теперь вы говорите — не смел. Смел! И вы не удивились моему приходу: вас мучают сомнения. Не верю я вашему спокойствию, не верю и боюсь за вас. Да, не кривите рта, за вас тоже боюсь, хотя вы ищете смерти, а больше всего страшусь за судьбу дела, ради которого мы живем.

Она метнулась к столу, схватила один из приготовленных снарядов и вложила его в ладонь Бабушкина.

— Ну?.. Никакой перемены, никакого освобождения?

— Еще уроню,— скучно сказал Бабушкин.

— Ничего: она не вполне приготовлена.

Он приподнял бомбу на высоту глаз, чтобы разглядеть ее взглядом мастерового, знающего цену литью и чеканке, и в это время распахнулась дверь, в комнату вломился хмельной Зотов. Следом вошла Анна и плоскогрудый чиновник, серый, перхотный, с неуверенным и недобрым взглядом маленьких глаз за стеклами пенсне. Приметив поднятую бомбу, Зотов шарахнулся, осел, будто собрался вприсядку, и прикрыл лицо круглой бобровой шапкой. Продержался так несколько секунд и стал хитро, играя, сдвигать шапку, открыл кобылий ошалелый глаз: гость бережно укладывал снаряд на скатерть.

— Обманули старика,— сказал Зотов недобро.— Обещались охрану, а теперь сами за бомбы принялись. Ну-ка я вас к ответу, в суд, в участок закатаю!

— Извольте: хоть к мировому, хоть к самому господину Кременецкому, мы с ним давние знакомцы.

— Энергии, говорят, недюжинной,— оживился Зотов.— И дело знает, не чета сибирским увальням.

— Кременецкий — гончая, а этот — заяц,— потешалась Анна.

На подпитии, в расстройстве ума, в Зотове прорвался мужик — в мочальной всклокоченной бороде, в том, как он переминался с ноги на ногу, в ошарашенном взгляде.

— Дворника! Дворника! — крикнул он, всхлипнув.— Эх, кабы нам дворников вдоволь, да чтоб с разумением и глаз верный!..— Взгляд его упал на спутника Анны и зажегся ненавистью.— А ты ходишь... сторожишь... гиена смрадная... гниль! Видал это? — Он выбросил вперед прыгающую, со сложенным кукишем, руку, которой уже и подпись на денежных документах не под силу.— Не держать тебе приданого за ней... в землю закопаю... ему,— он показал на Бабушкина,— отдам, пусть хоть всю губернию под ружье ставит, а тебе и целкового не будет. Брысь!

Анна гневно вскинула руку, не приближаясь к отцу, но так, чтобы он видел, что она бьет, бьет отца, презирает и бьет. И Зотов ошалел от ярости, ухватился за массивный стол, немного приподнял, но что-то остановило его — стронувшиеся с места метательные снаряды или стеклянный звук ударившихся сосудов. Он испуганно отнял руки, грохнув об пол ножками стола и с криком: «Прокляну-у!» — выбежал из комнаты.

## 13

*Приехал из Омска офицер, переодетый в штатское, и привез телеграмму государя о назначении Ренненкампфа для обуздания социал-демократов. Не понимаю, почему именно они п е р е о д е в а ю т с я, когда все ездят по железной дороге свободно?*

*(Запись в дневнике главнокомандующего генерала Линевича от 27 декабря 1905 г.)*

Он приказал ссыльным сбросить верхнюю одежду, с него же содрали все, белья не оставили. Вместо егерско-

го — сунули холщовое, ношеное, в синюю полоску, и Коршунову казалось, что оно разит чужим пóтом и его покусывают хоронящиеся в швах вши. Штабс-капитан повертел в руках приличные штиблеты, поглядывая на голые ступни подполковника, и отставил их в сторону, будто и они не по чину Коршунову, дал сапоги, и пришлось плисовые штаны сунуть в голенища, под шерстяной носок и онучи. «Сволочь!» — выругался про себя Коршунов, но подумал, что в сапогах теплее ехать через Сибирь в Харбин. Даже после пяти суток дороги, сойдя с поезда на станции Чита-город и ступив на привокзальную Атамановскую площадь, Коршунов недобрым словом поминал неизвестного мещанина, чья шкура — белье, обвислый триковый пиджак и плисовые штаны — верно служила ему.

В сумеречный декабрьский полдень он достиг столицы Забайкалья, где живет и не правит губернатор Холщевников. Почти месяц назад в Харбине, напутствуя Коршунова, генерал Надаров отозвался о Холщевникове презрительно: «Казаком и не пахнет: ему бы в свитские, в шаркуны. Жену взял из немок, и самому бы в лютеранские попы. Немки любят красивых жеребцов на амвоне!» Тогда по пути в Россию эшелону георгиевских кавалеров не пришлось задержаться в Чите: в глухую ночь Холщевников появился на перроне, прискакал в сопровождении нескольких офицеров, и прохаживался с Коршуновым вдоль состава, отрешенный, занятый посторонними мыслями. Спрашивал о Харбине, много ли еще в Маньчжурии войск ждет отправки, но ответы слушал плохо: высоченный, в серой папахе и светлой на меху шинели, со скользящим по перрону шагом, он двигался, словно привидение, и было странно, что с ним запросто здороваются ничтожные чины забайкальской дороги и он кивает в ответ. Холщевников сказал, что его дом неустроенный, без хозяйки, она болеет и теперь в Швейцарии, в Веве, а время такое, что края не бросишь, хотя и надо бы, состояние ее плохое; в Чите пока

что на санях не ездят, снег сухой, смешивается с песком, в нем ноги круглый год вязнут, вязнут; что на станции он случайно, об эшелоне не знал, но полковник Дориан, командир третьего резервного железнодорожного батальона, доложил ему о захвате 800 винтовок, винтовки взяты Советом рабочих дружин, и двое зачинщиков, Костюшко-Валюжанич и оружейный мастер Греков, оставили расписку, обещали возвратить все оружие по миновании в нем надобности; что Греков минуту назад прошел мимо них по перрону, а у него нет власти схватить преступного оружейного мастера, взять заложников, заставить вернуть армейские винтовки... Тогда не запомнилось лицо Холщевникова — только общее впечатление потерянности, блеклых глаз, темных ноздрей над обледеневшими усами.

Теперь у него к Холщевникову важное дело и право говорить как с равным — пусть примет в своем казацко-немецком дому смазные сапоги и послушает, что ему скажет человек в плисовых штанах.

Коршунов смешался с толпой. За дорогу он оброс щетиной с заметной проседью, живот подтянуло голодом, и не только живот,— из него ушло все лишнее, избыточное, теперь он живая машина из сухожилий и мускулов. Голодный блеск в оливково-темных глазах, деятельный, рыскающий наклон туловища, сильный мах обезьяне-длинных рук в грубых рукавицах, голодное шевеление челюстей, словно в предвкушении куска хлеба, роднили его с читинской толпой, с азиатской Русью, с вывеской лавки купца Спиро Юсуп Оглы на привокзальной площади, с кучками горожан у «Российского подворья» и у «Даурского подворья». Город лежал под защитой лесистых сопок, небольшой, но просторный, лавки здесь победнее иркутских, рубленые дома в один этаж, будто нескончаемая рабочая слобода, а здания в два и в три этажа, каменные или из лиственничных кряжей, наперечет.

В последний раз Коршунов всласть поел в вокзальном ресторане Омска. Штабной офицер Сухотина настиг его на телеграфе — Коршунов подавал телеграмму домашним в Екатеринбург — и объявил приказ остаться в Омске, отнял у служащего телеграмму, прочитал ее, изорвал и сказал загадочно: «Не придется... Не придется...» Коршунов вздрогнул: ссыльные! ссыльные! — пронеслось в голове, кто-то из них спасся, донес о расправе, и теперь генералы пожертвуют им, чтобы задобрить забастовку, доказать, что на святой Руси есть суд и закон.

Его усадили в сани и повезли в город, а перед глазами все стоял разреженный строй елей, мелькали уходящие на смерть люди. Смятение вошло в него задолго до Омска, на станции Тайга. Брегет Коршунова бесстрастно отмерил один час стоянки — для него же время растянулось непомерно. Встали годы и годы, давняя пора на топком, среди низкорослых берез, пространстве, скоротечная связь с сестрой железнодорожного инженера, и отставка — оскорбительная, беспричинная,— потеря к нему всякого ее интереса, и его мольбы, его ничтожество, и быстрый, в отместку, брак, его супружество без страсти, из одного опасения, что когда-либо может повториться подобная слабость воли и чувств. После он не раз бывал на станции Тайга, отошел сердцем, увидел другим березовый лес вокруг и растущий среди пней и болота поселок, веселый изгиб путевой ветки, которая вскорости пролегла от Тайги в губернский Томск. Коршунов, для которого была желанна машинная музыка мастерских инженера-механика Кнорре на левой Томи, где работали железо для мостов через Енисей, Березовку, Большую Урю, Китой, видел, однако, перст судьбы в том, что чугунка обошла Томск, легла на целых 90 верст южнее. Что к Томску повели от магистрали ветку, Коршунову казалось разумным,— чугунка замирала на равнине, в двух верстах от города, почтительно не решаясь приблизиться к устью Ушайки,

к реке Томь, к Базарной площади, к Воскресенской горе, к часовне Иверской божьей матери, к Заозерному предместью, к Ямам и Кирпичам, к новопостроенным зданиям Магистратской, Миллионной, Спасской и Почтамтской улиц, к соборам и церквам, к гимназиям и университету. Томск всегда виделся Коршунову последней его житейской пристанью, вернее, государственным поприщем, когда он, генералом, выйдет в отставку. Если не Петербург, тогда Томск, не Малороссия, не немецкие майораты на Финском заливе, а Сибирь и в ней — Томск. Стоянка на Тайге поколебала и эту его мечту: знакомый начальник станции поведал ему невеселые новости. Томск сегодня не последний из сибирских зачумленных революцией центров, город избирает комитеты, Советы, формирует рабочие дружины. Оставался Омск — последний из сибирских городов на пути Коршунова к родному Екатеринбургу, но именно Омск и остановил Коршунова ударом: взял под подозрение, бросил в сани рядом с молчащим штабс-капитаном.

Привезли его в дом генерала Сухотина. Старик взглянул на него хмуро из-под седеющих бровей, сказал недовольно, еще до формального представления: «Вам придется вернуться, подполковник». Сибирский командующий, опершись рукой о стол, другой шарил по нагрудному карману, что-то нащупывал за тонким сукном. В кабинете зажжена лампа, ставни закрыты, хотя еще не наступила темная пора. «Слушаюсь, ваше превосходительство!» Сухотина Коршунов знал по портретам, ждал нрава крутого, несогласного на потачки черни, а он закрылся в доме под охраной взвода солдат. Сухотин ждал, приглядывался, и Коршунов заговорил: «Такова была воля графа Кутайсова,— солгал он.— Я не сразу согласился». Генерал слушал, будто знал, о чем говорит Коршунов. Пришлось рассказать — коротко, не утаив и потерю двух человек, но так, будто ссыльные напали первые, убили поручика и унте-

ра. «Вы уверены — никто не спасся?» «Таких чудес не бывает! — воскликнул ободренный Коршунов.— На десятки верст — тайга, а я приказал отобрать и спички». «Оставим мертвым их заботы.— Сухотин осенил себя крестом.— Эти ваши — самоубийцы, а сколько напрасных жертв, какое ужасное нестроение общества! Вы доставите в Харбин генералу Линевичу пакет. По пути остановитесь в Чите у Холщевникова. Переоденетесь в цивильное платье сообразно роли, какая вам по натуре.— Он пригляделся к Коршунову оценивающим взглядом.— Ну-с, откупщик, подрядчик... управляющий имением. А лучше — из торгующего люда, из мещан, поближе к толпе. Депеша, которую вы повезете, отправлена и телеграфно, но если ваш пакет окажется счастливее телеграмм, вы вернетесь в Петербург полковником».

Не то что пронесло — еще и солнце воссияло над Коршуновым. Ему дали заучить депешу на случай, если придется уничтожить пакет, и, спрошенный меньше чем через час, он доказал, что выбор сделан верно: не сбиваясь со строки, он повторил штабному офицеру текст телеграммы государя императора:

*Продолжающаяся смута и сопротивление законным властям служащих на Сибирской магистрали ставят армию и государство в ненормальное положение и задерживают эвакуацию войск.*

*В устранение столь исключительных обстоятельств повелеваю: безотлагательно возложить на генерал-лейтенанта Ренненкампфа восстановление среди всех служащих на Забайкальской и Сибирской железных дорогах полного с их стороны подчинения требованиям законных властей. Для достижения этого применить все меры, которые генерал Ренненкампф найдет необходимым для исполнения поставленной ему обязанности.*

*Мятежный дух среди части телеграфно- и железнодорожных служащих, необходимость обеспечить и вывести*

*армию из ее тяжелого положения побудят доверенного мною генерала не останавливаться ни перед какими затруднениями, чтобы сломить дух сопротивления и мятежа.*

*Повелеваю вам выделить в распоряжение генерала Ренненкампфа необходимую ему надежную вооруженную силу в размере по его усмотрению. В его же распоряжение назначьте инженера, офицера генерального штаба и лиц по его выбору.*

*Деятельность генерала Ренненкампфа, направленная главным образом к железнодорожным служащим, должна быть согласована с деятельностью в этом направлении начальника тыла армии и главного начальника Сибирского военного округа, но в случаях, не терпящих отлагательств, действия по восстановлению законного порядка на линии и подчинению их требованиям властей должны быть им принимаемы вполне самостоятельно, руководствуясь стремлением обеспечить армии и правительству беспрепятственное пользование железною дорогою и телеграфом.*

*Всякое вмешательство постороннего и законом не установленного влияния на железнодорожных служащих и телеграфистов должно быть устраняемо быстро и с беспощадной строгостью всяческими мерами.*

*Передайте Ренненкампфу, что я и Россия ожидаем от его энергичной деятельности быстрого и окончательного выхода из тяжелого и ненормального положения, в котором находится в настоящее время эта важнейшая государственная линия благодаря смуте железнодорожных служащих и подстрекательств извне. Мои повеления приведите в исполнение безотлагательно* [1].

---

[1] Коршунов не мог знать, сколь многие лица были вовлечены в эту гонку, сколь многие, не подозревая о его существовании, стремились опередить его на пути к генералу Линевичу. Только посол России в Китае Покотилов сообщал военному министру Ре-

Он повторял и повторял слова депеши, не из страха забыть, а по охоте: они проливали успокоительный свет на его жизнь и поступки. Собственной волей в ночной тайге он приступил к тому, что государь теперь, в крайности, решился потребовать от нераспорядительных генералов. В теплушке были худшие из людей, посторонние Сибири, пришлые подстрекатели, на кого государь призывает кару без промедления, беспощадную, всяческими мерами.

Услышал Коршунов и другую новость: навстречу Ренненкампфу тронутся из Москвы два эшелона карателей под начальством генерал-лейтенанта барона Меллера-Закомельского. Барон собрался в считанные дни, к его услугам все арсеналы и все средства Московской и Самаро-Златоустовской дорог, пулеметные команды, полевые жандармы, отборные роты пехотинцев, лейб-гвардия, семеновцы, артиллеристы при горных орудиях, чины военно-судного ведомства и деньги, не знающие счета деньги. Слух о монарших щедротах облетел офицерскую Россию еще прежде, чем Меллер-Закомельский прибыл из Варшавы в Петербург и водворился в гостинице «Франция»: офицерам — подъемные в размере четырехмесячного оклада, двойные прогонные, барону — подъемные по его собственному желанию и одних неподотчетных, именуемых экст-

---

дигеру о том, что отправил высочайшую телеграмму, начавшую свой кругосветный путь в Эйдкунене, куда его доставил петербургский фельдъегерь, через Шанхай на пароходе Северного телеграфного общества с главным местным директором господином Бернером, выехавшим для починки кабеля во Владивосток, откуда телеграмма может беспрепятственно быть передана Линевичу в Харбин; через китайское министерство иностранных дел, пользующееся услугами гиринского дзянь-дзюня; через управляющего консульством в Инкоу; также через Инкоу со слугою Чжоумяня, преданного России даотая, и, наконец, с нарочным через Синминтин и Тяндзинь. Кроме того, телеграмма была послана также через Лондон и Нагасаки.

раординарными, на первые только шаги — 50 тысяч рублей. Молва умножала тысячи в десятки раз, смущая людей сдержанных и разливая желчь у корыстолюбивых. Коршунов чужим деньгам не завидовал и в немецкий поезд не хотел. Благодарение богу, служба ни разу не ставила над Коршуновым старшего офицера немца, его нелюбовь к ним не мелочная, это его вера. Черт с ними, с Ренненкампфом и Меллер-Закомельским, они охулки на руку не положат, с немецкой аккуратностью исполнят волю государя, а Коршунову их не надо, у него свое поприще, как раз по нему, по его натуре: в одиночестве Коршунов видел силу. Его бы воля, он и сейчас устремился бы навстречу опасностям, не снимая гвардейского мундира, только бы скорее отсчитывать версты, опередить телеграф, первым явиться в Харбин. Но подошел насильственный маскарад, невольное унижение во все дни пути, вынужденный переход в другое сословие. Ехал он удачливо и в Иркутске не таился, на дружинников смотрел с тайной и мстительной нелюбовью, в мечтах видел их бегущими, а больше — мертвыми. Но Чита, как и опасался, ошеломила...

Прыгнув на ходу с площадки товарного вагона, Коршунов оказался меж двух поездов: за спиной уходил на складскую ветку продовольственный состав, напротив стоял воинский эшелон, самый его хвост, салон с зашторенными окнами. В ушах Коршунова еще отдавался железный лязг буферов, воинский тронулся было, но был резко, как по тревоге, остановлен. Вдоль состава бежал кондуктор с поднятым красным флажком.

Чья-то рука отвела штору в салоне, и прямо против себя Коршунов увидел круглое, апоплексическое, в обрамлении мелово-белых волос лицо генерала Бебеля, непревзойденного в Харбине ругателя и честолюбца. Начальник штаба Восточно-Сибирского корпуса Бебель щурил близорукие безоружные глаза, затем принял из рук адъю-

тапта пенсне. Коршунова он видел в Харбине мельком, в приемных Линевича и Надарова, и узнать его в мешковатом, стоящем на путях мещанине не мог.

Продовольственный поезд уполз, Коршунов спиной ощутил открытое пространство, порыв ветра и настороженно обернулся на возникший говор толпы и топот ног по перрону. Он очутился в толпе мастеровых, железнодорожных служащих, казаков, солдат и офицеров.

Дверь салона отворилась, поручик в наброшенной на плечи шинели боком, поддерживая рукой полы, сошел вниз.

— Что случилось, господа?

— Генерал Бебель задержан в Чите,— объявил поручику стоявший впереди солдат; бледное, в многодневной серой щетине лицо, лоб большой и влажный, то ли в испарине, то ли в тающем снегу, шапка сдвинута на затылок.

— Кто вы такой? — озлился поручик.— Почему в таком виде?

— Полковой писарь.

— Он, видишь, только из тюрьмы,— растолковал кто-то,— из-за решетки: побриться недосуг. Он генерала судить будет.

Поручик недоумевал: в толпе пехотные и казачьи офицеры, а разговор ведет писарь, тюремный сиделец?

— Эшелон должен отойти незамедлительно!

— Уйдет,— согласился писарь.— А генерал Бебель останется впредь до суда над ним. Офицеры, кто пожелает, могут остаться с генералом.

— Это самоуправство! — Поручик попятился и вспрыгнул на нижнюю ступеньку.

— Так решил Совет солдатских и казачьих депутатов и смешанный стачечный комитет.

— Генерал не может быть судим толпой... нижними чинами!

Из толпы вышел человек, которого Коршунов так искал среди ссыльных в ночной тайге.

— Вы, поручик, не заговаривайтесь,— сказал он,— а то угодите под суд вместе с генералом.— Обидным было его небрежение, взгляд, отодвигавший адъютанта с дороги, как ничтожное препятствие.— Потрудитесь позвать генерала.

Чита сразу показала Коршунову устрашающую физиономию — полно, обретается ли еще тут губернатор Холщевников? За все дни от Омска до Читы ни одного знакомого лица, а здесь, не успел оглядеться, а уже и политический из Иркутска, и краснорожий генерал с рачьими глазами.

— Генерал не выйдет... Это невозможно!..— Пятясь вверх, спиной к двери, поручик вслепую нашаривал ручку. Дверь распахнулась, и во весь проем встала коренастая фигура генерала. Поручику пришлось прыгнуть вниз, а следом сошел и Бебель.

— Что-о?! Что такое?! — привычно орал он, оглядывая цепким и трезвым взглядом толпу, солдат своего корпуса, кучкой бредущих в хвост эшелона, слаженный шаг вооруженной рабочей дружины, показавшейся из-за вокзала.— Кто задержал поезд?

И грозному корпусному отвечал все тот же писарь:

— По решению Читинского смешанного комитета и Совета солдатских и казачьих депутатов вы, гражданин Бебель, предаетесь суду за площадное оскорбление служащих железной дороги на станции Харанор.

— Я не подсуден вам! — рассвирепел Бебель.

— У нас больше нет граждан не подсудных народу.— Писарь понизил голос, чтобы сбить с крика и генерала.— В Чите власть народа, и вы будете судимы не позднее завтрашнего дня.

— Я требую губернского прокурора, губернатора Холщевникова, начальника гарнизона! Шорт знает што! —

сорвался он на акцент, хотя до этой поры его отличало только излишне твердое, будто через силу, произношение. Нездорово потемнев лицом, он зашелся в ругани, топая отечными ногами, будто маршировал на месте. Рядом подал голос маневровый паровоз, под вагоны занырнул сцепщик, и пока лязгала сцепка и кричал паровоз, генерал Бебель осипшим голосом поносил смутьянов. Выйдя из толпы, казачий офицер сочувственно прокричал в заросшее седым волосом ухо Бебеля:

— Гражданин генерал, назначьте вместо себя начальника эшелона. Вы оставлены в Чите до суда.

Маневровый паровозик дернул салон, уже отцепленный от состава, поручик вскочил на подножку. Бебель схватился за поручень и упал на колено, уткнувшись растопыренными пальцами в заснеженную щебенку. Из салона соскакивали на пути штабные офицеры. Коршунов предпочел не рисковать: среди офицеров Восточно-Сибирского корпуса были люди, которые узнают его и в мужицком тулупе. Он потихоньку отходил к вокзалу.

Все произошло унизительно быстро. Слова почти не достигали Коршунова, но и без них все было ясно: равнодушие корпусных солдат, нерешительность офицеров, и то, как увели поникшего Бебеля; уверенность бунтовщиков, неучастие ссыльного в перепалке с генералом, будто он явился сюда зрителем и тут не хотел мараться, предоставил писарю, ничтожному, виноватому лицу, радость унижения корпусного. Стыд за баранье покорство корпусных чинов ожег глаза до слез, будто его самого отхлестали по щекам. Мелькнуло в толпе задумчивое лицо ссыльного, он слушал на ходу стройного человека в пенсне, с неброской, от скулы к скуле, бородой, то ли инженера, то ли учителя, слушал что-то веселое, а откликался молча, кивком.

Проглянуло солнце, снег искрился, заголубел свет над темной, в бревенчатых постройках, землей, над проломленными дощатыми тротуарами и мостками, над затвер-

девшими буграми мусора и помоев, над слепыми, с затворенными ставнями, лавками, в которых нечем было торговать. Коршунов взял у разносчиков «Забайкальские областные ведомости» и малую газетку «Забайкальский рабочий», помеченную номером первым. В трактире при «Даурском подворье» нашел еще «Азиатскую Русь» и «Забайкалье». «Азиатская Русь», судя по нумерации, тоже народилась недавно, и Коршунов мстительно подумал, что, чем меньше хлеба у русского человека, тем охотнее набрасывается он на суетные газетные листки.

Из газет он вычитал о ресторане Трифонова, который и в несытую пору предлагал большой выбор блюд и чудеса французской кухни, о деликатесах, полученных лавкой Соловейчика, но не пожалел, что оказался здесь, при дрянной кухне, у сырого, запотевшего окна «Даурского подворья», где ему ничто не мешало готовить себя к встрече с генералом Холщевниковым. Он придет к наказному атаману голодный и злой и в доме Холщевникова не сядет за сытый стол, этой чести он генералу не окажет.

Коршунов прислушивался к голосам обывателей, мужиков, прибывших в Читу, чтобы разжиться мукой и пропивающих свои гроши́ в кабаках, солдат, забредших на запах ржаных блинов и прогорклого масла. Слушал сетования на чугунку, что всё чугунка съела, ибо и война в Маньчжурии и засуха последних лет странным образом связались в здешнем народе с появлением в крае железной дороги; жалобы на то, что в целом уезде один сытый на сотню; что богатеют только торговцы да скупщики, а народ нищий, ни хлеба, ни одежды, бабам, тем и перемыться не в чем; и учителя голодуют давно, чуть не с весны. Слушал без жалости к людям, со взвинченным, мстительным чувством: всё поделом, вы и голодной смерти заслужили за потачку бунту! От торговца скобяным товаром, заглянувшего в трактир, узнал, что «Ведомости» редактирует родственник Холщевникова Ар-

бенев, он и проживает в губернаторском доме, но и это еще не диво: с отъездом супруги Холщевникова в Швейцарию — спаси и упокой ее душу, господи! — генерал допустил в свой дом на жительство и другого родственника — паровозного машиниста Трояновского, а казачью охрану снял. «Забайкальские областные ведомости» объяснили подполковнику замеченное им по пути стечение народа у дома губернатора — на первой странице официальное уведомление: *«Генерал-лейтенант Иван Васильевич Холщевников с дочерью и сыном с глубокой душевной скорбью извещают родных и знакомых о кончине дорогой, незабвенной жены и матери — Марии Густавовны, последовавшей после тяжелой болезни в Швейцарии в городе Веве, погребение состоялось там же».* И объявление о панихиде в доме вдовца.

Рука не поднялась ко лбу для креста, Коршунов не нашел в себе сочувствия к чужой потере. Подумал, что генералу далеко за сорок, ранее даже и казакам генералов не дают, значит, и Густавовне под пятьдесят, она свое пожила в чести под русским небом, а помирать в Европу потянуло: уволокла косточки подальше от неудобной, промерзающей сибирской земли, и в самом имени другой земли, где отпели генеральшу — Веве,— чудилось подполковнику что-то скоморошье, а то и собачье, пакостное. Вот и другой немец, приготовившийся пускать кровь по сибирской магистрали,— Меллер-Закомельский выговорил себе не только двойные прогонные, но и (как донесла молва до штаба Сухотина) неслыханное право продать в случае успеха свой майорат и выйти в отставку, чтобы жить за границей.

Газеты пестры, неровны, как дурно пропеченный хлеб, корка то окаменела, сожжена до черноты, то сырая и вязкая, будто и не вдохнула огня. Кто-то хотел сбыть шинель енотовую штатскую при бобровом воротнике, диван турецкий; сулил роскошные дамские пелерины «Гейши Ротон-

ды» прямиком из торгующей Лодзи; кто-то желал, вопреки смуте и неустройству, брать уроки латинского языка; требовали опытную кухарку в дом Опарина по Иркутской улице; трезвого работника, знающего уход за лошадьми; но больше продавали, продавали, продавали — выездных лошадей, кавказскую бурку, башлык, всякую мизерию, которая, кажется, и печатной строки-то не стоит, а то вдруг, как скотину бессловесную, и живую душу: «отдается девочка трех месяцев, Сенная площадь, дом Суворова, спросить во флигеле». Среди либеральных фраз и благостных упований на примирительные камеры для разрешения несогласий между хозяевами и рабочими, среди надежд на то, что демократия примется наконец за искоренение азартных игр и карточных комнат, за починку деревянных тротуаров, ступенек и перил на спусках и подъемах, среди голосов, взыскующих мирной, тихой совместной работы, счастливых тем, что и зорька уже заблестела и солнце не за горами, оно взойдет; среди сетований на фальшивые серебряные рубли топорной работы, на беспатентную продажу спиртных напитков, на погромы, которым невесть почему стали подвергаться дома терпимости — Чебыкиной на Сенной площади и там же, через три здания, заведение Растатловой, среди объявлений о маскарадах, костюмированных балах, представлениях цирка Сержа и драматической труппы Милославского Коршунов находил и серьезное, показывающее, как далеко зашли упадок власти и самоуправство толпы: *«Мы полагаем, что за эти два года жителям г. Читы,*— писала «Азиатская Русь»,— *уже достаточно известна корректность местной рабочей партии, засвидетельствованная даже генералом Холщевниковым. Разве со стороны рабочих были какие-нибудь насилия или угрозы?»* «Забайкалье» сообщало о принятом Холщевниковым решении освободить из Акатуевской тюрьмы государственных преступников — матросов с вос-

ставшего «Прута», и рядом — о захвате мешка почты из Харбина от главнокомандующего Линевича к Николаю II. И хотя Арбенев со страниц областных ведомостей, называя свободу слова и печати *«великими благами»*, предупреждал, что *«пользоваться ими следует осторожно»*, забайкальские газеты запугивали обывателя призраком повального голода, приготовлением законных властей *«к новому беспощадному набегу»*, возможностью разбойного нападения *«шайки вельможных хулиганов на Россию»*.

Но одна газета поставила Коршунова в тупик: малого формата, удобная для руки, набранная той же кириллицей, она будто слетела с чужой планеты. Вот уж где и не пахло суточными щами «Даурского подворья», лежалыми енотовыми шинелями и траченными молью башлыками! Вот где не ползали на четвереньках для устойчивости и не перемежали театрального львиного рыка пением Лазаря.

Кто эти люди и кто их кумиры? *«И всякий раз, когда думаешь о рабочем движении в России,*— прочел Коршунов в передовице газеты,— *хочется сказать: о, если бы были живы бессмертные вожди пролетариата — Маркс и Энгельс, чтобы собственными глазами видеть, как сбываются их предсказания»*. Наслышанный небылиц о русской социал-демократии, Коршунов впервые вчитывался в простые, однако же и весомые, прогибавшие газетный лист и его ладонь строки. Люди, затеявшие издание легальной газеты социал-демократов, не крылись с намерением сделать свое разрушительное учение *«достоянием самых широких кругов народа, перевести его с мудреного «интеллигентского» языка, на котором привык говорить русский человек, применяясь к царской цензуре, на простой, понятный массам язык»*. До этой поры Коршунов полагал, что смута возможна только в формах стихийных, в дьявольском подвиге разрушения. Значит, чего-то власти не задушили в зародыше, не прикончили в темной подво-

ротне, свистнув дворников, околоточных и преданных граждан, дали подняться и набрать силу чему-то новому, и теперь для Холщевникова все позади, все поздно.

И Коршунов решил действовать, не дожидаться темноты, вступить в дом губернатора в толпе скорбящих граждан.

Странная газета с престранным именем «Забайкальский рабочий» не шла из головы, пока он шагал к дому Холщевникова. Как все разъято, разорвано в могучей и несчастливой стране, думал Коршунов с горечью прозрения. Люди не слышат друг друга. Где-то в больном нутре, среди машинной копоти и гари, в фабричных корпусах, на задворках жизни, как плесень, как сатанинские духи, нарождаются какие-то группы, почти неведомые публике, и вот уже они зашевелились, ожили, потянулись грязной рукой сбросить корону с помазанника божьего, требуют не учредительного собрания, а полного народовластия. Как же он, думающий россиянин, человек нового века, пропустил их, услышал их черное слово вдруг, загнанный предосторожностью в «Даурское подворье»? Странно и страшно, что этакое он прочел случайно, в пути, а мог и не прочесть!.. Странно и другое: газета пригасила в Коршунове тревогу за себя, будто лично ему перестал угрожать случайный арест или расправа без суда, будто он попал в край чудный и жестокий, однако же не без своего порядка и законности.

С тем большей силой охватила его тревога за будущее России. До этого дня он полагал, что обе силы стихийные: потерявшаяся власть, надломленный, но с глубокими корнями порядок и темная, взбаламученная подстрекателями Русь. У этой Руси нет надежды организоваться, обрести разум и единое направление, а власти необходимо только немногое, чтобы снова сделаться твердой и грозной. Оттого-то и схватка, по разумению Коршунова, была предрешена: прольется кровь, и земля возродится ею к жизни,

к новому могуществу России. Теперь же и силы крамолы впервые предстали ему угрожающе обдуманными и коварными.

Впереди по Сретенской за сиротским строем тополей, галочьей темной стайкой жались люди к бревенчатому дому. Приблизясь, он услышал смех и бодрые выкрики, хотя на людях лежала печать нужды, платье на них было худое, они прятались у стены от ветра: дом стоял на углу Сретенской и Енисейской, вдоль Енисейской дуло свирепо, обрушивая заряды сухого, розоватого на закате снега. Коршунов прочел на прибитой к углу бляхе, что дом принадлежит второй гильдии купцу Шериху, а затем и крупное типографское объявление: *«Бюро Читинского комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Бюро открыто для приема граждан ежедневно с 8-ми часов утра до 8-ми вечера».* Кто эти люди? Бородатый старик, бурят с маслянисто-смуглым лицом, рослый казак с котомкой за спиной, высокая женщина в черной шали — что привело их сюда? Зачем здесь п р о с т ы е обыватели, ничтожный чиновный люд и люд торгующий, зачем они слетелись на этот обманный, жестокий огонь? Коршунов терялся, будто судьба забросила его в диковинную страну, в выморочную губернию, какой нет и быть не может на святой земле.

У каменных ступеней губернаторского дома Коршунов не успел посторониться: вниз сбегал рассерженный чем-то жандармский подполковник из Иркутска. Не так давно Драгомиров представил их друг другу, но Коршунов не удержал в памяти имени, запомнилась маленькая, ладная голова на высоченном теле, прищур горделивца и южнорусский след в речи. Жандармский подполковник поспешил к экипажу с поднятым верхом, и экипаж запылил по мерзлой декабрьской улице Читы: и тут была чертовщина, сдвинутый, преданный порядок, противность естеству.

Тулуп и шапку Коршунов бросил в передней на попе-

чение горестного старика в серой тройке. В комнатах людно, сдержанный гомон, шелест черных шелковых и муаровых платьев, шарканье ног. Из гостиной в глубину дома распахнуты три двери, зеркала укрыты черным крепом, в траурном обрамлении — портрет красавицы, какие нечасто встречаются, с искрой ума, с веселой готовностью жить и любить и с затаенной во взгляде печалью. Среди офицеров — генералов, полковых и батарейных командиров, армейских и казачьих полковников, поручиков, штабс-капитанов — Коршунов не нашел высокой фигуры Холщевникова. Не было его и со статскими, а они преобладали: взгляд Коршунова резанули инородцы, буряты в европейском платье и ненавистное подполковнику иудейское племя: дородная, в дорогих каменьях, матрона с красивой дочерью, порывистый субъект с адвокатскими ухватками, несколько торгующих господ. Прощающее чувство, навеянное портретом умершей, быстро покинуло Коршунова на запакощенном, зашарканном паркете; он пробирался из комнаты в комнату в поисках хозяина дома.

С Холщевниковым он столкнулся внезапно: генерал провожал из кабинета низкорослого, округлого, розового лицом протоиерея, тут-то и возник Коршунов.

— Здравствуйте, ваше превосходительство. Мне надо с вами уединиться.

— Кто вы? — Он озабоченно свел негустые русые брови.

— Вы видели меня ночью в мундире гвардейского подполковника. Помните эшелон георгиевских кавалеров?

— Голубчик! — оживился генерал.— Погодите... Орлов?

— Подполковник Коршунов.— Напомнил строго и, по привычке, пристукнул каблуками грубых сапог, пристукнул глупо и неуместно при его одежде.

— Что с вами стряслось? Отчего снова у нас, а не в России? — участливо заговорил Холщевников, пропуская

в кабинет Коршунова.— От нас едут, к нам не возвращаются.— Слова эти подвели его к горестным обстоятельствам собственной жизни, и он сказал опустошенно: — У меня несчастье... Умер ангел, лучшее, что было на целом свете, огромность расстояния и тяжкое нынешнее время не позволили мне быть с ней.

— Как некстати, ваше превосходительство!

— Смерть близких не бывает кстати,— ответил он без упрека.— С ней была в Швейцарии моя кузина... всё было сделано хорошо.

— Я скорблю вместе с вами.— Коршунов склонил голову.— Это мой приход некстати, ваше превосходительство.— Они стояли на ворсистом китайском ковре посреди кабинета.— Я наслышан, что у вас много родни и вы не чуждаетесь ее.

— Садитесь,— сказал генерал, заподозрив, что этот человек явился с делом и, быть может, не очень приятным.— Почему на вас статская одежда, подполковник? Вы изгнаны из армии? Или это модный маскарад?

— Маскарад. Противный моему духу, но неизбежный.— Он шагнул к столу со сложенной вчетверо небольшой бумагой в руке.— На мне чужое белье, чужое платье, чужой, быть может, подлый, пот. Сегодня не выбирают, Иван Васильевич, сегодня все непостижимо.

Прочтя бумагу, Холщевников помедлил, сунул листок в бювар, пальцами затолкал его поглубже и вышел из-за стола.

— Я вас слушаю.

— Моя миссия принуждает говорить напрямик. От Байкала и до Читы хозяева дороги — и не только дороги! — не вы, генерал, а рабочая партия. О Чите не говорю, ее унижение безмерно...

— Это так,— перебил его генерал.— Хочу вам заметить, что освободительное движение захватило здесь все классы населения. Даже военный гарнизон не вполне под-

чинен мне. Я полагал, что генералу Сухотину известно наше положение.

— Сегодня на вокзале был задержан корпусной командир генерал Бебель. Эшелон ушел без него.

— Мне говорили, что закон не был нарушен: с генералом обошлись вежливо.

— О каком законе вы говорите?

— Генерал был недопустимо груб со служащими станции Харанор. Самоуправление граждан вправе спросить за это.

Подполковник уставился на губернатора с отвергающей презрительной дерзостью. Заезжий мещанин третировал генерала, наказного атамана Забайкальского казачьего войска.

— Если сюда войдут — я торговец, подрядчик...— сказал Коршунов.— Приехал предлагать муку, пять вагонов муки из Омска.— Холщевников кивком принял условие.— Нет ли и среди скорбящих визитеров комитетчиков из рабочей партии?

— Сегодня двери открыты для всех. Однако этих людей нет: они относятся ко мне хуже, чем я к ним.

Под мягкостью, под сглаживающей волной печали Холщевников показал характер и твердость духа.

— В гостиной я заметил даже чесночных торгашей,— не остался в долгу Коршунов.— Неужто и они званы на панихиду?

Сказано не в запальчивости, не опрометчиво, а с холодным, испытывающим взглядом.

— В этом доме, господин подполковник, никогда не делали различия между людьми разной крови и вероисповедания.

Светский разговор исчерпался; Холщевников не оставил надежды на нравственный сговор. Коршунов и прежде в гарнизонах встречал редких, как альбиносы, офицеров, которых передергивало, едва лишь разговор съезжал

на глумление над кровью. Они ретировались, оставляли компанию под угрюмое молчание или смех офицеров. А этот держался с вызовом.

— Генерал Сухотин утверждает, что к вам на помощь посылали войска, достаточные, чтобы подавить мятеж.

— Мы только провожали войска. У меня никогда не было достаточно сил, чтобы овладеть положением.

В кабинет заглянула дочь Холщевникова, маленькая женщина в черном бархатном платье, со взглядом деятельным и возбужденным церемонией, защищенная от мертвой матери тысячами верст пространства. Генерал отослал ее неожиданно властным движением руки. Так он поступал еще несколько раз, когда кто-нибудь отворял дверь.

— Вы могли подавить бунт одним только Читинским полком. Тысяча триста штыков. Разве не достаточно!

— Для чего — достаточно? Чтобы стрелять? К выстрелам не было дано никакого повода. И Читинский полк не был единодушен — большинство не согласилось бы на братоубийство.

— Вы не отняли у рабочих захваченное ими оружие.

Непривычно было Холщевникову давать отчет в своих поступках чужому человеку в мешковатом платье, однако же он знал, кто этот человек, помнил и Сухотина, его неотступную мстительность.

— У рабочих нет склада оружия, оно в частных домах. Вокруг депо и в слободке Дальнего вокзала проживает больше десяти тысяч человек. У нас нет сил, чтобы произвести повальные обыски.

— А если припугнуть, что разнесете слободку артиллерией!

— У нас нет артиллерии, и в комитете знают, что ее нет.

— Вы отдали типографию, почту и телеграф, по их требованию посылали солдат для охраны города от погромов.

— Почта и телеграф отданы городской думе.

— А она игрушка в руках социалистов! Прежней думы нет.

— Петербург допустил ошибку, освободив сахалинскую каторгу. Я давал солдат, чтобы пресечь ее набеги и резню.

Коршунов дивился самообладанию Холщевникова: ряженый от Сухотина знал все, значит, истина ведома и Петербургу.

— Полчаса назад я имел случай давать отчет в своих поступках,— сказал Холщевников, словно отвечая мыслям заезжего офицера.— Здесь был подполковник Кременецкий. Слыхали о таком?

— Нет,— слукавил Коршунов.

— Печется о крае, а в Сибирь явился за генеральскими эполетами. На физиономии так и написано: провались все, с голоду подохни, а мне подай производство до срока. Я этаких жестокосердых кучеров в казачьем войске не жалую.

Его гнев имел точный адрес: Кременецкий. Коршунов не заподозрил камня в свое окошко, однако сказал:

— Я — сибиряк. Родился на Урале, на высоком пороге Сибири. Вот и облито сердце кровью.

— А сибиряк, так должны знать: у нас издревле ни помещика, ни крепостного. Казак к вольнице привык, для Сибири государев манифест — чудо!

— Но согласитесь, Иван Васильевич,— искал и Коршунов в интересах дела другого тона.— Потому-то и важен каждый шаг. Вы же не только появлялись в заседаниях комитета, но объявили войскам, что впредь до созыва учредительного собрания решения Читинского комитета должны быть для них законом. Ведь в это поверить трудно.

— Непривычно, диковинно, но не трудно. И сейчас они хлопочут, ищут хлеб для голодного края, не ваши пять

вагонов муки от Сухотина! И я буду совместно с ними возить, буду! Не мною сказано: граждане России — должны же монаршие слова иметь вес и цену.

— Не пять вагонов, ваше превосходительство: несколько эшелонов.— Черное лицо Коршунова сделалось непроницаемым.— Они пойдут из России и из Харбина, только без продовольствия. И вы страшитесь не голода, а казни почище сивашской резни Тамерлана!

— Я не могу обвинить их ни в одном насильственном акте.

— Нет нужды в насилии, вы отдаете им любую позицию! Мужики отнимают у государя кабинетские земли — вы молчите, берут телеграф, самый закон, суд...

— Мы призраки власти...— В голосе Холщевникова послышалась подавленность.— Разве Кутайсов хозяин? Разве граф Витте контролирует Россию? Я верный слуга престола и верую в манифест, в доброту государя, в гражданские свободы.

— А они,— Коршунов зачем-то показал на дверь, будто там шептались комитетчики,— в манифест не верят! И двор не верит! Вы между жерновами, генерал. Бунтовщиков нужно подавлять с беспощадной строгостью...

Он осекся, обнаружив, что заговорил словами государевой депеши.

— Это будут делать другие люди.

— Вы, ваше превосходительство, как в воду смотрите.— Он усомнился вдруг, надо ли говорить Холщевникову то, о чем приказано было передать на словах. Сухотин далеко, он не знает образа мыслей генерала, его дурацкой веры в слова государя, случайно оброненные два месяца назад. Можно ли объявить важную тайну в зачумленном доме, где ужились служба и неповиновение, церковное отпевание и печатная крамола?

Дверь в кабинет снова открылась, вошли протоиерей и господин с бородкой клинышком, с легкими волнистыми

усами и такими же волнистыми тонкими волосами на крупной голове.

— Господин Коршунов... из Омска,— представил Холщевников гостя.— Предполагает поставить пять вагонов муки.

— Ржаной! — резко ввернул Коршунов.

— Пора! Пора! — проговорил протоиерей живо.

— Если сделка решена, я напечатаю об этом в газете.— Господин в черной тройке одарил Коршунова не слишком внимательным взглядом.— Публика страшится голода, а это хорошая новость.

— Не торопись, мой друг,— остановил его Холщевников, и Коршунов понял, что перед ним редактор Арбенев.

— Непременно печатайте, господин Арбенев,— сказал подполковник со значением.— Авось и сбудется среди ваших небылиц.

— Простите? — насторожился Арбенев.

— Превосходно сказано у вас сегодня в газете.— Коршунов усмехнулся.— *Называть себя революционером теперь можно так же спокойно и гордо, как вчера — называть себя тайным советником!* Над кем же насмешка — над тайными советниками или над собой? Пугаете либералов или задаете им овса?

— Нужда в хлебе огромная,— вмешался протоиерей,— до того дошло, что просфоры печь не из чего! Намедни настигли отрока в церкви, воровал просфоры и поедал, аки зверь пещерный. Пред алтарем секли, а он ест, ест — и не отымешь, укусить норовит.

Генерал протянул чуть дрожащие руки к светлым, серебряной нити, ризам протоиерея и темному сукну Арбенева и дружески подтолкнул их к дверям:

— Еще несколько минут для дела, и я приду.

Они снова остались одни.

— Святая церковь сечет голодного отрока, а вы, генерал, церемонитесь с преступниками!

Холщевников не ответил, ждал решительных известий, без которых Коршунов не появился бы у него.

— Я имею вам сообщить, ваше превосходительство, что по высочайшему повелению специальные поезда будут отправлены в Сибирь из России, а также из Харбина для покарания бунтовщиков. Генералам, которые поставлены во главе карательных эшелонов, приказано не останавливаться ни перед какими затруднениями, чтобы сломить дух мятежа. Всякое вмешательство посторонних в дела дороги, телеграфа, в управление края будет устраняться с беспощадной строгостью.— Он закончил с оттенком сочувствия: — Не дай вам бог, генерал, чтобы, прибыв в Читу, они застали все то же самовластие черни. А еще не дай вам бог, чтобы генералы встретились в Чите.

— Как будет угодно судьбе,— глухо ответил Холщевников.

— Прощайте, генерал.— Он не протянул руки, понимая, что обременит Холщевникова, двинулся к двери и вдруг остановился:

— Кто у них здесь верховодит?

— Отыщите ротмистра Балабанова, об этом удобнее спросить у него.— Но что-то в Холщевникове надломилось: новость расколола под ним привычную землю. Он не сразу уступил забастовке, отдавал шаг за шагом, разумно, как и следовало патриоту России, отдавал, чтобы избежать крови, худшего, отдавал среди дня, трезво, а ночью терзался тем, что все худо, все рушится, и в далекой Швейцарии, и здесь, что из рук уходит власть, расползается, как гнилая пряжа под пальцами.— Впрочем, могу назвать тех, кого и без меня знает город: Курнатовский и Костюшко-Валюжанич. Вы сибиряк, должны помнить «романовское» дело. Оба проходили по нему. Еще — Попов, Жмуркина, братья Кларк...

— А из пришлых? Из недавних ссыльных? Сероглазый, русый.— Коршунов вдруг отчетливо увидел Бабуш-

кина, не сегодняшнего, а у стены иркутского вокзала, на стуле, сдернувшего в порыве речи шапку.— Косой пробор, роста среднего. Я думаю, два аршина и четыре-пять вершков.

— Вам-то что до них, вы птица перелетная!

— Мне и впрямь наплевать,— Коршунов тихо, удовлетворенно рассмеялся и пальцами осторожно коснулся шеи.— Шее моей любопытно: кто намыливает для нее веревку.

Трое суток не уходили поезда в направлении Харбина. Встречаясь вновь с Холщевниковым, с полковником Бырдиным и ротмистром Балабановым, Коршунов приходил в ярость. Он окопался в «Даурском подворье», час за часом наблюдал новую, ненавистную ему народовластную жизнь Забайкалья, страдал от зрелища содомского города, от своего бессилия, от невозможности прокричать Линевичу через заснеженные сопки и тайгу слова монаршего повеления, от мысли, что его опередят телеграммы, посланные вокруг целого света, обскачут нарочные из Инкоу, Синминтина, Тяндзиня и слуги гиринского дзянь-дзюня.

## 14

Седой, кудрявый, в неистребимой перхоти на муаровом банте и отворотах бархатной блузы, господин Серж, владелец цирка, стоял в проходе из-за кулис на арену в нескольких шагах от Бабушкина. Серж не решался тронуть чужака, спросить, зачем он здесь, не угодно ли ему убраться на галерку, где забайкальский ветер отыскал щели между стеной и крышей и наметает сухой, не тающий в холодном помещении снег. Во всей труппе у Сержа един-

ственный друг — мизантроп клоун Бондаренко. На этих днях публика укротила его: клоун позволил себе выпад против рабочей милиции, намекнул на особо усердную ее службу у Сенной площади по охране ночных заведений Растатловой и Чебыкиной,— а на следующем представлении, едва господин Серж объявил антракт, на опилки вышли трое дружинников, спросили у публики, доверяет ли она дружинам, и потребовали, чтобы клоун извинился, если труппа и гражданин Серж желают, чтобы они и впредь обслуживали цирк, не допуская внутрь безбилетную сахалинскую каторгу. Пришлось клоуну извиниться.

Сегодня после многих дней недоборов цирк полон, хотя и рождество, пост холодный, а нынче еще и голодный, почище Петрова поста, и новый год замаячил,— в такие дни, пообещай хоть убийство на арене, публика не идет — и вдруг забито все, а от Сержа еще и потребовали в антракте отдать арену под маскарадное шествие, с недавнего маскарада в Общественном собрании. Третий день только и разговоров что об этом кривлянии: тощая, с косою в руках, в образе безносой — цензура; старьевщик, торгующий за ненадобностью царскими регалиями; черносотенцы из братства св. Иннокентия... Серж опасается ввязываться в рискованное предприятие, он знает, как неверна фортуна: сегодня посмеялся, завтра тебе же и вколотят в глотку твой смех, да так, что кровью пронесет, еще и выживешь ли. Узрев публику, господин Серж решил, что она сошлась ради маскарада, потешить плебейскую кровь унижением имени государя императора, но открылось ему нечто посолонее: в цирке ждут матросов-каторжан из Акатуя. Дом жандармского полковника Бырдина в трех кварталах от цирка, долго ли сбегать, но Бырдин впервые встретил Сержа нелюбезно, объявил, что не станет вмешиваться, поскольку более трех недель назад губернатор дал согласие на освобождение государственных преступников из каторжной тюрьмы.

Бабушкину из-за занавеса виден смеющийся Алексей, рядом с ним Борис и Павел Кларки и Татьяна Жмуркина. Бледная, с высоким лбом и глубоко посаженными синими глазами, она хороша небрежной, не сознающей себя красотой. Глядя на нее, Бабушкин вспоминал Пашу на Охте после родов и его возвращения из Лондона. При встрече в Питере он ужаснулся, какой нужде обрек Пашу, ладонями обнял ее лицо, согревал, но и прятал виновато от своих глаз голодные ее морщины, напрягшиеся челюсти, острые скулы, близкую, исстрадавшуюся разлукой и неведеньем плоть. При нем успокоенная Паша менялась быстро, даже во сне уходили следы беды с лица, и в чертах его поселялось счастье материнства, его непостигаемая умом мудрость и доброта, все, что он нынче видит и в Тане Жмуркиной. Но в Паше все было тоньше и беззащитнее, по доверчивому, не без робости, ее характеру.

Слева от Жмуркиной свободное кресло для Антона Костюшко, он сейчас ведет прием в доме Шериха, а там засиживаются и до полуночи, пока примут и горожан, и мужиков из окрестных сел, и бурят из ближних наслегов. Всякий день он близко наблюдал Таню и Антона, они поселили его у себя, и в свободную минуту он брал на руки их годовалого, рожденного в иркутской тюремной больнице, сына. Отчего он не осмелился сказать им о смерти Лидочки в другой тюремной больнице? Многое было переговорено между ними, а этого не сказал: Лидочки для них не было, ни ее рождения, ни смерти. Студент Антон Костюшко, так и не сбывшийся горный инженер, сидел в Екатеринославской тюрьме, когда в город прибыл высланный из Петербурга Бабушкин. С юга России, из тюрем Екатеринослава и Новомосковска, Антон угодил в Сибирь, а за ним и суженая Татьяна Жмуркина. В Верхоянске Бабушкин снова услышал об Антоне Костюшко и Викторе Курнатовском — вожаках «романовки».

Они вспоминали Екатеринослав, днепровские речные

острова, Григория Петровского, Якутск, ссылку, дивились, что жизнь не свела их до этой поры...

О Лидочке ни слова.

Почему? Оттого ли, что больно вспомнить? Что не хотелось сочувственного страха в чужих глазах и неизбежной жалости? Может, он берег Антона и Таню, их счастье, их свободу нестесненно любоваться сыном? Он прихватывал пальцами, ласкал пухлую лодыжку чужого малыша, а перед глазами и другая лодыжка — тонкая, голубоватая, поставившая его в тупик: как из этой малости, из теплой, хрупкой косточки сложиться ноге и крепко встать на жестокой земле? Паша смеялась над ним, беспечально радовалась, верила, что все сбудется, она отдаст этим косточкам свои силы и соки, и все, все сбудется.

Господина Сержа раздражало долгое стояние незнакомого человека в проходе, у занавеса. Чего-то он ждет, своего, не имеющего отношения к арене, а в иные минуты смотрит на пробегающих мимо артистов с простодушием подпаска, конфузливо улыбаясь и тут же пряча улыбку. Как понять Сержу, что человек этот впервые в цирке, хоть он и горожанин, петербургский житель, бойкий офеня, лондонский короткий визитер, человек, исколесивший половину России. Все ему внове: женщина, складывающаяся плоско, будто из нее вынули кости, и другая, увертливая, яркая, живехонькой вылезающая из ящика, проткнутого шестью шпагами во всех направлениях, и студенистая, на кривоватых ногах шестипудовая дама, жена Сержа, которая держит над опилками пятерых, и ловкие акробаты, и грузные мужики без шеи, в трико, в мягких, шнурованных ботинках у борцовского ковра. Как же он прожил столько лет на свете и не забрел в цирк? Бабушкину вдруг кажется, что по ошибке, по небрежности, но стоит чуть построже пробежать памятью годы, и не видать ошибки, нет того воскресного дня или вечера, которым он мог бы легко пожертвовать. Что̀ горевать о несбывшемся,

если в сбывшейся жизни все на месте и делу тесно, если каждый день — его, им слаженный, им выбран свободно, без понуждения. Всякий час не в прорубь ушел, не в слепоту и невнятицу жизни — все, по мере сил, обернулось поступками, шло против тех, с кем жизнь не помирит его никогда. Из внезапных, отнявших секунды воспоминаний Бабушкин вышел с добродушной насмешкой над собой: значит, не так уж стар, что мало повидал, все еще встретится ему в жизни, еще он наглядится на всякое диво, и не один, с Пашей, сядут когда-нибудь в кресле с ребятами на руках, между собой и Пашей он посадит мать, которая прожила две его жизни, а тоже не была в цирке...

Чита приняла его, как ни один город в прошлом. В Петербург мать привезла его подростком, там он сложился и на юг России отбыл поднадзорным. В рабочий Екатеринослав входил исподволь, узнавая людей, набираясь нового опыта. И в Петербург, после Лондона, вернулся тайно, озабоченный строжайшей конспирацией, приехал к самой драке, в развал, в шабаш зубатовщины и «экономизма». Рабочий Иркутск только еще знакомился с ним, а в Чите он вдруг, до прихлынувшей радости, до совестливой тревоги, открыл, как заметно сделалось его место в рабочем движении, как его работа, даже и глухая, ссыльная, поставила его среди вожаков. Его по приезде ввели в комитет, хотя он и предупредил, что явился за оружием, и никто не знал, как скоро суждено ему уехать, через месяц или через неделю, но если и через неделю, сказал Курнатовский, то и эту неделю Бабушкин должен быть членом Читинского комитета. Он не стал возражать; это все та же работа, его пожизненная работа, в России не было такого угла, от которого он вправе был бы отвернуться, полагая его ниже своей судьбы. И Чита тормошила его, поднимала ночным стуком, громким, но бестревожным, стук обещал не обыск, а важное, неотложное дело, телеграмму из Красноярска, Томска, Иркутска или

Харбина, перехваченную депешу, петербургскую почту генерала Линевича, минутную встречу для напутствия дружинников, увозивших оружие для Верхнеудинска, Петровского завода, Тарбагатая или Шилки, отъезд на дрезине в Могойтуй или Оловянную, необходимость переверстать уже приготовленный набор «Забайкальского рабочего», как это случилось со вторым номером газеты, когда в Читу доставили «Новую жизнь» со статьей Ленина «Умирающее самодержавие и новые органы народной власти», и Курнатовский с Бабушкиным поняли, что мысли этой статьи должны стать основой всей деятельности комитета. Бабушкин много писал для газеты, вровень с Курнатовским и Антоном Костюшко, но статей своих они не подписывали, честолюбие их не угнетало, они свободно правили друг друга, чаще правил Курнатовский, газета говорила с народом голосом не Бабушкина или Антона, а организации. И в цирк Бабушкин опоздал из-за газеты — Костюшко оставался в комитете, а Курнатовский третьего дня выехал в Нерчинск с намерением сломить упорство тюремщиков и привезти в Читу матросов из каторжной тюрьмы в Акатуе: начальник всей нерчинской каторги Метус и начальники тюрем Бородулин и Ковалев до сих пор не подчинились приказу Холщевникова.

В Курнатовском за внешностью просветителя и земского правдолюбца со спокойными глазами в нежно-припухлых веках скрывалась редкостная воля и отвага. Он не был уверен, что кто-либо другой без вооруженного отряда сумеет сломить упорство Метуса и его подручных; ему, недавнему нерчинскому узнику, хотелось поглядеть в их глаза, увидеть, как они отступят, выронят тюремные ключи,— не казнь он нес им, но обещание казни, удары грома, имя которому в о з м е з д и е.

Мысль Бабушкина часто возвращается к связанному бечевками типографскому набору, к сырой бумаге, которая только что была легким безглазым листком и вдруг

ожила в чересполосице темных, глубоко оттиснутых строк. Отчего ему так по душе запах печатной краски, машин, постукивание литер у наборных касс? Может, оттого, что детство было бескнижное, книга пришла поздно, не праздная, заменила классы гимназии и университет. Учителя приохотили его и к письму, то немногое, что писано им за жизнь, отдано газете. Из Покрова, из Орехова, из Иваново-Вознесенска, шифруя, он посылал таинственные листки в «Искру», часто сбивался в шифре, задавал добрым людям в Лондоне загадки, досадовал на себя, но был горяч, а шифровка требовала холодной головы. Теперь путь слова короток: писанное днем, в неудобстве, с тетрадью на колене, на верстаке к вечеру уже сложено перед ним свинцовым прямоугольником из литер.

Сообща решили, что полного выхода из подполья не будет; ни слабость Холщевникова, ни то, что Забайкалье так далеко продвинулось в создании новых органов народной власти, не притупляло осторожности. После Иркутска с изнурительными дискуссиями Бабушкин очутился рядом с людьми одной с ним закалки; в Иркутске ноги увязали в болоте, движение замедлялось, теперь же его привольно нес родственный поток, их дощаник не вертело, не ставило вперед кормой или бортом, он слушался руля, и каждый из них — Курнатовский, Костюшко или Бабушкин — мог спокойно доверить вахту другому. Отдав больше десяти лет подготовке революции, он теперь внятно, осязаемо вошел в нее, они уже клали сообща камни в фундамент новой России, пробовали возводить стены. Вот не сравнимое ни с чем счастье, сознание нужности всей твоей жизни с ее жертвами и потерями! Чита жила своим суровым делом, неповиновением, революционной работой. Газета пошла хорошо: читатель жадно брал до десяти тысяч экземпляров — «Забайкальский рабочий» оставил позади новорожденную «Азиатскую Русь» и казенные, с давним кругом подписчиков, «Забайкальские областные ведо-

мости». Разносчикам дозволено было и продавать газету, и давать ее бесплатно, если человеку нечем заплатить. Хорошо бы печатать газету всякий день, но не хватает сил: ежедневная газета опустится, замельтешит, заговорит с оплошностями. Больше недели шел в Чите первый съезд делегатов от Советов рабочих депутатов и Смешанных комитетов — обсуждался вопрос о захвате всей полноты власти на железной дороге, о создании Центрального комитета для управления дорогой, и вновь от Иркутска, от его делегатов, повеяло робостью, маневрированием, опасением изменить сложившееся в губернском центре равновесие. Надо было поскорее возвращаться в Иркутск, но не с пустыми руками; вернуться в Иркутск без транспорта оружия — значило проиграть все.

Близился антракт, и проход заняли ряженые. Среди них женщина в бумажном балахоне из газетных полос поверх длинного, до пят, платья. Газетные полосы в белых прямоугольниках, в руках женщины бутафорские, аршинного размаха, ножницы, на спине надпись — ц е н з у р а. На старьевщике, торгующем царскими регалиями, ветхий пиджак поверх мундира прапорщика. В Общественном собрании их проводили овациями, газеты похвалили, подлили масла в огонь, и арена издалека показалась им легкой, а в цирке, перед лицом публики их смелость вдруг испарилась. Показалось предерзостным, безрассудным выйти на н а р о д с тем, что так легко сошло с рук в малом зальце, среди своих, на домашних почти подмостках. Комнатное поругание вчерашних святынь, кухонное робеспьерство на миру обретают силу политического покушения, духовного терроризма, наказуемого не меньше, чем перехваченная телеграмма государя императора.

Первое отделение заканчивал атлет Ганек по прозвищу Ж е л е з н ы й  К у л а к, он ушел за кулисы, неся в поднятых руках две фальшивые лакированные гири, за ним проследовали клоун и господин Серж. Маскарад замешкался,

любители, робея, подталкивали друг друга, и публика начала подниматься с мест. Тогда, подобрав подол, на арену выбежала молодая женщина в рубище цензуры и сильным контральто объявила о прибытии любителей.

Бабушкин проскользнул вдоль барьера к Алексею и Жмуркиной. В первых рядах стулья с подлокотниками, и, привалясь к спинке, он почувствовал вдруг, как устал.

— Мы вас зовем,— сказала Жмуркина,— отчего не шли?

Бабушкин пожал плечами. Сунул руки под мышки, под распахнутые полы полушубка, с новой позиции озирал цирк, крохотный оркестр над проходом, кумачовую, арбузной свежести, ленту в опояс оркестра: «Революционный привет матросам «Прута»». Сменились музыканты: площадку заняли кантонисты, вихрастый капельмейстер в шинели воздел руки, и грянула «Марсельеза».

— Отвык от праздников.— Запоздало пришло ощущение, что он обидел Жмуркину, не отозвался ее радушию.— Антон задержится: сегодня уйма народа — из станиц, из наслегов стали ездить. Треть посетителей — иногородние.

По опилкам арены вышагивал старьевщик в рваном и заляпанном киноварью сюртуке и подвязанных бечевкой штиблетах. В руке плакат: «Распродажа за ненадобностью», в другой — скипетр и бутафорская корона, оклеенная золотой фольгой. Все на нем болталось, позванивало: ордена в неподходящих местах, держава через плечо в связке с черепом. Цирк грохотал, аплодировал, свистел, видел лихое актерство там, где была робость и заплетающиеся, роющие опилки, ноги.

— Снилось вам в верхоянской глуши такое? — спросила Таня.

Бабушкин кивнул:

— Ну ладно — снилось, а думать не смели.

— Думал.

— Алеша! — Жмуркина подтолкнула Лебедева, захва-

ченного маскарадом: желтые, рысьей посадки глаза горели восторгом. — Ваш Бабушкин — хвастун, барон Мюнхгаузен!

Ободренный старьевщик пошел третий круг, шел свободнее, подпрыгивая, фиглярствуя,— казалось, царские регалии полетят во все стороны.

— Каждый второй за хлебом к нам едет,— сказал Бабушкин.— Из четырех — трое за хлебом,— поправился он.— Спрашивают, можно ли брать кабинетские земли и весной пахать на этой земле, дадим ли хлеб, чтобы не подохнуть до весны?

— Не наша была власть, не мы довели до голода!

— Это был ответ, пока мы в подполье; а возьмем власть — обязаны накормить. Хлеба ничто не заменит.

Как ни повеселил публику старьевщик, а «черную сотню», двух ражих молодцов с кистенями и гирьками, приняли еще горячее: Петербург — далеко, а это — товар здешний, с а р а ц и н ы частного пристава Щеглова.

— Разве мы не добудем муки? Разве товарищи из России не откликнутся нашей нужде?

— Если дорога будет наша — пришлют. Для этого надо, чтобы восстание и здесь, и в Иркутске, и в Омске...

— Сейчас вы начнете клясть всех, что забыли об Иркутске! — Она повеселела.— Оглядитесь: ну что вам еще нужно для счастья!

— Я счастлив,— сказал он серьезно.

— Еще никто не говорил об этом так мрачно!

— Я не верю предчувствиям, но знаю, что сроки кончаются, какие-то важные сроки подходят к концу. Никто больше не может ждать — ни мы, ни они.— Синие глубокие глаза Жмуркиной отозвались ему пониманием и тревогой, и он пожалел о своих словах: не надо и самой малой тяжести перекладывать на ее плечи.— А мне что нужно? — Он опустил веки и сказал блаженно: — Хотя бы на минуту, сюда, рядом с нами, Пашу...— До шепота пони-

зил голос: — К руке не прикоснулся бы... только увидеть, что жива, и она пусть меня веселым увидит. Вот я какой нахал!..

— Долго терпели, теперь скоро...— Для нее тоже исчезла арена, бравурная музыка и хохочущие вокруг люди.— Мы с Антоном знаем о вашей беде...— шепнула она.— Вы молчите, и мы не хотели трогать. Знали, знали! — повторила она, отвечая его растерянному взгляду и ошеломлению.— Вся ссылка знала, не мы одни. Нам с Антоном иной раз счастья своего совестно: за что нам столько!

— Глупости, Жмуркина! — нахмурился он.

— А наш-то, дурачок... Мы с отцом ему будто не нужны...— Ее понесло, радость мешалась с несуществующей виной.— С кем ни оставь — останется, не заплачет. С хозяйкой, с бабкой соседской, с приставом оставь — не пикнет!..

Шелестела бумага на балахоне цензуры, белели вытравленные ею листки, но губительное ее назначение было открыто немногим, и Бабушкин подумал, что в его жизни, в судьбе написанных им строк цензура не значила ровно ничего. Курьеры не везли их бумаг цензорам — и прокламации в Питере, и ночные оттиски екатеринославских листовок, и то, что он писал для «Искры», переправляя далеко, через десятки заслонов. И, сидя в читинском цирке, он испытал вдруг удовлетворение, что в продолжение всей жизни не вступал с цензурой в торги с переторжками, не искал ее милостей, не прокрадывался мимо, таясь, не улыбался ей фальшиво или принужденно. Пусть другие поступали иначе, мудрее в интересах легальности, когда она шла на пользу, помогала политическому просвещению, пусть и это было частью принятой тактики,— он в этот час испытал наивное, до тщеславия, до ребячества, удовлетворение, что всегда дрался в тех грозных и глухих пределах, где цензуру не берут в расчет.

Не сразу заметили в публике, что в глубине прохода собралась толпа; человек, шедший впереди, снял шапку с облысевшей головы. Сзади напирали, толпа из-за кулис прибывала, наружные двери были настежь, в цирк хлынул холодный воздух и заклубился пар, а люди все дальше подвигались к арене, перешагивали барьер, вступали на нее. Теперь Курнатовского, и Костюшко, и матросов с транспорта «Прут» было видно всем, публика поднялась, и кантонисты снова заиграли «Марсельезу».

Курнатовский оглянулся на оркестр. Открытая голова зябла, но он не надевал шапки, как и стриженные каторжной серой стрижкой матросы. Он пожал руку Бабушкину — Иван Васильевич уже был рядом с ним,— и в глубине его усталых глаз, во всем его исхудавшем, носатом лице Бабушкин ощутил тяжесть и какую-то новую заботу. Что-то перебило полноту радости, удовлетворения тем, что матросы на свободе, что он, недавний кандальный, заставил нерчинскую каторгу подчиниться революции, отдать ей ключи от акатуевской тюрьмы.

Из-за кулис выкатили подставку, на которой недавно топтался медведь, Курнатовский поднялся на эту трибунку, смолк оркестр, и притих цирк. Говоря с толпой, он переставал горбиться, покатые, присогнутые годами плечи распрямлялись, сократовской лепки голова чуть запрокидывалась, делалась отчетливо-красивой. Суховатое лицо, в котором странным образом соединились затворник-интеллигент и скуластый мужик, нежность и простодушие взгляда — с пронизывающим умом и волей. Бабушкин жадно слушал его речи на митингах; спокойные, словно бы домашние, порой тихие настолько, что казалось — кто подальше, не услышат, но слышали, потому что слово жило в нем, в том, как он оглядывал толпу, будто искал кого-то, искал, искал и не находил, а найти непременно надо.

— Нам, рабочим, ничто не дается даром,— он не от-

крывал митинг, а продолжал давний разговор.— Мы владеем только тем, что завоевали в борьбе. Сегодня у нас праздник: вышли на волю матросы с транспорта «Прут», они с нами на земле, которую мы хотим сделать свободной.— Стоголосый гул потряс цирк.— Стены нерчинской каторги не рухнули, стоят — это мы помним. Мы только взяли ключи Акатуя и открыли замки, за которыми томились наши товарищи. Они стоили наших забот: когда восстал «Потемкин», именно они поспешили в Одессу на помощь броненосцу. Но было поздно, царизм подавил восстание, и «Прут» остался на одесском рейде один. Один! Без угля, без надежды уйти, но с твердостью в сердце, с красным знаменем над палубой. Они держались долго, вы знаете. Четырех вожаков казнили, а им другая казнь — бессрочная каторга, смерть в подземельях Акатуя. Но революция не бросает своих братьев на произвол тюремщиков, революция освободила их — последних заложников нерчинской каторги, и мы приветствуем их как братьев по классу. Время не ждет, власти переходят в наступление, и хотя сегодня у нас праздник, мы говорим: время праздника не пришло — настал час кровавой борьбы. Восстали рабочие Москвы, на улицах города, на Пресне льется кровь наших братьев. Только что получено сообщение из Красноярска: рабочие и солдаты железнодорожного батальона осаждены в красноярских мастерских, их хотят уничтожить только за то, что они перешли на сторону народа. Царским указом Сибирь объявлена на военном положении, а вы знаете, товарищи, что это значит...

Чья-то рука легла на плечо Бабушкина: Костюшко позвал его за собой. Придерживая пенсне рукой, Антон быстро продвигался за кулисы, шел, наклонив голову в черной папахе. Тревога сквозила в распахнутых настежь дверях, в безлунной, вьюжной площади за ними, в гудении ветра.

Они вышли наружу. Антон снял пенсне и, близоруко щурясь, разглядывал Бабушкина. Сразу не заговорил: помешали покидавшие цирк люди в неуклюжих шубах — долговязый клоун и огромные, как два ковыляющих моржа, супруги Серж. В отдалении, почти скрытый снегопадом и словно гонимый ветром, пересек площадь патрульный отряд.

— Чего молчишь?

— Для одного вечера новостей много.— Антон стоял лицом к ветру: колючий снег цеплялся за густые ресницы, оседал на усах.— Из Москвы в Сибирь отправлены эшелоны карателей. Во главе какой-то пруссак-генерал: полномочия — крайние.

— Еще ему надо пробиться через страну и Сибирь.

— С бронированными вагонами и горными пушками легче пробиваться. И еще новость: Харбин отправляет — частью Холщевникову, частью Кутайсову — транспорт оружия, около сорока вагонов. Транспорт выйдет под охраной казаков.

— Я попрошу комитет поручить транспорт мне,— сказал Бабушкин.

## 15

Полторы версты не доехали до Карымской, вышли из вагона, и местный телеграфист повел отряд в обход поселка к темному кирпичному зданию мастерских.

Время для них мучительно замедлилось, замерло у глухих, слюдяно поблескивавших окон, у ворот, за которыми тишина, словно там не рельсовые пути, а безмолвная тысячеверстная тайга. Потом где-то высоко, невидимый из мастерских, вышел молодой месяц, и внутрь просочился голубоватый свет, отразился в напряженных лицах, в вороненой стали винтовок. Бабушкин вышагивал по земляному полу, тянулся к часам в кармане жилета и не

брал их, сознавал, что рано,— на станционном окошке, где телеграф, выставят зажженный фонарь, как только харбинский транспорт минует соседнюю станцию.

Рано. Пока рано. Но и опоздать транспорту невозможно, Харбин все рассчитал верно; к Чите, на станцию Чита-Дальняя, тяжелые вагоны должны подойти в чуткой утренней ясности забайкальского нагорья, подкатить победно, с охраной на тормозных площадках и с пулеметными расчетами. Харбинцы предпочтут миновать Карымскую ночью, за ней не числится крамолы: станционное начальство здесь старое, до этой поры станция не мелькала в донесениях полковника Бырдина, начальника жандармско-полицейского управления Забайкальской железной дороги.

С Бабушкиным здесь, на верстаках, на железных клепаных ящиках, на деревянных скамьях и груде ветоши в углу, двадцать семь человек, не одни читинцы, есть и приезжие, они прибыли в Читу за оружием и теперь могли взять его, но не со складов, а в бою: Бялых — слесарь со станции Слюдянка и трое телеграфистов с Мысовой — Савин, Клюшников и Ермолаев. В депо укрылся второй отряд, во главе с Воиновым, недавним солдатом, кузнецом красноярских мастерских, человеком нетерпеливым, резким, с виду даже свирепым. Бабушкин пригляделся к нему накануне, на заседании комитета; Воинов, казалось, тяготился спокойствием и обстоятельностью Курнатовского, острословием Антона Костюшко, ерзал, покашливал, словно понукал комитетчиков. Бабушкин даже заколебался; достанет ли этому бородачу выдержки на карымскую операцию, не поспешит ли он открыть огонь?

Комитет собрался 9 января после многотысячного митинга и вооруженной манифестации рабочих и солдат резервного железнодорожного батальона: отныне революция не прощала и часа промедления. Восстание в Москве на Пресне подавлено с небывалой жестокостью. Как смерч,

захватывая сотни причастных к революции и ни в чем не повинных людей, пронеслись по Самаро-Златоустовской дороге эшелоны Меллера-Закомельского; уже его роты чинили расправу в Сибири, вешая и расстреливая, бросая под шомпола за участие в митингах, за непокорство во взгляде, за молчаливое выражение несломленного достоинства. Вокзальные помещения, кассовые залы, пакгаузы, превращенные в покойницкие; пытки в пути, в тюремных вагонах, тела, сброшенные в снег на ходу, с мостов — на ледяные ложа сибирских рек, на матерый лед-просинец, которого не проламывал, падая, ни живой, ни мертвый. Барон уже плавал в крови, а вдогонку ему Петербург слал телеграммы, требуя ужесточения мер. Словно опасаясь, что карателям прискучит убивать, министр внутренних дел Дурново настаивал, *«чтобы никто из арестованных не был освобожден»*, и поощрительно, для примера, сообщал, *«что варшавский генерал-губернатор, руководствуясь ст. 12 Правил о местностях, объявленных на военном положении, подверг смертной казни расстрелянием одиннадцать лиц»*. Дурново жаждал единственной кары для революционеров — смертной казни *«независимо от силы улик против отдельных привлеченных лиц»*, терпеливо втолковывал, что *«особенно заслуживают кары телеграфисты и инженеры»*, и так как *«никто ареста не боится, необходимо избегать арестов и истреблять мятежников на месте»*. А с востока, из-за спины, для Читы и Сибири вставала новая угроза, близкая, будто уже можно расслышать стук вагонных колес, другого карателя, генерала-харбинца Ренненкампфа. В своем воззвании он обвинял стачечников, что они *«поставили Россию и армию в безвыходное положение, попрали свободу народа и не допускают провести в жизнь государства начала, возвещенные в высочайшем манифесте 17 октября... Непоколебимо преданный, как и вся армия, государю и России,*— возвещал Ренненкампф,— *я не остановлюсь ни перед ка-*

*кими партиями, чтобы помочь родине сбросить с себя иго анархии»*, и звал *«встать рядом с ним всех, кто любит Россию»*. Ренненкампфу незамедлительно ответили рабочие Читы — комитет РСДРП отказался вступать в переписку с генералом волчьей стаи, как пазвали его рабочие. 9 января на заседании комитета было решено издать листовкой ответ железнодорожных рабочих: *«Мы объявляем вам, г. Ренненкампф, что вы напрасно присваиваете себе роль спасителя отечества... Вам не важна ни судьба армии... ни гибель невинных людей, ни счастье родины,— вам важно сохранение старого бесправного режима, в котором паразиты и бездарности, подобные вам, легко достигали высших постов и бесконтрольно распоряжались судьбами миллионов людей и народными средствами. Не лгите же: вы не спаситель родины от анархии, а только простой палач в руках реакции...»*

Война объявлена. Взятие оружия на Карымской становилось ключевой операцией: можно будет довооружить Забайкалье, дать винтовки и патроны Иркутску, Иннокентьевской, Зиме, обеспечить пироксилином боевые группы для взрыва поездов Меллера-Закомельского и Ренненкампфа. Минное дело знали матросы-минеры с транспорта «Прут» — один из них уже направился в Нерчинск, а на запад, получив груз пироксилина, выедут два минера «Прута» с рабочими-дружинниками Зозулей, Чаплынским, Силаевым, Гайдуковым-Таежником, братьями Авиловыми, Кормилкиным и Хавским. Меллера-Закомельского необходимо задержать западнее Иркутска. Он прикроет Забайкалье от Меллера-Закомельского, Чита защитит Иркутск от Ренненкампфа. Они станут спина к спине, Иркутск и Чита, и поле боя откроется взгляду все, и руки будут свободны для удара, только бы Карымская дала оружие в рабочие руки.

На заседание комитета РСДРП пришли и вожаки сепаратистов, все еще именовавших себя социал-демокра-

тами, во главе с Усольцевым — молодым человеком с голубыми одержимыми глазами и страстной, отрывистой речью. Он хорошо работал до начала декабря, пока мыслью его не завладела идея отдельной не только от России, но и от Сибири Забайкальской республики. Узнав, что в их распоряжении может оказаться около тысячи пудов пироксилиновых шашек, сепаратисты воодушевились, их план обретал реальность. «Пора оставить эту хибару,— сказал Усольцев, с презрением оглядывая приютившие комитет стены дома купца Шериха, низкий потолок, лампу под матовым, засиженным мухами абажуром.— Унизительный пережиток подпольщины,— настаивал Усольцев.— Перейти в городскую думу. Легализовать партийный аппарат. Объявить Забайкальскую республику!» «Можем и президента выбрать, однако,— насмешливо ввернул бурят Дамдинов.— Франция выбирает президента, а чем мы хуже!» «Если придут каратели,— сказал Курнатовский,— легальный аппарат будет выдан им с головой». «Сюда не ступит нога карателей! — воскликнул Усольцев.— Вот наша программа: первое — ни одной винтовки за пределы области. Тут мечтают о российской революции, а оружие хотят увезти в Иркутск, в Красноярск...» «Бабушкин отдал себя общему делу,— возмутилась Жмуркина.— Не Иркутску, а революции!» «Я привык,— сказал Бабушкин, не горячась,— верхоянский исправник не доверял мне, ротмистр Кременецкий считал питерской чумой, иркутские меньшевики — варягом; с чего бы забайкальским полуэсерам жаловать меня!» «Неужто ты веришь в победу революции на клочке земли?» — спросил Усольцева Воинов: что-то привлекало его в одержимости забайкальца. «Клочок-то с Европу!» — крикнул Усольцев. Курнатовский поднялся, спор тяготил его. «Забайкалье велико,— согласился он.— Пустоши, горы, тайга, ссыльные пределы. Жизнь вдоль чугунки, в Чите и еще на десятке станций. Можем, если позволило бы время, на-

брать двенадцать — пятнадцать тысяч сознательных бойцов — много! И все-таки — мало: самодержавие раздавит нас. Сегодня все упростилось: мы должны быть в Иркутске раньше, чем Меллер-Закомельский,— вооруженный, восставший Иркутск станет заслоном Забайкалья с запада». «Есть заслон надежнее! — Усольцев сожалел об их слепоте, страдал от несогласия, когда все так очевидно.— На Байкале мы обрушиваем скалы, заваливаем Кругобайкальскую дорогу. На востоке взрываем Хинганский тоннель. Конные дороги, перевалы — все перекрыто. Казаки с нами. Забайкальская республика призовет к восстанию всю Россию». «В деревнях люди умирают с голоду! — Жмуркина едва дослушала Усольцева: в мягких чертах его лица, в воодушевленных глазах ей открылась оскорбительная жестокость.— Скоро и в Чите повальный голод, а мы закроем дорогу?!» «В Маньчжурии еще сотни тысяч солдат,— Воинов опередил Усольцева, не дал возразить Жмуркиной.— Они исстрадались в окопах, а мы? Братья! — презрительно потянул он слово.— Мы взорвем перед ними тоннель, подыхай, мол, как знаешь!» «Тогда-то они и станут революционной силой,— воскликнул Усольцев.— Поднимут бунт!» «Только против кого бунт? — спросил Курнатовский.— Их обманывают, им говорят, что отъезду мешаем мы, но теперь солдат убеждается, что это ложь. А если обрушить Хинганский тоннель, ложь станет правдой, и солдатский бунт будет против нас». «Победит революция,— упорствовал Усольцев,— и мы устроим справедливый мир, накормим, залечим раны...» «Сама революция должна быть справедливой, Усольцев,— помрачнел Бабушкин.— Кто думает иначе, должен убраться с дороги к черту!..— Он видел, как побледнел Усольцев, сцепил пальцы и хрустнул суставами, будто через силу осаживая себя.— Только преступники могут задерживать солдат в Маньчжурии...»

Как возникает в революционере волчья, мещанская не-

приязнь к людям пришлым, недоумевал Бабушкин, похаживая в полутьме карымской мастерской. Ведь жизнь революционера — борьба и скитания, подполье, не знающее покоя и долгой оседлости в одном городе. Жизнь революционера — зоркость, трезвая пристальность, но и доверие; конспирация, но и жажда быть братом и тому, кого ты только вчера узнал. Эта жизнь не позволяет съесть пуд соли — на пуд соли недостанет мятежного, короткого века революционера,— щепотки ее должно хватить. Ему хватало и немногих дней, чтобы уйти в чужую жизнь, почувствовать себя среди своих, вровень с ними. Чужое наречие, непривычный говор, острые, жалящие щелки глаз бурята Дамдинова, гордая молчаливость якутов, родной голос, так славно выпевающий сичень, сичень, будто жаль расставаться с протяженным и таинственным смыслом этого слова, жизнь, жизнь, ее нечаянные богатства, внезапность встреч, новые, прибывающие откуда-то силы — как можно хмуриться на это раздолье, на вечную повизну и в ложной гордыне видеть только один край и один на долгие годы круг людей?

И сегодня — сечень, крутой, забайкальский; январская ночь, тронутая дерзкой и таинственной голубизной молодого месяца. Сечень покатился к середке, а ему только что минуло 33 года. Он не вспомнил бы об этом, если бы не мысль о Паше, о том, как она мечтала отпраздновать его день вместе и как всякий раз между ними в эту пору вставали жандармы и тюремщики. И только теперь, на пятый год супружества, революция освободила их и между ними только пространство: тысячи верст тайги, Барабинские степи, Урал, клепаные грохочущие мосты, окаменевшие реки, города, города. Свободен он, свободна и Паша — он верил в это непоколебимо, свободна и ждет его вместе с матерью в Петербурге, и еще отзвенит их праздник, их встреча, хотя им пока и не дотянуться друг до друга. Только бы все добром обошлось на Карымской, и он по-

мчится в Иркутск; не с одним Алексеем. Поедет Бялых, трое мысовских телеграфистов и Воинов, а через сутки вдогонку им в Иркутск отправится и Курнатовский. Воинова в Иркутске можно поставить во главе рабочего полка. И сухолицый Савин с Мысовой, умный и осмотрительный, нужен Иркутску, его земляки — Ермолаев и Клюшников — признают главенство Савина. Бялых — молод, в больших зеленоватых глазах грусть и улыбка так часто меняются, что и не уследишь, у него конопатое лицо и подетски щербатый, некрасивый рот, а в плечах, в вытянутых вдоль тела руках — тяжесть и сила.

— Э-э-эх, задымить бы, завить горе колечками! — послышался тоскующий голос Клюшникова: он в толк не возьмет, почему бы не задымить?

Неподалеку Бялых тихо напевал песню, которой никто еще, кажется, не слыхивал: слова ее принесли газеты, гитарист Бялых схватил их на лету, путался еще в строках. «От павших твердынь Порт-Артура...»

— Мне бы такую придумать! — сказал Бялых, вздохнув.— Одну придумать — и на погост не страшно.

— Не стоит песня жизни,— возразил Савин.

— Никакая? — Бялых сомневался, он решал эту сложность не умом, а сердцем, неосознанной жаждой гармонии.

— Самая лучшая не стоит.

— А век у нее долгий,— мягко возразил Бялых.— Человека нет, а она живет.

Бабушкин прошел к воротам; в их створе свет луны открыл щель, видны перекрестья рельсов, кажется, что они лежат как попало и харбинскому поезду не подойти к вокзалу.

Песня или жизнь человеческая?

Хорошо, что не окликнули его, не спросили: кто прав, Савин или Бялых? Холодной мыслью он с Савиным: жизнь отдаешь за что-то повесомее песен. Но и Бялых не лгал,

видно, песня для него в другой цене, она для него и есть жизнь. Выходит, и в тридцать три года человек не всё знает; не всему хозяин разум, есть и сердце, а он привык осаживать сердце, жертвовать для дела нуждой сердца, тоской, его близкой радостью. Сила это или слабость? Прав ли Савин, или правда Бялых выше?

— Иван Васильевич! — Взволнованный шепот вывел его из раздумья.— Фонарь на окне!

Теперь ждать недолго; через полчаса закричит паровоз, остановленный у дальнего семафора. Хорошо бы Карымскую укрыла пурга, в прозрачном воздухе нагорья, в заснеженном пространстве свет месяца обнажает все вокруг: фонарные столбы с погашенными огнями, трубы над вокзалом в кружевных, из жести, коронах, перрон, пакгаузы и кирпичную водокачку.

Большую часть пути Коршунов проделал на паровозе. Карымскую он пройдет без остановки, до Читы никто не осмелится посягнуть на его груз: отряда казаков и четырех пулеметов достаточно, чтобы рассеять любой местный отряд. Если бы ему еще две отборные роты и пяток пулеметов, он преподнес бы невиданный подарок и Ренненкампфу и самому государю — прошелся бы карой небесной, судом испепеляющим от Харбина до Читы. Он и заикнулся об этом в ночном прощальном разговоре с Надаровым, и в того будто дьявол вселился: он обругал Коршунова, обозвал карьеристом, усомнился, можно ли ему доверить и транспорт оружия. Ренненкампф и Меллер-Закомельский назначены волею государя, на них он возложил высокую миссию сломить упорство социал-демократов, и вдруг вперед, как пес, задравший ногу, выскочит безвестный подполковник, доморощенный стратег, смешает карты, поднимет бунтовщиков на сопротивление, которого потом не сломить и баронам. Этакая хлестаков-

щина на крови! Коршунову надлежит доставить в Читу оружие и передать его в руки Сычевского и Холщевникова, и только по исполнении этого приказа Харбин и Петербург будут судить о мере его успеха. Надаров напомнил ему о недавней его неудаче: два лишних дня в Чите в ожидании поезда на Харбин дорого обошлись Коршунову — переданное им устно монаршее повеление до последней запятой совпало с расшифрованным текстом телеграммы, уже полученной дважды: через Владивосток и через гиринского дзянь-дзюня. Голодный подвиг Коршунова не стоил теперь и ломаного гроша. Правда, он доложил о замеченных им силах бунтовщиков, о комитетских вожаках, о подлых газетных перьях — в Харбине снова подвизался генерал Бебель, чтобы оправдать свое ничтожество, он рассказывает небылицы о силе стачки, о легких пушках на читинском перроне, нацеленных на его салон-вагон. Пусть слушают его, пусть трясутся и закрываются тройной броней, пусть медлят и пускают в генеральские штаны нечистый воздух — не оттого ли Ренненкампф стирает подошвы о каждый перрон, тратит сутки на расстрел кучки забастовщиков, не стоящих и четверти часа транзитного генеральского времени! Всю дорогу от станции Маньчжурия до Карымской Коршунов, пригревшись на паровозе, закрываясь рукой от пышущей жаром топки, колебался, послушаться ли зова сердца, потешить душу или строго исполнить приказ Надарова. Он охотно сделал бы свое святое дело, как сделал его в тайге за Красноярском. К японцам он, в сущности, не испытывал чувств — распалял в себе нелюбовь, но они не были для него вполне людьми, а значит, и достойным противником; в тайге же он обрек смерти вожаков бунта, пусть взвод, но взвод отборный, каждый из них повел бы за собой полк вооруженной рвани.

Оборачиваясь к тендеру, он видел красные, обожженные морозом лица двух казаков, которые служат ревност-

но, не сводят глаз с него, с машиниста Пахомыча, с молодого кочегара. После Карымской он отошлет казаков в теплушку; Пахомыч — человек несуетный, верный, хватило бы только у него сил простоять у машины долгую зимнюю ночь до Читы. Самому Коршунову в теплушке неуютно, при нем казаки стеснены, примолкают, делается вдруг слышным гудение раскаленной чугунной печи, степные, размашистые удары даурского ветра о вагонку. На паровозе покойно, здесь ты ближе к цели, ты хозяин мчащегося в ночи грозного арсенала, которому, быть может, суждено войти в историю, повернуть судьбу несчастной Сибири. Пахомыч умеет и помолчать просто, с достоинством, и порассказать о чугунке в Сибири и Забайкалье, о том, как он начинал еще на Самаро-Златоустовской дороге, как ему в охотку стала горемычная Сибирь и, следом за рельсами, двигался и он по виноватому краю, опасался найти здесь одну каторгу, кандальный звон, а нашел ширь, обильный край; как шатунством своим угнетал семью и докатился до пограничной Маньчжурии, до пустыни, как уверяет старуха-жена. «Зачем ты ее так? — с легкой укоризной поправил Пахомыча Коршунов.— И ты не старик, а она, верно, моложе». «Надо бы, да нет! — пошутил машинист.— Мы чуть не одного дня, и крещены в одной купели. И я в летах, а баба и вовсе старится за таким мужиком. В Исаакиевском да в Казанском, говорят, купели золотые, а нас по-простому крестили, чуть не в лохани, оттого-то и жизнь не задалась». «Как же не задалась! — возразил Коршунов.— Это уж наша русская черта — недовольство жизнью. Ты подумай: в огромном богатейшем краю ты водишь составы. Американец гордился бы: как же — пионер! Немца от спеси раздуло бы; а ты говоришь — не задалась!» «Надое-е-ло,— протянул машинист без особого выражения.— Прежде мы это добро на японца везли, теперь обратно — мыслимо ли такое!..» «Надо, это для жизни надо». «Э-э! — не поверил машинист.—

Для жизни хлеба надо; его бы день-ночь вез, а я — калек да винтовки». И оттого, что критика Пахомыча была открытая и печаль мешалась в нем с добродушием и надеждой, с допущением, что чего-то он может не понимать, а умного человека всегда готов послушать, на сердце у Коршунова сделалось покойно. От такого подвоха не жди, у него что на уме, то и на языке. «Говоришь, в Ново-Николаевске служил? Знал ли ты там инженера Кнорре?» «Как не знать: высок, умен, красив, хоть и при недобрых глазах! — Пахомыч оживился, даже имя-отчество назвал.— Только уж с нами больно строг бывал, все норовил штиблеты об нас вытереть».— «Это как же? Буквально?» — «Унизить работника ему ничто».— «Плохо ты его понимал, голубчик: он дисциплины хотел, порядка. Это России надо. Вот мы-то попустили Сибирь, не приглянули, а уже край в разрухе. Безвластье, русскому человеку жить невмоготу, того и гляди, снова кровь польется». «Нынче кровь не в цене,— сказал Пахомыч сурово.— Ее всяк отворит, кто в силах». «Ничего, еще и к добру повернет: русский человек знает — без хороших вожжей и лошадь с пути собьется». «Нам не сбиться,— сказал добродушно Пахомыч.— Ни в лес не поворотишь, ни в поле. Я вот правду скажу вам, другой не сказал бы, я скажу. Ездишь, ездишь годы, как рельса велит, и вдруг тоска сердце схватит: а ну как я сверну да в тайгу, неужто не проеду? Хоть раз в жизни, а? Неужто чуда не случится?» Коршунов благодушно рассмеялся: «Вот ты какой! А ведь не свернул ни разу».— «Не довелось — рельса всем правит. Видать, не про меня чудеса.— И вдруг сказал без видимой связи со всем говоренным: — Россия!.. Кто ее знает? Каждому лестно думать — знаю, а приглядишься, нет, не знаю...»

Карымская рядом, машинист стал притормаживать — станцию надо проходить потише, выглянул из будки и сказал бестревожно:

— Карымская не принимает.

— Просигналь, что идешь на проход.— Коршунов выглянул наружу, встречный ветер полоснул по глазам.

Пахомыч дал протяжный гудок, несколько коротких и снова долгий, и Коршунов посетовал, что сам-то он, сибирский житель, столько лет существует при дороге, а языка ее не знает: то ли говорит Пахомыч Карымской, что надо?

— Я у семафора стану.— Машинист выпускал пары и сбавил ход.— Чуть что — на воздух взлетим.

Позади темнел, скрываясь в ночи, длинный состав — заиндевелые, тяжелые вагоны. Страшно. Машинист прав, надо остановиться, но что-то и задело Коршунова: впервые взглянул он на машиниста отчужденно, но, видя его спокойное копошение у приборов, отбросил страхи: чего только не повидал старик, как не научиться видеть вагоны насквозь и под пломбами. Открылись уже и бревенчатый темный вокзал, и кирпичная коробка мастерских, и здание повыше — депо. От вокзала бежали люди, впереди, размахивая фонарем, высокий человек в фуражке, которую он придерживал на бегу рукой.

— Дежурный бежит: видать, случилось что.

Карымский дежурный поднял фонарь, осветив и свое запрокинутое лицо с вислыми жидкими усами, и двух рабочих: молодого сцепщика и второго — бурята в лисьей островерхой шапке над благодушным лицом.

— Прощения прошу, господин офицер, забастовщики разобрали рельсы у второго поста.

Все бесило Коршунова: и внезапная остановка, и то, что перед ним поляк, и жалкий его жест: он переложил фонарь из руки в руку и свободной рукой поочередно прижимал к голове мерзнувшие уши.

— Почему не исправили?! — закричал Коршунов.— Всех расстреляю!

— Нас убить — царю вред сделать,— смиренно сказал бурят.— Солдат надо, дорогу чинить.

— Почему сами не починили? Где дорожные мастера?

— В Читу ушли. У разобранных рельсов караульных оставили. С солдатами на дрезине, прошу пана, скоро там будем.

Коршунов приказал протащить состав к перрону. Дежурный ехал с ними, повиснув на железной лестнице, бурят и сцепщик трусили рядом.

Через несколько минут вернулись посланные к депо и мастерским,— станционные службы на запоре. Пакгауз тоже. Пустыня. На водокачке — никого. Вокзал Коршунов осмотрел самолично: в зале у кассы под тусклой керосиновой лампой древний старик и кучка потерянных, застрявших на забайкальском перепутье баб.

— Погубите Россию, чертовы инородцы! — Коршунов вернулся на перрон и освобождающе ощутил легкими морозный воздух нагорья.— Дома не сидится: куда занесло!

— Прошу прощения, господин подполковник,— ответил поляк с достоинством.— Государь Николай первый назначил моему деду жить в Сибири, мой ойтец тут родился, а я натуральный сибиряк.

— Ойтец! — Он презрительно хмыкнул. Вдруг запоздало вспомнилось о жарких вокзальных печах.— Зачем печи натоплены?

— Хоть отогреться в этом аду.

Мороз забирал круто, дежурный хватался за уши, казенная шинель на нем дрянная, на рыбьем меху. Мертвая, безлюдная, выморочная станция, а Ренненкампф, пожалуй, и перед ней простоит в нерешительности долгие часы. Мысль о Ренненкампфе подстегнула Коршунова: к сброшенным рельсам он отправит десяток казаков с есаулом; караульных, если не сбегут, расстрелять на месте по исправлении рельсов, есаул выстрелами подаст знак трогаться транспорту. Часовые оставлены у пулеметов, свободным казакам он разрешил размяться в избяном тепле вокзала. Сам же Коршунов вернулся на паровоз: машинист лепи-

во жевал прихваченную из дому лепешку и откусывал от ломтя бело-розового сала.

— Где кочегар? — спросил Коршунов.

— Не заплутает, он здешний, карымский.

И правда, заскреблись подошвы о железные ступени, показалась голова кочегара в черных кудряшках из-под шапки.

Все стало на место; есаул подаст сигнал, и они тронутся, полетят на закрытый семафор, только бы знать, что рельсы на месте, а дрезину сбросили в снег. Пахомыч велел кочегару подкидывать угля, поминал недобрым словом бессовестную каторгу, часто отдавал пары, белое облако окутывало паровоз, а густое шипение, словно ватой, запечатывало уши Коршунова. Он едва расслышал отдаленные выстрелы, удивился, что они почудились ему не впереди, а в хвосте поезда, слабые, будто пистолетные выстрелы. Но машинист сказал, что стреляли впереди, что это сопки и тайга играют. «Видать, караульных порешили...— сказал Пахомыч бестревожно.— Ежели бы кровь людская золотом в земле обернулась, не было бы нас богаче». Выстрелы не повторились, значит, карымское эхо донесло выстрелы казаков у второго поста. От топки волнами накатывало тепло, так что впору задремать, но Коршунову не дремлется; он и сердит на поляка, и ценит его: ведь если бы сволочь, шкура, то так и пустил бы транспорт мимо себя, на верную гибель. Служака, не посмел надеть меховую шапку на страдающие, тонкие уши, околевает, а тянется перед мундиром. Коршунов принялся просвещать Пахомыча, объяснял ему, что инженер Кнорре и его мастерские много добра сделали для Сибири, что цивильный немец нужен России, служит ей верой и правдой два века, а зло и бедствие — немец-генерал. Машинист заметил, что иной русский — из генералов — тоже охулки на руку не положит, и высказал предположение, что само генеральство — от лукавого, великий искус, испытание

грешному человеку. «Не всякому плечу эполет придется: иной от золотого шнура так вознесется, что его с земли и не увидишь. А случается — редко! — генерал натуральный».— «Это как понимать — «натуральный»?» — «Прирожденный: явился на свет божий, а уже ему нельзя не быть генералом, уж генеральство его ждет, только расти, не помри до срока, дождись своих эполетов. Такой генеральства не уронит...» «А если и он жесток? — Коршунова и сердило раболепие машиниста и радовала бездна всепрощения и фатализма.— Если и он на немецкий лад поведет себя?» Ответ Пахомыча готовый, выношенный, над ним и думать не надо: «Натуральный генерал если и прольет кровь, то и сам исстрадается, молитву к господу вознесет. Вот как он убьет, не по-злодейски...»

В короткие минуты, когда не сипит пар, тишина. Оторопь берет, как тихо может быть среди ночи на узловой станции. Из паровозной будки Коршунов оглядел пустынный перрон, увидел вышедшего из дверей поляка с воздетыми к ушам руками. «Надо же, тупица: мерзнет...»

К вокзалу подошли со стороны спящего поселка, подкрались осторожно к составу на всем его протяжении, и только казаков на тормозной площадке хвостового вагона — пулеметчика и часового — не сумели взять тихо: револьверные выстрелы и услышал Коршунов. Выстрелы всполошили и казаков в вокзале; кто сидел ближе к дверям, бросились на выход, но, распахнув двери, попятились от нацеленных винтовок дружинников. К казакам в зал вошел человек в полушубке, озабоченный, но без напряжения и страха, и заговорил с ними, не повышая голоса, по делу, по неотложной нужде:

— Известно ли вам, что в ваших вагонах под пломбами? — Он не стал дожидаться ответа.— Без меня знаете. Там не хлеб для голодных детей, там — оружие. Тридцать

семь вагонов! Зачем их гонят в Россию, забирают вагоны под оружие, бросают в Харбине калек, раненых, запасных? И это знаете! Чтобы стрелять в нас, в рабочих и мужиков, которым невмоготу жить по-старому. Каратели убивают нас, а мы вам зла не сделаем, только возьмем оружие. То, что в вагонах, и то, что при вас: сами сложите. Пусть это будет для вас первым революционным уроком, если Маньчжурия ничему не научила.— Казаки смотрели недобро, глаза шарили по глухим, заиндевелым окнам и оштукатуренным стенам зальца: страх и досада, остервенелый поиск выхода и никакого отклика его словам.— Поезд захвачен, караульные казаки под замком. По уходе поезда с первой оказией вернетесь в Харбин. Где офицер?

Этого они не знали. Казаков разоружили, поставили охрану у дверей и окон, дежурный по станции и Алексей, счастливые удачей, бросились к паровозу предупредить Пахомыча, что, как только дружинники соберутся в теплушке, можно двигать на Читу. Бежали, не опасаясь беды.

— Пахомыч! — голосом, севшим от пережитого волнения, воззвал дежурный и, обойдя Алексея, ухватился за железные поручни.— Принимай пассажира, я с тобой, Пахомыч. Хоть уши отогрею!..

Встретили дежурного выстрелы: первый, не ему назначенный, а кочегару, в упор, неудобно для Коршунова, второй — в поднявшуюся голову, в околыш фуражки, словно приколачивая ее к голове дежурного и тут же срывая ее прочь. Падая, поляк сбил Алексея с ног; следом полетел в снег и Коршунов: Пахомыч ударил его ломом и столкнул вниз. Мерлушковая папаха закрыла Коршунова от смерти: он быстро поднялся и побежал, скрылся за паровозом прежде, чем Алексей поднял свой оброненный «смит-вессон».

Крадучись вдоль состава, Коршунов выстрелил в воздух, призывая на помощь казаков. Прислушался: никто не спешил к нему. От паровоза долетел стон, повторился,

и вдруг за вагоном, по другую от Коршунова сторону, послышались осторожные шаги, щелчок взведенного курка и тяжелое, сдерживаемое дыхание. Кто там? Кто-нибудь из казаков или охотник, идущий по следу?

Коршунов побежал, чуть отдаляясь от состава, споткнулся о рельсу у стрелки, почувствовал себя незащищенным, открытой мишенью, и бросился снова под укрытие вагонов. Раздался выстрел из-под колес, пуля задела голенище. Коршунов прыгнул на ступеньку переходной вагонной площадки и замер, одним глазом поглядывая на площадку и открывшийся ему вокзал, чтобы выстрелить первым.

Оживала станция, громко перекликались люди, бежали к паровозу, голоса доносились от депо и от вокзала. Пробираться надо бы в хвост поезда и поскорее, уйти в мелколесье и там решить, что делать, где искать казаков.

Он слышал за спиной чей-то дерзкий, безрассудный бросок под вагоном, будто зверь метнулся, и, уходя от опасности, Коршунов кинулся вверх, упал на площадку, незряче выстрелил туда, где, по расчету, должен показаться преследователь. Мимо — Коршунов услышал сухой, чеканный удар пули о рельсу.

К вагону бежали дружинники, пришлось лечь лицом к вокзалу. Подполковник успел выстрелить, увидел, как человек упал, вытянув руки, зацепившись ногой за ногу, и тут же кто-то прыгнул на спину Коршунова, прижимал его к площадке, хватал за руки и звал своих. В последнее мгновение, когда плена, казалось, не избежать, Коршунов вывернул правую руку, выломил ее из чужих пальцев, так что дуло пистолета пришлось у его головы, с которой упала папаха. Коршунов выстрелил и сразу обмяк под коленями Алексея Лебедева.

Власть давно уходила из рук Холщевникова, само время отнимало ее, не унижая его, не закрывая от него губер-

нии. В забайкальском отделении, на железной дороге, которую редактор Арбенев назвал Невским проспектом Сибири, Холщевникову казалось, что события идут не в ущерб монархии и тому милостивому направлению, которое повелел придать России сам государь. Он понимал наступившее время как переходное, а переходное время требует тактики, разумных уступок и доверия к выборным лицам; все еще войдет в берега, и чист будет перед богом и совестью тот, кто не допустил напрасных смертей.

Но с недавних пор власть стала переходить от Холщевникова к генералу Сычевскому, командиру 2-й бригады 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, и теперь утрата ощущалась остро и грубо, все словно бы сужалось и укорачивалось, судьба искала ему преемника, теряла интерес к его слову, поступку, к широкому, скользящему над землей шагу; уже и этот шаг казался вкрадчивым и несмелым. Сычевский угрюм и молчалив, без особой нужды он не скажет и слова в осуждение наказного атамана. Коренастый, серолицый, с немигающими глазами ржавой желтизны, он будет молча вышагивать рядом, стоять у стола, ненавидя рубленый крепкий табак Холщевникова, и его дом, и хозяина дома. В канители каждодневных дел Холщевников не сумел переломить событий, сбросить с себя молчаливую опеку Сычевского, самому попробовать отнять у комитета то, что он отдавал на протяжении трех месяцев. Ренненкампф уже вышел из Харбина, Меллера-Закомельского ждали в Красноярске — времени оставалось в обрез. Приход в Читу большого транспорта оружия послужит поворотом в истории Забайкалья и в его личной судьбе. Часть войск гарнизона, караульная команда, казачий эскадрон, служащие арсенала — все здесь, на станции Чита-город; на этот раз ни одна винтовка не минует артиллерийского склада.

Транспорт подошел с опозданием. Ни караульных, ни пулеметов на площадках.

— Обещали усиленную охрану — и ни одной канальи! — Сычевский приказал арсенальским чинам открыть ближайший вагон. Двери завизжали в железных пазах: в вагоне было пусто.

— Открыть! Открыть! — приказывал Сычевский.

Всюду пустота, мертвое, сумеречное нутро вагонов. На одной из площадок — труп офицера в бекеше и приколотая к его спине бумажка: «Оружие в количестве 37 вагонов, 29869 винтовок, 2,5 миллиона патронов и 900 пудов пироксилиновых шашек взято в пользу Читинского комитета РСДРП» и приписка в строку: «Каратель Коршунов не убит, а застрелился, не желая сдаться живым».

Тело перевернули. Имя Коршунова ничего не сказало Сычевскому, а Холщевников не подал виду, что знал подполковника. Коршунов задубел в позе самоубийцы; дуло револьвера только немного сместилось от входного отверстия, один глаз был вышиблен пулей, другой полузакрыт сизым веком.

— Взять машиниста и кочегара! — приказал Холщевников.

Никого на паровозе не оказалось.

## 16

Уже и по ночам, в отрывистом изнуряющем сне, Маша видела деревянный, в резных наличниках, дом Драгомирова, поднятый на саженный каменный фундамент, крутые ступени крыльца, праздничную белизну занавесок, водянистую зелень бальзамина на подоконниках. Осенью, когда полицмейстером был еще Никольский, Драгомиров стал менять ограду своей городской усадьбы в лабиринте улочек между духовной семинарией и Саламатовской улицей. Железнодорожная забастовка задержала чугунное литье, заказанное далеко и недорого — в Петровском заводе за Верхнеудинском, в старый забор прямо против канатно-

веревочного завода успели поставить только сквозные затейливые ворота с калиткой. Иней нежной белизной закрыл некрашеный чугун.

Стрелять в Драгомирова удобно, его грузная фигура, как мишень, в чугунном проеме калитки. Можно стрелять через улицу, от заводского сарая, но был риск не убить, ранить, и ранить легко, как ранил два дня назад, 23 декабря, вице-губернатора Мишина сожитель Анны Зотовой. Все было состряпано бездарно, на дело отправились, как гимназисты, держась за руки. Вопреки запрету организации, Анна унесла и динамитный снаряд и уронила его вместе с муфтой, когда бросилась бежать после неумелых, трусливых выстрелов на людях, с двадцати шагов. Стрелявший чудом скрылся, а Зотову взяли, и жандармские чины повымели все из особняка золотопромышленника. Мишин не убит и тремя выстрелами: задета рука и одна пуля засела в мякоти бедра. Оправившись от испуга, вице-губернатор повеселел и благословлял террористов: они превратили его в героя дня, на пуховую перину он лег не так, как Никольский или генерал Кайгородов, не с медвежьей болезнью, а в ореоле страдальца.

Почему Мишин? За что ему эта честь? Если исполнитель будет схвачен, как партия социалистов-революционеров его устами объяснит на суде казнь Мишина? Чья кровь на нем? Трусливый администратор, хитрец, сама уклончивость в мундире действительного статского советника,— в чем его особая вина? Он только три дня управлял губернией: сначала сбежал в Петербург Кутайсов, притворно заболел генерал Кайгородов, заменивший Кутайсова, и Мишину пришлось вступить в управление губернией,— вступить, но еще не управлять ею. Анна Зотова ненавидит Мишина — он не разрешил ей после Петербурга проживать в Иркутске: потребовалось вмешательство Кутайсова, деньги отца, письменное обещание содержать дочь под домашним арестом.

— А почему, собственно, Драгомиров? — выходил из себя Кулябко-Корецкий.— Тупица, солдафон, недавний пристав, вынесенный на поверхность случайностью? Не лучше ли избрать мишенью пристава Щеглова или казачьего сотника провокатора Сутулова? Почему исполняющий обязанности полицмейстера, а не жандармский начальник Кременецкий?

Маша объясняла: на Драгомирове кровь ссыльных, руками Коршунова он убил их. Она напоминала прошлое партии: социалисты-революционеры всегда стремились безотлагательно и беспощадно ответить на палачество, на надругательство над жизнью и достоинством политических. Ей возражали: изгнание в тайгу ссыльных на совести Коршунова. И нужно убедиться, что они погибли, что их не подобрал шедший следом поезд, что они не набрели на дом лесничего или таежную заимку. Говорили с ней снисходительно, извиняя ее горячность, сухие, запекшиеся губы и черные круги у глаз. Спорили, как с больным ребенком, как с блаженной, у которой жизнь едва ли не вся в прошлом, не отвергали ее каприз, а просили повременить, не мешать прежде сделать серьезное дело. Кулябко-Корецкий уверовал в то, что Кутайсов бежал не в страхе перед разраставшейся забастовкой, а единственно опасаясь бомбы или выстрела. Та же угроза, по мысли Кулябко-Корецкого, заставила сесть под домашние запоры и генерала Кайгородова, а Мишин, приняв управление губернией, сам обрек себя казни. Нетерпеливый, рассеянный крепыш, не в меру обидчивый, стоял против Маши, загибал красноватые пальцы и называл крыс, бежавших с тонущего корабля от угроз эсеров: улизнул в Петербург Штромберг — управляющий государственными имуществами губернии; управляющий казенной палатой Лавров умыл руки, подал заявление о болезни; сказался недужным и старший советник Людвиг, назначенный в Якутск вице-губернатором; попросил отставки советник Виногра-

дов; исправник Шапшай, трус, тайком, через свояченицу, ищет связей с революционерами; прячется бывший полицмейстер Никольский. И не было в этом круглоголовом одержимом человеке сомнения, что губерния рушится в страхе перед его партией, его пулями, селитрой и полыми чугунными шарами; если одни угрозы террора так потрясли власть, то осуществленный акт довершит дело. Она не знает Сибири, твердил Кулябко-Корецкий; здесь социал-демократам делать нечего, Сибирь — край крестьянский, издревле приверженный свободе, у них все сделается не по Марксу, власть нужно брать с мужицкой грубостью — в городе террором, в деревнях, выжигая усадьбы кабинетских лесничеств, урядников и становых приставов. Именно в Сибири эсеры облагодетельствуют народ; весь риск борьбы — себе, но успех — в дар народу, на его воскрешение и возрождение.

В словах вожака иркутских эсеров Маше слышались отголоски чего-то далекого, потускневшего после Верхоянска. Шелуха слов, без душевного страдания и совестливых раздумий минувших лет. И она и умерший Андрей попали на Яну как боевики, не раз рисковали жизнью, верили в свое предназначение, знали свой сегодняшний день, угрозу и тяжесть завтрашнего и не притворялись, что ясно видят будущее России. А эти с обочины, кривя рты, взирают на безоружных солдат, на рабочие дружины, охраняющие город от погромов; сытые, не познавшие тюрьмы, карцера, допросов, они самонадеянно распоряжаются завтрашним днем России. Где чистые, превосходные люди, за которыми она пошла в движение? Или вся беда в Иркутске в мизерии этой губернской кучки самозванных социалистов-революционеров? А может, переменилась она? Спорила с Бабушкиным, пока он стоял в провонявшей селитрой комнате, закипала яростью на его неверящий взгляд, страдала от невозможности заговорить с ним иначе, ровно, как в дороге, после ночевы в избе Катерины,

когда разом отхлынуло глупое, бабье, тайное и темное; страдала и спорила, ненавидела, теряла над собой власть, но в придонном, глубинном течении мысли и чувства както менялась и сама. В памяти остался Бабушкин, искоса поглядывавший на ширму, за которой была она, готовая выйти под яркий свет лампы и остановленная, пораженная пророческим чувством, что она видит его в последний раз, что он будет жить долгий век, а ей жить нечем, бог сохранил ее не для жизни, — для мести, единственно для мести, и месть должна быть безошибочной, с двух шагов, наверняка, так, чтобы и своей плотью, оборванным своим дыханием, в смертной уже тьме увидеть и гибель врага. Приникнув к ширме, смотрела на него с печалью и недоумением, что же разделило их и не дает помириться, смотрела, тоскуя, что вот она выйдет из-за ширмы, и они снова — враги. Пока смотрела тайком, ловила тени на светлом лице, отголоски его презрительного спора с Анной в движении усталых, обведенных краснотой глаз, в подрагивании своенравной нижней губы, в особой, только ей ведомой, омраченности чуть наклоненного лба, пока он сражался не с ней, пока видела его женским, лекарским, идеальным взглядом, ощущала в нем и что-то близкое. Но знала: сейчас она появится из-за ширмы и снова увидит в нем раба толпы, а в себе — вольную птицу. Нет, он не переменил ее мысли. Не логика его, а лишь живой образ отразился в ней, то, как он жил и принимал без искательства чужую жизнь, сходился с попутными людьми, если и в них была деятельность. Террор приучал Машу к гордому избранничеству, к прихваченной пламенем, задрапированной в черное дружбе клана заговорщиков. А он, изведавший тюрьмы и подполья, открывал ей действительность другой дружбы, простой общности с людьми и доброту понимания их. И снова образ его раздвоился: отдельно жил ее дорожный спутник, заботливый, пристальный недотрога, влюбленный в свою Пашу, в женщину, которую, быть может,

он и выдумал для себя, и другой — упрямый политик, действующий так, будто ему и его единомышленникам и впрямь дано управлять событиями. Где его оружие? Как долго может дожидаться его Иркутск? Вéка надо ждать, чтобы пробудился народ, а у человека одна жизнь, и след надо оставить в ее срок.

Придется в Драгомирова стрелять. Вынесенную бомбу бездарно уронила Анна, остальное взяли жандармы, особняк Зотова стал опасен для Маши, и она снова оказалась в Глазково, в доме машиниста Григория. Здесь ее приняли, ни о чем ни спрашивая, и для нее — молчаливой, закрытой — нашелся ломоть хлеба и тарелка похлебки. Не допытывались, что ее так перевернуло — до черноты, отчего на ней повисла одежда, отчего Маша идет мимо зеркала, склонив голову. Было горько от невольного обмана; ведь ее приняли здесь как спутницу старика, его сестру милосердную,— порванная, умершая ее общность с Бабушкиным кажется им живой и несомненной.

Три ночи Маша почти не спала; забудется на короткие минуты, и снова с толчками крови прихлынет мучительство мысли,— пройдет день-два, и она выполнит приговор, ударит в набат; ее поступок назначен разбудить тысячи, а среди них — и славных ее хозяев, заставить их действовать. Кто дал ей на это право? Лежать под их одеялом, притянув к подбородку холодные, не согревающиеся колени, лежать, затаив дыхание, будто и оно может выдать ее планы, есть их хлеб и, не спросясь, распоряжаться их жизнью!

Мысли эти были неожиданны и новы: былые покушения тоже ведь назначались небу и земле, дворцу и хижине, власти и народу. Наказать власть и разбудить народ. Власти устрашались ненадолго, но пробуждался ли народ? Поднимался ли с оружием, чтобы отбить у жандармов и тюремщиков своих героев? Случалось, отбивали, но не народ, а свои же, боевики, отчаянные головы, все те же оди-

ночки. Казалось, народ затаивал дыхание, а то и отступал, обманутый властями, газетами, попами, отступал и клял своих героев. А кто ее вызволил из Верхоянска? Не товарищи по партии эсеров, а какая-то другая сила. Маша гнала от себя эти мысли, а они все жестче обступали ее в образе встречных незнакомых людей, бегущих через пустынную площадь к дому якутского губернатора; ссыльных, одной семьей живших в теплушке; рабочих сибирских станций, сбегавшихся, как на праздник, к их эшелону. Есть же какая-то сила, которая вызволила из плена ссыльных, позволила и Глазково жить так, будто не существует уже ни губернатора Восточной Сибири, ни Зимнего дворца на набережной Невы. И так ли будет теперь, как было прежде: жизнь — за жизнь, ее выстрел — и выстрел в нее, ее святой приговор — и виселица для нее, ее месть — и отмщение ей? Маша ощутила тайную и обременительную связь своей жизни с существованием других людей,— не внушено ли ей это Бабушкиным и особенно стариком; мертвый мудрый застреленный старик мешает ей мстить за самого себя, за братьев по ссылке, является непрошенно со своими резонами, с верой в массы темных, непросвещенных людей. Но чаще приходит Бабушкин, чужой и строгий, в распахнутом полушубке, в рубахе всегда свежей, будто ночей не спит — крахмалит, стирает, с черной бабочкой под бритым подбородком, приходит и смиряет голос, через силу смиряет учительство, проповедь, хочет казаться спокойным, равнодушным при этих пристальных, неусыпных, в болезненной красноте глазах. И он о том же; бесплотный — о том же; исчезнувший за Байкалом, безгласный, о том же — не стреляй! Смири гордыню и не стреляй! Не стреляй, пока не родится восстание!

Перила на мосту отполированы руками до блеска, теперь они еще и в слюдяной наледи, правая рука Маши скользит легко, не замечая холода. Наталья сунула ей рукавицы, будто угадала, что ее рукам сегодня нельзя зяб-

нуть, пальцы должны сохранять гибкость и силу. «Почаевали бы,— сказала Наталья без особой надежды.— На тощий желудок мороз крепче кусает. Неужто и минуты свободной нет? Вам и жить-то некогда».

Не минута — впереди час свободного времени, но оставаться в доме Маше нельзя. Здесь все удерживает ее от решенного шага, отнимает частицу воли,— и честный уют этого дома, и дети, чья жизнь таинственным образом связана с тем, что задумала Маша, тени старика и Бабушкина. Ветер ей нужен, хлесткий, истязующий, чтобы слезы из глаз, тусклые, будто свеча уронила, капли на воротнике, мороз немилосердный, чтоб и в ее сердце не закрадывалось милосердие.

У Драгомирова привычка: замереть на секунду в чугунной раме калитки, встать на порожек носками сапог. Этот миг неподвижности и нужен Маше,— чтобы все шло заведенным порядком: дверь, беззвучно открывшаяся на крыльцо, за порогом женщина с высокой открытой шеей, ее голая, неторопливая рука, осеняющая мужа крестом, дети в глубине прихожей. Только бы рождество не изменило распорядка его жизни; рождество и выстрелы у дома Мишина,— если за Драгомировым прискачут и верховые казаки, будет трудно исполнить приговор. Но казаков не было ни 24-го, ни вчера, 25 декабря. Анна на допросе объяснила покушение местью за то, что Мишин требовал выслать ее из Иркутска, сказала, что стрелял нанятый, из сахалинцев, и куда он скрылся, ей неизвестно. Признания Зотовой звучали правдиво, но не святую хоругвь партии эсеров подняла она над толпой, а черт знает что: униженное вице-губернатором платье столичной курсистки.

На что уходят мгновения рассеянного стояния Драгомирова в чугунной раме, пока отведенная его рукой узорчатая калитка медленно наезжает на него со спины? Сожалеет ли он, что надо шагнуть на улицу, повернуть направо,

где его дожидаются ковровые сани, окунуться в смрад непокорства, встретиться с ненавистью чужих глаз, прожигающей, как раскаленными углями, шинельное сукно на спине? Радуется ли господнему миру, который милостив к нему, судьбе, поднимающей его выше и выше по лестнице, которая так трудна для других? О чем бы ни размышлял Драгомиров — он обречен. Два складских, уступом выходящих на улицу строения канатно-веревочного завода удобны для Маши: она увидит на крыльце Драгомирова, повременит, затем тронется по тротуару, спрятав руки в муфту, и сойдутся они в избранном ею месте: полицмейстер — на чугунном порожке, она — у фонарного столба. И выстрелит не в спину, не даст умереть вдруг, без страха и муки. Издали вид Маши не потревожит его, на ней теперь не хламида из шинельного сукна, среди вещей покойной матери Анны нашлась старая шубка легкого синего бархата, горжетка из черной сибирской лисы, с сухой расплющенной мордой и желтыми стеклянными глазами, старомодные боты и шапка того же синего бархата, отороченная нависающим на глаза куньим мехом.

Маша брела по мосту, ее обгоняли люди, река цепенела внизу, укрытая шугой и «салом», умеряла свой бег.

— Барышня! А барышня! — услышала она женский голос.

Только что мимо Маши по уступчатым мосткам правого берега прошла женщина с котомкой за плечами, она остановилась вдруг и позвала. Маша обернулась: никого ей в это утро не надо, ни доброго, ни злого, ни друга, ни врага, ни чужой злобы, ни участия.

— Неужто не признáете! — дивилась и укоряла женщина.

Она открыла в неуверенной улыбке цинготный рот с поредевшими зубами, конфузливо, виновато подняла рукавицы к щекам и бабьим неумышленным движением раздвинула серый деревенский платок, приоткрыв скулы; все

вдруг прояснилось, обозначилось: густой, озерной прозелени глаза, голодные морщины у рта, дерзко срезанный чувственный нос в неприметных просяных веснушках, тулуп в заплатах и мужицкая волчья шапка под платком.

— Катерина! — воскликнула Маша. Прихлынула радость, разумом ее не объяснить: только что никто не был нужен, любой мог помешать, и вдруг — радость.

— Признали бабу непутевую... признали черную!

И такая была тоска в ее низком, шепелявящем голосе, такое облегчение и жажда участия, что Маша выпростала руку из муфты и бросилась к Катерине Ивановне. Они припали друг к другу, синего бархата шубка и темный тулуп в серых и рыжих заплатах, и Маша говорила, словно на ухо Катерине, чтобы никто больше не слышал:

— Как же!.. Мне вас век не забыть, голубушка, спасительница вы наша... И вас, и девочек, и славного брата...

— Помер кормилец,— сказала Катерина строго.— Сбирать больше не стал; богатый в голод не подаст, а у бедного и для себя нет. Пропали куски, Григорий кормиться не стал...

— Как это? — недоумевала Маша.

— Сожмет десны так, что и силком не разнимешь. Не ест. Сказал: «Я свою жизнь всю изжил. Ты и рук не труди, не суй мне»...— Стала оглаживать на Маше бархат, сдернув рукавицы, будто объятием своим могла что-то загрязнить, испортить в господском платье.— Помнишь, когда вас везла, справа чагравая бежала? Кобыленка. Снегом в тебя из-под копыта кидала. Забили ее,— тихо сказала Катерина,— а поздно: не поднялся уже Григорий...

— Лошадь убили? — В голосе Маши мучительная неловкость, неумение представить себе мертвой резвую лошаденку, и не просто мертвой, а разрубленной на куски, пищей человеческой.

— Не ждать же, пока и вторая упадет; мертвечину исть — грех, а нынче и ее на стол: бог милостив, простит. Теперь ее служба — вся, до конца...— Трудные мысли отрезвили ее, вернули к жизни безжалостной, как она есть.—И тебя перевернуло: выходит, и в сытости-то не сладко.— Свободнее вгляделась в Машу, в выбеленные инеем темные пушинки над губой, в обозначившиеся челюсти, в горящие глаза: — Сыта ли ты?

— Сыта. Пойдемте на Троицкую, там нас немного от ветра укроет. А то в трактир зайдем, здесь еще кормят.

— А мы голодом сидим.— Катерина пошла охотно, внезапно ослабленная, разжалобленная самой возможностью сытости.— Хоронить не стало сил.— И вдруг, словно испугавшись: — Кто же нас в такую рань за стол примет!

Город в предутренней седой дымке, с обещанием нескорого еще жестоко-морозного солнца, редкие прохожие — бегут, и в хрусте снега — стон, стенание.

— Напоят и накормят,— сказала Маша: в ней все еще горестно звучала жалоба Катерины, что нет сил хоронить.— Неужели девочки?

— Живы! — едва не закричала Катерина.— Им нельзя помирать, Марья Николаевна...— Она смятенно завертелась в старых подшитых валенках, озираясь окрест с высокого берега, искала на земле место, куда надо глядеть и глазами, и сердцем, и верой, чтобы за сотни и сотни верст почуять свою родину.— Их Настасья смотрит, старушка убогая. Я им мяса оставила, их чагравая к жизни повезет, это ее горькая, смертная, последняя служба.

— Как же вы решились! — невольно вырвалось у Маши.

— Они у себя в избе, не на чужбине. Настасья справедливая, у девочек крохи не отымет, еще и свое отдаст.— Они остановились у трактира, перед кирпичными, только что скобленными от льда и снега ступенями, ко-

торые вели в полуподвал.— Вот что я тебе скажу: вы мне эту дорогу выбрали, все через вас, через старшóго вашего. И они тут с тобой?

— Старика убили. И Михаила тоже.

— Господи! Обезлюдеет земля, для кого сеять-то?! Что с тобой, барышня?

Не сняв верхнего, только сбросив шапки и платки, они уже присели за стол, но Маша вдруг судорожно поднялась. Ошеломила мысль, что нельзя ей рассиживаться, слушать сердобольную женщину; что у нее с собой нет и гривенника и нечем заплатить даже за чай и ситный хлеб.

— Чем же мы виноваты? — Она опустилась на табурет.

— Без вины виноватые,— сказала Катерина просто.— Вернулась я тогда, после вас, и чуть что — крик: пусть, мол, Катерина, она ссыльных везла, а политики нынче верх берут. Кто по-доброму кричит — Катерина, а кто с умыслом: пусть едет в губернию, авось ее господь в пути приберет.— Катерина заговорила шепотом, быстро, все еще чего-то опасаясь: — Взяли мы у волостного сытую пару, силком взяли, прямо от овса, и с бумагой в дорогу, двое мужиков и я. Их в Киренске схватили, а я увернулась и коней увела. До Иркутска берегла, а тут отняли: не солдаты — воры с постоялого двора увели. Хожу не достучусь, скоро и бумагу прочтут ли?

Бумага поистерлась на сгибах, Маша расправила ее, положила рядом часы: давний подарок отца к окончанию гимназии. Катерина отщипывала булку по кусочкам, не надеясь на зубы, запивала чаем тихо, будто волхвовала, и боялась помешать Маше. Письмо извещало губернские власти о том, что сельский сход уполномочивает ходоков *«ходатайствовать перед его высокопревосходительством графом Кутайсовым о скорейшем доставлении хлеба, за неудовлетворением же по каким-либо препятствиям, то*

*предлагаем нашим уполномоченным обратиться в комитет демократической рабочей партии, которая не найдет ли чего возможным о скорейшей присылке хлеба, чем население избавит от голода и смерти...»*

— И слушать не слушают,— плакалась Катерина.— Ты ешь, хлебушко-то больно сладкий.

— Как еще не отняли у вас бумагу, и это чудо. Нельзя сразу и богу и черту кланяться: вам бы две бумаги написать — одну властям, другую забастовке.

— Ты и разбей их на две; какую кому,— обнадежилась Катерина.— Ты осилишь, грамотная.

— Не дадут вам хлеба, Катя. Кутайсова в Иркутске нет, убежал, забастовщики сами впроголодь.

— А должны бы дать, должны! — упрямо, даже озлившись, возразила Катерина.— Нам выручка нужна, долг под нашу пашню, она в другой год так родит, что и заемное вернем и сами при блинах.— Она истово внушала Маше мысль о святости хлебного займа.— Грех мужика без хлеба бросать, другого такого греха земля не придумает. В городе не сеют, а хлеб кушают, ты и малого кусочка не отщипнула, сытая, чего поутру не съела, в обед доберешь, он тебя и завтра тут дожидаться будет. А нам бы ржаной мучицы, какая потемнее да поплоше: неужто и такой у забастовки нет?

— Откуда у них муке быть! За ними ни власти, ни мельниц, ни хлебных амбаров.

— А чего у них? Пушки?

— Даже и винтовок нет: Иван Васильевич за Байкал уехал, в Читу, там просить.

— В чем же ихняя сила? — кручинилась Катерина.— Сытый мужик и без ружья силен: пашней, руками, трудом своим, а у них какая сила?

— И они трудятся — беспросветно. Железная дорога у них.

— Дорога что — езжалый путь! Она мимо бежит, она

ничья, вроде тракта нашего, пропади он пропадом! Значит, и они нищие,— печалилась Катерина,— и старшой ваш за кусочками в Читу подался, христарадничать. Или там власть крепкая?

— Говорят, будто рабочие взяли там власть.

Маша плохо слушала Катерину: взгляд держался белого циферблата, затейливых, фигурных стрелок, минутная тревожила, надо торопиться. Трактирщик, прислонясь к кухонной двери и лениво огрызаясь на женский неумолчный голос из глубины кухни, наблюдал за странной парой, почавшей рождественский постный день. Времена настали чудные, мужичка и барынька показались ему в паре несуразными. И то, что спросили только чаю с ситным, и часы, выложенные на стол, и равно глубокая, как клеймо, печать страдания на столь несхожих лицах — все было загадочно для него. Потом женщины поднялись — одна от полной чашки, даже не пригубив, нетронутый ее ломоть исчез в котомке мужички,— барынька осторожно подняла со стола муфту, другой рукой потянулась к часам, но не взяла, а будто осенила их, поколдовала над ними, подошла к трактирщику и сказала не прося, приказывая:

— На столе часы, возьмите их в залог: я позабыла дома кошелек. Запомните меня, если я приду с деньгами, вернете часы.

Дверь за ними закрылась, трактирщик поспешил к столу — чистому, без крошек, будто неживые люди сидели за ним — склонился над часами, услышал торопливый их голос, смотрел на них, как на брошенные, отданные ему навсегда, предчувствовал необъяснимо, что женщина никогда не вернется за ними, не судьба ей вернуться, а почему не судьба, он и предположить не мог. Часы добротны, красивы, за них можно хоть месяц подавать гостям сладкий чай и краюху ситного.

Маша постояла у трактира, озираясь, не узнавая го-

рода, посветлевшего неба, благостной тишины с отчетливыми голосами колоколов: близких — Казанского и Богоявленского соборов и разбросанных по городу церквей. Скоро выйдет на крыльцо Драгомиров, выпятит грудь, набирая морозного воздуха, и пошагает к калитке. Она почти побежала, дрожа от холода, Катерина в подшитых валенках спешила рядом. Обогревшись в трактире, она снова была хороша, кровь, измученная, притомившаяся, робко пробивалась к щекам, тронула их не багрянцем, как тогда на тракте, а нежной розовостью.

— День ясный будет, Марья Николаевна,— радовалась она.— Это к верному урожаю, если в рождественский пост ясные дни. А иней на рождество — особый знак: к богатому хлебу.— Маша пригляделась к Иркутску, заросшему по коньки крыш белым мхом, а Катерине все было внове.— Еще мы жить будем и долг вернем, нашлась бы только рука святая и щедрая, накормила бы нынче нас...— На углу Троицкой и Большой она придержала Машу за рукав, враждебно уставилась на особняк генерал-губернатора.— На порог не пустили... хоть умри на глазах! Господи, когда же и твоему терпению конец-то придет? Дети мрут, останется ли душа жива, чтобы прославить имя твое?

— Прощайте! — Освободясь решительно и резко, Маша уже на ходу сказала: — Вы за мной не ходите, нельзя!

— Как же с бумагой?

— Нет!.. Нет!..— твердила Маша, не оглядываясь, избегая ее глаз.— Ничего я не успею... Оставьте меня.

— Я отыщу вас, барышня.— Она смешалась, почувствовав внезапное отчуждение.— Дом свой скажите мне...

— Нет у меня дома... Оставьте меня, ради бога!

— Все ты маешься, вижу, маешься, а отчего — не знаю.— И уже жалость наполняла ее сердце, мягчила низкий, грудной голос, уже она была живое, нелукавое

участие.— Со мной поди, я конуру нашла за гроши... Печка там. Я уйду, сама заживешь...

От ее доброты и участия не было спасения. Маша остановилась, сказала с холодной, безжалостной отрешенностью:

— Забудьте обо мне, Катерина Ивановна. Я иду убивать.

Зеленые, блекнущие глаза заметались, ощупали Машу, ее плечи, руки — как, чем они могут убить?

— Попробуйте, найдите Ивана Васильевича,— продолжала Маша.— Может, у них, в Забайкалье, и хлеб найдется. Я без веры осталась, Катя...— Она сама поразилась своему порыву, уличной исповеди.— Я завтрашний день потеряла. Сегодня все и кончится... непременно должно сегодня кончиться...

— Вот отчего ты часы в трактире оставила!..— Она обнаружила свой приметливый, умный глаз.— Как же ты убить отважилась? Жить без веры — грех, непрощеный, смертный, а ты и второй на душу берешь!

— Все равно: хоть семь грехов, хоть один, самый черный: мне его и надо.— Притопнула ногой:— Не смейте за мной... Слышите!

У дома Драгомирова Машу поразило безлюдье и захолустная глухая тишина. Постояла, содрогаясь исхудавшим телом от холода и волнения, стащила с рук Натальины варежки и уронила их в снег, рядом с узенькой скамейкой у торца сарая. Правая рука скользнула в карман муфты, коснулась револьверной стали, и та неожиданно оказалась не холодной и чужой, а будто ждавшей ее прикосновения.

Успокоенная, вышла из укрытия, издали оглядела переулок, где полицмейстера обычно поджидали сани, не приметила следа полозьев и перешла улицу, хотела уве-

риться, что саней еще не было. У того места, где они останавливались, нога и под снегом чувствовала прогиб тротуара, старые ворота прежде были здесь, смотрели не на завод, а в тишину переулка, со склоненными ветвями вязов, отсюда к присутствию — прямой путь, без поворотов, можно мчать драгомировским галопом.

А что, как дом пуст? — испугалась Маша. У Драгомировых могла быть поблизости родня — на таежной заимке, в Усолье или на Лиственичной у Байкала,— сытым лошадям нетрудно отмахать шестьдесят, а то и сотню верст, увезти господ туда, где можно тайком и чарку пропустить, и набить брюхо скоромным. Она вернулась к сараю, прижалась спиной к дощатой стене и прикрыла глаза. Если отворится беззвучная дверь, она услышит: не ухом, а сердцем, нутром почует. От ее укрытия до крыльца не близко, однако у нее вздрогнут, шевельнутся ноздри, они унюхают врага. Стоило Маше среди дня опустить веки или открыть глаза в ночной темноте, и перед нею вставала тайга, белая насыпь, рельсы, сверкающие под луной, немилосердный темный строй стволов, одежда, сброшенная на снег, люди, с которыми сроднилась в пути. И не утихал страх, стыд, что товарищей гнали на смерть, а она не смела закричать, пока была надежда спасти больного старика...

Из оцепенения Машу вывели беспечные, веселые голоса.

Драгомиров вышел из дому с женой: невысокой и такой длиннорукой, будто на ней не сшитая по мерке шуба, а боярский кафтан с рукавами, болтающимися много ниже пальцев. Они обрадовались безлюдью, пошли друг на друга, толкаясь плечом, полицмейстер дурашливо осел в снег. Жена приподняла ногу, показывая башмак, Драгомиров сбросил перчатку и начал завязывать болтающийся шнурок, потом рука его потянулась вверх по ноге, по бедру, вздымая юбки и шубу, а женщина смеялась

низким, кудахтающим смехом. Маша увидела запрокинутый профиль, редкой белизны зубы, сумасшедшие, закатывающиеся глаза и тяжелый подбородок. Из детства пришел вдруг давно забытый голос богомольной няни, ее привычные, при всяком зрелище низости, слова: «Скоромничают-то баре да собаки!..»

Послышался отдаленный звон бубенцов, за три квартала от завода — это Маша знала на слух. Супруги отряхнулись, полицмейстер натянул перчатки, и они чинно тронулись к калитке. Маша опасалась, что Драгомиров пропустит вперед жену и она прикроет его до самых саней, идя то впереди, то слева, между ним и Машей. Но Драгомиров придержал жену за крутые, полные бедра и вышел вперед.

Маша уже шагала навстречу. Супруги увидели ее, проглянуло солнце, бархат вспыхнул праздничной, сапфирной красой, домашним, соседским радушием. Полицмейстер резко распахнул калитку, встал на порожек носками, оглянулся на жену — балуясь, показывая и ей и незнакомой женщине, как он прыгнет на тротуар.

Подъехали в переулок сани, кучер поворачивал, чтобы встать привычно.

Уже можно стрелять — с четырех шагов — в развернутую на Машу грудь, в живот, в голову с мясистым ухом из-под папахи. Но ей нужны глаза Драгомирова: сейчас он повернется к ней, еще и поклонится.

Вот и его глаза: нездоровые, с сорными, крохотными шишечками, веки, маслянистые, будто в жиру; глазные яблоки навыкате, в прожилках. Только что в его зрачках доигрывал свинский грех, покушение и ее взять взглядом, скотским желанием, и вдруг, от первого же соприкосновения с огнем ее глаз,— смертный страх.

Он закричал, откинул голову и схватился за раму калитки еще до того, как Маша выстрелила.

Она стреляла дважды в грудь, потом, наклонившись

над рухнувшим навзничь, в живот. Спрятала в муфту револьвер, взглянула на ползущую по дорожке жену полицмейстера — не к нему ползущую, а к дому — и спокойно ушла. Переулками вышла на Саламатовскую, ни разу не оглянувшись, будто не боялась или, напротив, хотела быть схваченной.

Маша не стала бы ни отстреливаться, ни стреляться.

Суд был бы ее з а в т р а, последним смыслом прожитой жизни. На суде она рассказала бы, за что казнила Драгомирова. До сих пор это мучительство в ней, в ней одной.

Машу не взяли. Не нашли и не очень искали. Прошли почти две недели бесцельной жизни, то в доме Натальи, то с вызовом, на главных улицах, и не в шинельном пальто, а в синей бархатной шубке. Потом она решилась уехать, одолеть Сибирь с востока на запад, снова миновать и Красноярск и Кемчуг. Добралась до станции Иланской и, никем не узнанная, ни в чем не обвиненная, была убита: каратели Меллера-Закомельского стреляли внутрь депо, в темноту, в дымовую, от горнов и костров, завесу, убивали солдат, рабочих, их жен и детей.

## 17

*Сношения с Востоком благодаря Чите восстановить пока не удается. Почтово-телеграфные мятежники все уволены... Телеграмма 31 декабря была получена около 9 часов вечера, когда уже были сделаны все распоряжения об аресте участников большого митинга, в котором принимали участие видные представители местных крайних партий. Всего было захвачено 233 чел. ...Теперь будут ежедневно производиться аресты главарей и*



*агитаторов. Малое число чинов жандармского корпуса и общей полиции не позволяет этого делать так скоро, как необходимо; упущено много времени и дано разрастись самооборонам, прекрасно вооруженным и хорошо организованным, что заставляет производить аресты с большой осторожностью, тем более что покушение на Мишина и убийство Драгомирова произвели на всех чинов полиции удручающее впечатление и заставили иных заболеть, других подать прошение об отставке; заменить же негодных скоро некем...*

*(Из телеграммы иркутского губернатора камергера Гондатти министру внутренних дел Дурново от 1 января 1906 года)*

*ИРКУТСК — Ренненкампф, что ли, уже приехал к вам? ЧИТА — Уже близко... зададим ему перцу. Нас три тысячи мастеровых и гарнизон с нами... казаки... Ничего не знаете? ИРКУТСК — Дай боже, чтобы ваши слова да богу в уши... ЧИТА — Барон будет осаждать, а казаки читинские его сзади... ИРКУТСК — У вас, ребята, авось выйдет... А правда, что в Маньчжурии расстрелы? ЧИТА — ОН в Оловянной расстрелял четырех, в Маньчжурии трех и в Борзе... А с кем говорю? ИРКУТСК — Свои... ЧИТА — Или пан или пропади все... На бой кровавый, святой и правый против собак... ИРКУТСК — Спасибо! А ты кто? ЧИТА — Свои... ИРКУТСК — Скажи... плохо слышу. ЧИТА — Сво-о-и!*

*(Из телеграфных переговоров)*

Так он еще не ездил никогда за всю неспокойную жизнь. Спальные вагоны от Екатеринослава к границе, подмосковные поезда, составы из Вильно на Псков, от Пскова до Питера и десятки других влачились медленно,

испытывая его нервы внезапными, как облава, остановками, мельканием казенных шинелей, малиновых околышей, витых шнуров, допытливыми взглядами из-под мерлушковых папах и лакированных козырьков. Тюремный вагон тащился к ленским баржам истязующе, словно с оттяжкой: казалось, питерский магнит схватывает вагонное железо, держит его, скрежещет по нему когтями, тиранит и душу.

И вот середина января, сечень, светлеющий, уже к солнцу повернувшийся Пашин сичень, а они летят на запад, из Читы в Иркутск. Иначе не скажешь — летят, хотя поезд-коротышка, поезд-обрубок — паровоз, тендер и три теплушки — грохочет по рельсам на мерзлой земле, задыхаясь, поколачивает по ним железными кулаками. Голос паровоза без протяженности, он рядом, не замирает где-то вдали, в сопках, кулаки колотят без замаха, месят ударами, быстрее, быстрее. Неизведанное, прекрасное ощущение слитности, коренастой, мускульной крепости во всем, жадного, взахлеб, отсчета уже не секунд, а мгновений. Чувство такое, что не только люди рвутся на запад, уже осмысленной этой целью охвачена и мертвая материя: пылающая топка, напрягшийся до предела котел, стальные поршни, даже оседающий к лопате уголь. На скорости, которая заставляет станционных дежурных, сцепщиков и телеграфистов выбегать из тепла на перрон и придерживать руками шапки от поездного вихря, на невиданной в здешней стороне скорости мчится он навстречу бронированным эшелонам Меллера-Закомельского. Еще в Чите, а затем в Могзоне и в Петровском заводе ему дали перехваченные телеграммы Меллера-Закомельского Ренненкампфу. Они не оставляли сомнения: барон рвется к Иркутску, расстреливает без суда, пулеметами по толпе. Вопреки выраженной воле монарха вешать мятежников барон убивает наспех — виселицы требуют времени, ритуала, зрителей, а барон

спешит, обещая Ренненкампфу перехватить бегущих от него мятежников.

Но из Читы не бежали, разве что в одиночку уходили полицейские чины, трусы и нерадивцы, а в глазах карателей — потатчики бунту. Забастовщики, те, кого Петербург называл мятежниками, не бежали — из Читы разъезжались делегаты второго съезда профессионального союза железнодорожных рабочих, в двенадцать отделений союза увозили винтовки и патроны из запасов, добытых на Карымской. Революционная Чита пополнила свой арсенал, теперь главной целью стал Иркутск — туда снарядили этот поезд: часть ящиков с винтовками сложили и в жилой теплушке. Только на подступах к Иркутску можно задержать Меллера-Закомельского и выстоять до той поры, когда революционное восстание с новой силой охватит Сибирь и Россию.

С каждым часом пути встреча с карателями до Иркутска казалась все более невероятной: тугой, надсадный хрип паровоза рядом, неумолчная работа поршней, согласно поднятые семафоры, оседланные рельсами горные подъемы, одолеваемые разбегом, светлеющая тайга, лиственничная, сквозная, чередование хребтов и долин — все прибавляло веры в счастливый исход. До Верхнеудинска паровоз повел Пахомыч; кочегарами к нему вызвались Алексей и мысовской телеграфист Клюшников. В Верхнеудинске подали новый паровоз, с байкальским машинистом и местным кочегаром. Клюшников вернулся в теплушку, а Лебедев остался у топки.

Пока меняли паровоз, они узнали недобрые новости: вслед за убийством Драгомирова в городе и в уездах Балаганском и Иркутском объявлено военное положение, начались аресты в деревнях и пристанционных поселках. И в Верхнеудинске были арестованы начальник станции Пашинский, его помощник Давыдов, механик-контролер Радзиевский, заведующий складом Гольдсобель и отобра-

но около 300 привезенных из Читы винтовок. Но к дому ротмистра Клейфа пришли рабочие депо, и он освободил троих, а Пашинский и оружие уже были увезены в Иркутск.

На дознании жена Драгомирова показала, что убийца была непомерно высока, с лицом смуглым, нерусским и некрасивым, и, выстрелив в третий раз, она будто бы громко захохотала и попятилась, у канатно-веревочного завода ее ждали сани. Портрет не сходился с Машей, но Бабушкин был уверен — стреляла она. Подойти, не дрогнув, стрелять в упор, без риска ошибиться, с решимостью и самой погибнуть, в этом вызове — Маша, ее страсть. Уезжая из Иркутска, он, страшась, ждал этого акта, но шли недели, эсеры бездействовали, ближе к ночи Бабушкину удавалось перемолвиться с Абросимовым на путейском телеграфе. Он словно слышал густой, рубящий фразы голос Абросимова в ответах, считанных с телеграфной ленты. Абросимов не закричит попусту, он и не кричал, но торопил, торопил — в частой смене губернаторов была не только паника, но и брожение.

Шли недели, и чувство благодарности к несчастливой, с надорванным сердцем женщине закрадывалось в душу Бабушкина. В благодарности этой — без жара, без братской нежности — была и холодность, и удовлетворение, что догадался, пришел к ней, смирив гордыню, дело стоило того. Только в редкие ночные минуты, в передумывании всего на свете, видел не ослепленную злобой Машу, не заблудшую душу российской революции, а славную молодую женщину, изнемогшую в борьбе, идущую в одиночку, но честно и самозабвенно на верную смерть. Наступило рождество, посулило передышку до нового года и тут же отняло надежду: о ранении Мишина Чита узнала в первый день рождества, а несколько дней спустя донеслось и эхо новых выстрелов.

Хуже часа не придумаешь: уже мчали по Сибири эше-

лоны Меллера-Закомельского, его люди рвались к бессудной, кровавой потехе, им вслед летели немыслимые прежде приказы Дурново избегать арестов, истреблять мятежников на месте, судить скорым военным судом незамедлительно и казнить, казнить, казнить. После покушения на Мишина арестовали семерых членов Иркутского стачечного комитета, его боевое ядро, несколько дней спустя власти поставили у телеграфных аппаратов охранников из сформированного генералом Ласточкиным специального батальона. Обстановка требовала ухода в подполье; объявленное утром 31 декабря военное положение не оставляло надежд на легальную борьбу, а меньшевистская головка Иркутского комитета РСДРП все еще уповала на неизбежность уступок со стороны властей, дарование конституции и парламента: более двухсот человек, собранных, как на тризну, в Народном доме Иркутска для революционной встречи нового года, стали добычей полиции и жандармов в ночь на 1 января.

Город ответил не страхом, а взрывом: забастовали рабочие депо, всех типографий, кроме занятой солдатами губернской типографии, телеграфисты и приказчики, вышли на улицы солдаты, сохранившие верность забастовке. И вновь заколебались чаши весов, революция и контрреволюция стояли друг против друга, не решаясь на крайности. выжидая, подсчитывая при каждой вечерней и утренней заре число своих бойцов, соратников и дезертиров. Власти ждали подмоги, она спешила к ним в эшелонах Меллера-Закомельского. Рабочий Иркутска ждал оружия, и оно мчало с востока; два четырехосных вагона, казалось, вгибали тяжестью рельсы вместе со шпалами в каменно-твердый грунт; третий — двухосный, с печью и нарами, тоже вполовину заставлен винтовочными ящиками.

На долгом перегоне после Верхнеудинска, когда в теплушку вернулся и Клюшников, улеглись перед Бай-

калом, но сон не приходил, один Ермолаев спал на верхних нарах — на спине, не шевелясь, широким бледным лицом к близкому потолку. У Ермолаева нездоровое сердце, дыхания его не слышно, лежавший на краю нар Савин поглядывал на неподвижного друга, отыскивал на плоском, как у скифского изваяния, лице признаки жизни. Земное существование телеграфиста Ермолаева протекало в нужде — поначалу с больными стариками, а потом, вдруг, незаметно для товарищей, едва успевших отыграть свадьбы,— в большой семье: жена из обрусевших буряток дважды родила ему двойню и снова была на сносях. Ермолаев не телеграфировал ей на Мысовую, не решился тревожить, а Савин и Клюшников позвали своих повидаться, хоть накоротке, пока паровоз наберет воду. Савин ждал встречи с радостным чувством, а Клюшников поеживался, будто уже под натиском упреков, жалоб и слез. «Зря вызвал!..— каялся он.— Нагрянул бы как снег на голову, она и всплакнуть не успела бы. Дом наш близко,— объяснил он Воинову,— от станции двухсот саженей не будет». «Ночью стучать — напугаешь,— возразил Савин.— Может, и четверти часа не простоим, пока добежишь, достучишься, пока узнает спросонья...»

Мешают уснуть грохот и гудки, особенно гудки, в них столько же скрытого, неожиданного, как и в людских голосах; то вопрос пополам с угрозой; то ворчливое, с отходящим сердцем, успокоение; хриплое, на басах, предупреждение кому-то и отчуждение; и удаль, и ликующий короткий вскрик, и прерывистая, тоской пронизанная жалоба; отчаянье слепца, ломящегося вперед; стоны и вздохи после миновавшей опасности; дерзкий вызов и лукавое, притворное покорство; суетность, суетность, а следом молчание, за которым тоже чудится мысль и чувство, молчание и тяжкое, надсадное дыхание машины.

— Ну, чего там? — спросит кто-нибудь у Клюшнико-

ва, когда он с лязгом задвинет двери: его одолевало нетерпение.

— А чего: едем! — отвечал телеграфист или называл полустанок, придорожное селение.— С дороги не сбились.— Он кружил по теплушке в свободном пространстве или присаживался на черно-зеленый винтовочный ящик.— Бароном, верно, еще не смердит на Байкале,— сказал он, когда до Мысовой оставалось не больше двух часов езды.

Слова его обращены к Бабушкину,— он комитетчик, поездил, повидал мир, его и Воинов назвал как-то с т а р ш о й. Именно старшой — не начальник, не командир над ними, а старшой.

Бабушкин ответил не сразу; где теперь может быть поезд барона? Как случилось, что он движется по Сибири с такой скоростью? Когда же он казнит и судит, осаждает вокзалы и депо? Не на ходу же он и с п о в е д у е т губернских сановников, дерет с них монаршим повелением три шкуры! Уже и в Забайкалье докатились отголоски его разбойной гульбы от Пензы и Сызрани, от Челябинска, Отинчак-Куля, Уфы, Шумихи, Томска, а следом и Красноярска, уже замкнулся в угрюмости красноярский кузнец Воинов, узнав, что казачьи сапоги дотоптали жаркие угли красноярской забастовки. А Верхнеудинск оглушил недобрыми новостями: Канск, Иланская, Тайшет, теперь и они — выморочное поле, ископыченное дикими, железными конями барона. На депо Иланской, где собралось более пятисот рабочих с женами и детьми, барон бросил волынцев, семеновцев, роты Звенигородского полка, головорезов из встречного эшелона Терско-Кубанского графа Шереметева полка, сообща они открыли частый, вперекрест, огонь внутрь депо по заметавшимся людям. Густой пар, выпущенный в отчаянии из двух стоявших внутри паровозов, наполнил депо, но огонь не утихал. Людей поджидали у выходов и расстреливали, добива-

ли на снегу, с охотничьим азартом настигали в отдалении от станции[1]. Невозможно допустить, что барон окажется в Иркутске раньше, чем они, есть ведь еще Черемхово, Зима, Иннокентьевская, должны же они замедлить барона, сбить спесь, заставить поправлять взорванные пути — две группы подрывников сутки, как выехали на запад... Бабушкин не успел ответить Клюшникову, с верхних нар заговорил Савин:

— В Верхнеудинске я повидал инженера Медведникова, он рассказал мне важную подробность: при бароне действует почтово-телеграфный чин Марцинкевич. Чиновник третьего разряда, садист, специальный охотник за нашим братом телеграфистом. Требует казней, казней, а розог — только из особой милости. Из Красноярска сообщили.

— Найдется и на него пуля,— заметил Воинов.— Каков бы он зверь ни был, прежде барона ему в Иркутск не попасть.

— Когда там окажется барон, решительно никто не знает.— Савин помедлил, не возразит ли Бабушкин. Бялых сошел с нар, протянул к огню озябшие руки, отсюда ему виден Бабушкин, сидевший внизу, под Савиным.— Я не верю, что могла бы продержаться особая забайкальская революция, отгородиться взрывами. Но работник у нас не так забит, как в России, а мужик не знал крепостной неволи. Нам нужен план действий, который основывался бы на этих качествах.— У Савина неординарное, притягивающее лицо: холеность в мягком подбородке, разделенном вертикальной складкой, рот яркий, упругий, с

[1] Даже в бесправную пору реакции, наступившей в 1906 году, члены Государственной думы (31 человек) обратились с думской трибуны с запросом к военному министру о чудовищной расправе на Иланской, характеризуя действия Меллера-Закомельского как преступное массовое убийство и требуя привлечения его к судебной ответственности.— *Прим. автора.*

резкой кромкой губ и белизной крупных зубов, упрямый нос, утолщенный в переносице и к строгим глазам, к стертым, не очень различимым бровям, чистый большой лоб, удлиненный лысиной, и ранняя проседь в коротких темных волосах.— Разве я не прав, Иван Васильевич?

— Думается, правы, но только в одном.— Он с готовностью вынырнул из-под верхних пар.— Правы, что революции нужен единый план. Не какой-то особенный, а согласованный и решительный план действий. Говорите, здешний рабочий не знал рабства? Что-то не встречал я этих счастливцев и в Сибири; чуть вольготнее, не в той нищете и стесненности, что наш брат в рабочей казарме. Но здесь и работников горстка, а малый опыт делает иных легковерными. Им видится победа, где еще и тени ее нет: отчего так? От слабости здешних властей, от недостатка у нас рубцов и шрамов.— Хоть он и говорил дело, особого сочувствия в спутниках не вызвал: они слишком уж уверовали в сибирскую вольницу.— У здешнего работника есть свои преимущества, но недостатки перевешивают, если сравнивать с Питером или с Москвой. Не нравственные недостатки, не трусость, скорее недостаток зрелости. Теперь все на нас сошлось: заставим барона отступить, и дело можно поправить.

— Отчего они не подрывают его поезд! — вырвалось у Воинова с такой силой, что проснулся Ермолаев, сел, упершись рукой в холодный потолок, удивленный: не к Мысовой ли они подъезжают? — Можно же пустить под откос, разрушить полотно! — Воинов на нарах, разутый, больные ноги только и отдыхают без сапог, колени подтянуты, схвачены крепкими, с переплетенными пальцами, руками, он неподвижен, и оттого еще яростнее, неукротимее бушующий внутри огонь.— Неужели нет смельчаков?

— А если там и арестантские вагоны? — подал голос Бялых.

— К теще на блины он их прет, что ли! — крикнул Воинов.— Под виселицу, под расстрел — вот куда.

— Пока человек жив, он надеется,— мягко возразил Бялых.

— Спросили бы у арестантов, каждый сказал бы: рвите! — упорствовал Воинов. Ему было просто решать: в каждом из тех, кто заперт в арестантском вагоне, он видел только себя, себя, повторенного десятки раз, и не колебался.— Ты, что ли, не согласился бы, Савин?

— Я вероятно, пошел бы на это,— ответил Савин, помолчав.— По-моему, стоит. Но люди разные, и планы у них разные. Поэтому вы неправы.

Воинов со всеми на «ты», повелось это при первом знакомстве, по убеждению, что иначе и не должно быть у товарищей. Отозвались ему только двое: Бялых и Бабушкин.

— И мы здесь разные, а спроси у любого — каждый согласится. Даже у Бялых спроси...

— Почему — даже! — Бялых вскочил на ноги, щербатый рот обиженно кривился, лицо воспалено.— Ты по возрасту, что ли?

— Сердобольный ты, Бялых,— сказал Воинов примирительно.— Ручищи у тебя — не дай господь подвернуться, а душа — как у красной девицы.

— Доброе сердце — не грех,— снова вмешался Савин.— Женщины нежнее нас, а как держатся. Вы задумывались, отчего так много женщин у эсеров? И не фурии, прекрасные женщины.

— Фурии? — осторожно спросил Воинов.— Это кто такие?

— Не дьяволицы, не исчадия ада, перед иной и на колени встанешь. Я думал над этим. Прикурите мне, Бялых, пожалуйста.— Савин извлек из старого, с серебряной монограммой, портсигара папиросу домашней набивки.

— У кого коленки слабые, пускай валится, Савин,— резко отмежевался Воинов.— Есть такие: сначала их умиление гнет, а потом страх в три погибели ломает.

— Лишь бы не подлость, Воинов. Спасибо! — он принял от Бялых папиросу. Слюдянский слесарь остался у нар, наклонился, заглядывая туда, где сидел, бородой в колени, Воинов.— Только бы не подлость и не предательство.

— Страх и подлости откроет дверь,— досадовал Воинов.— Скажи-ка ты им, христа ради, Иван Васильевич.

— А что, как я за тебя примусь, Павел? — Бабушкин сказал это шутливо, но Воинов на руках, броском, вынес тяжелое тело из глубины нар, сел, держа ноги на весу, чтобы не касались пола, смотрел с угрюмым недоверием.— Любой человек проходит через страх. В этом жизнь никого не щадит: есть и тихий страх, с затылка, мучительский, он больше смертного страха изведет.

— Тихий страх! — хмыкнул Воинов.— Мудрено!

— Тихий — к слову, в голове и в сердце он гремит, давит жизнь, с корнями ее выворачивает...— Их насторожил внезапный слом настроения, переход от шутки к чему-то, что мучило его. Что они знали о нем? Что был сослан в Верхоянск, в Читу приехал, как и они, за оружием, были с ним на Карымской, но тихой, прошлой его жизни не знали вовсе.— Ладно, не ко времени я завел.

А Бялых смотрел на него пытливо и просительно, Бабушкин тронул то, что казалось слюдянскому слесарю едва ли не главным в жизни,— отчего же не говорить об этом, а все о карателях, о бароне.

— Нет, Иван Васильевич, ты уж договори, расскажи,— торопил он Бабушкина.

— Вы коснулись важного, может быть самого важного, а времени вдоволь,— поддержал Бялых Савин.— Воинов не обидится на вас.

— Ему нет повода обижаться,— серьезно ответил Бабушкин.— Распорядиться своей жизнью — это не самое трудное, особенно если тебя загнали в западню и выбора нет. Революционер в таких случаях знает, как ему поступить. Страх, когда в тебя целятся, а бежать нельзя, это страх не пустяковый, но пересилить его можно... можно! Так пересилить, чтоб ни крика, ни стона...

— Ну и ну! Завели заупокойную,— послышался недовольный голос Ермолаева.

— Ермолаев прав.— Он смущенно улыбнулся.— Да уж теперь куда деваться! Истинный страх, когда на тебе чужая жизнь. Не чужая,— поправился он.— Близкая, но не одна твоя. Тебе говорят: разожми зубы, встань на колени, потом отряхнешься, у тебя и просят-то малость, а обещают, что уцелеет мать, жена выживет, дочери твоей принесут лекарства в тюремную больницу, она жить, жить будет, не умрет... Вот страх! Днем не застонешь — ночью во сне закричишь.

— А зубы не разжимай! — упрямо воскликнул кузнец.

— Разумеется,— сказал Савин, не сводя глаз с Бабушкина, стараясь угадать, о своем ли он горе, или у него такая натура, что и чужая беда отдается криком? — Не падать же перед ними на колени. Но за другого ничего нельзя решать, пусть каждый распорядится своей судьбой.

Поезд резко, рывками затормозил. До Мысовой верст сорок, и не предполагалось остановок, но паровоз подал голос: предупредительный, тревожный, и следом два коротких вскрика — это вызывали из теплушки Бабушкина. Прыгнули в снег — Бабушкин, Клюшников и Бялых,— когда еще гремела буферная сталь. Воинов догонял, пришлось обуваться. Снег и ветер, облачное небо низко над землей, ледяной, достигающий самой глубины легких воздух.

Справа, на возвышении, призрачно обозначилось окошко сторожевого дома, на рельсах и у дороги чернели фигуры, виднелись розвальни и конь светлой масти, плохо различимый в снежной ночи. Путевой обходчик в тулупе до пят, с зажженным фонарем в руке, а поперек пути, ухватившись за рельсу, лежала женщина. Она неуклюже извернулась, встала на колени лицом к паровозу, закрыла глаза от ударившего в них нестерпимого света, заслонилась левой рукой и, сбросив в снег варежку с правой, стала истово креститься.

— Сатана-баба... От рельса не оторвешь.— Обходчик опасался вооруженных людей.— Уж я ее подымал, а она головой на рельсу — пусть режет, я свое пожила!..— Он еще и посвечивал в ее беспощадно обнаженное фонарем паровоза лицо, пугающее соединением властности и отчаяния, вылепленное с мужской грубостью, мосластое, сильное,— рот тонкогубый и недобрый, с выпяченной нижней челюстью, в сведенных бровях, в больших и плоских серых глазах, будто расплющенных ударом света, тоска и смятение.

— Что случилось? — спросил, подойдя, Бабушкин.

— Снегу понамело, а ехать можно.— Как и старуха, обходчик посматривал вдоль поезда, ожидая появления кондуктора или офицера.— Это, видишь, Белозеровы... жители...— Он замялся, не найдя, в каком роде представлять старуху и того, кто лежал неподалеку в санях.— Авдотья Белозерова тут, а супруг в розвальнях; кончается он.

Старуха взвыла,— воюя с обходчиком, забыла о беде, а теперь вспомнила, взвыла бесслезно и безнадежно, уставясь по-совьи на кучку нечиновного народца. Перед паровозом распласталась, а тут — кому в ноги кинуться, с кем говорить, кто эти люди в худой одежонке?

— Кто такая? — спросил обозлясь Воинов.

— Белозерова! — повторил обходчик, точно этим име-

нем все и сказано.— Староста волостной помирать собрался, а старуха не пускает... На Мысовую к доктору везет. Им и поезд остановить — по карману, любой штраф положи — всё по карману.

— А ты фонарем размахался! Не светил бы, она от паровоза сама б убежала.

— А загублю душу крещеную? На ком кровь да грех? Не па машине, машина при нас, она без сердца.

— Давай, Алеша, сволокем ведьму с рельсов.— Воинов шагнул к старухе.— Нам стоять нельзя.

Не успел рукой дотянуться, она уже снова лежала ничком, ухватилась за рельсу голой рукой и выла, варежкой поелозила по рельсе, а правой рукой не смогла, пальцы примерзли.

— Руку помогите ей освободить,— сказал Бабушкин, и старуха забилась сильнее, опасаясь, что ее оттащат. Под шубой и надетым поверх шубы тулупом угадывалось тело не изнеженное и отжившее, а сухое и верткое.— Что — худые люди? — спросил Бабушкин у обходчика.

— Хуже некуда. Ему в народе прозвище Хорек, а ей — Сатана, сам посуди.— Он побрел за Бабушкиным к саням и заговорил громче: — А и они — люди, и им господь не только дает, берет он от них тоже, живое отнимает. Дочерь в петлю полезла, а сына японец убил, да из орудия, хоронить не нашли. Не хочет бог корня ихнего больше...— Они стояли над розвальнями, обходчик задрал край одеяла, обнажил маленькое, светлоглазое, заросшее, бесчувственное лицо с дергающимся веком и продолжал говорить, не заботясь, что старик услышит его: — Спиридон смирился, нонешнего мужика хуже японца напугался. Их судить хотели, и пожечь. Вот он жить и раздумал, а старуха не отпускает... Она без него вдова, а вдовья доля пустяковая, обидная. Иная в нужде жизнь прожила, она и вдовью долю стерпит, а этой неинтересно.

— Он от чего умирает?

— От зелья! — подосадовал обходчик: казалось, он всю жизнь Белозеровых рассказал.— Сам! У них это в роду: кто в петлю, кто в прорубь. Оттого и лютуют, пока живы.— Бросил край одеяла на место, будто на покойника, а Бабушкин все еще видел глухое к жизни лицо, светлые глаза, в которых отразилась смертная тоска.— А ведь придется взять,— сказал обходчик, не найдя в собеседнике ни злобы, ни жестокости.— Ты и собаку помирать не бросишь, бог не позволит.

— Тащи их в теплушку, только — мигом, две минуты даю. Повезем до Мысовой, потерпим.

— Дело, дело ты решил! — выкрикивал обходчик в спину уходящему Бабушкину.— Сорок верст — пустяки, потерпишь. Спасешь душу, и тебе зачтется, и тебя бог простит... Удачи тебе, купец!..

Хорошо, что попались добрые торговые люди; другого объяснения товарным вагонам он не находил. Заглянув в теплушку, куда поднимал Белозерова, увидел длинные, ладные ящики и утвердился в своем наблюдении — везут и везут в оба конца, кто из России к Байкалу товары везет, а кто в Россию. И все при револьверах: без них нынче через Сибирь и не суйся.

## 18

*Прошу обратить внимание на доблестную, самоотверженную службу телеграфного чиновника Марцинкевича, командированного в мое распоряжение, пренебрегающего всякою опасностью и разоблачающего преступные действия телеграфистов.*

*(Меллер-Закомельский — министру внутренних дел Дурново)*

Сняли второй ящик, придвинули его к чугунной печке, на нижние нары в глубину положили старика, стару-

ха устроилась с краю, в левой руке держала правую, ободранную в кровь на рельсе, сидела без жалоб, неблагодарная, враждебно поглядывая вокруг.

Никто не сожалел, что впустили чужих: до Мысовой близко, не помирать же человеку. Но и участия в людях не было, скорее любопытство, попутный праздный интерес к людям, которым в беде понадобился уже не верхнеудинский, а мысовской лекарь; скоро, скоро станция, а с нею и родной очаг, и свежие новости со всего Байкала и из Иркутска, новости, верно, тоже не в масть, как вязаные от разных пар карпетки на больших ступнях старика,— серый и коричневый. А что, как поезд барона уже сброшен с насыпи и паровоз врезался в мерзлую таежную топь, растопил ее и ушел глубоко, как в могилу? Что, как в Иркутске уже гремит веселая тризна по барону?

— Неужто пары карпеток старику не нашла? Не в масть одела, плохая примета.— Бялых хочется услышать голос старухи.

Она не отвечает. Старуха уже оценила л ю д и ш е к в теплушке, унюхала чужой дух, но и разбоя от них не ждала; после двух месяцев истового страха перед мужиками запах отчуждения был пустяком для нее, он и не подразнивал ее сухого мужского носа, а досаждал ему табачный дым. В ее доме табаком не пахло: сын подростком попробовал, она же и секла, ее рука потяжелей мужней. К дочери жених посватался, хитрый, при Авдотье Ильиничне за табак не брался, а она унюхала бесовский дух и прогнала, не посмотрела, что для дочери это крестом могильным обернется.

— Дьявола тешите,— сказала вдруг громко старуха.— Встарь табашникам носы резали! — Большие студенистые глаза с бессильной слезой у переносицы налились злобой.

Чудно́: она не хотела мира ни с кем, даже и с теми, кто приютил ее и мчит в Мысовую.

— Нынче нам головы рубят,— сказал Воинов.

— И за дело,— отозвалась старуха, стараясь разглядеть Воинова: виделось ей в отблесках печного огня нечто черноволосое, большеголовое, с бесстыжим блеском зубов и недобрых глаз.— Покаянной головы не рубят, господь не допустит. А разбойной не жаль.

— Вы из семейских, так я понимаю? — спросил Савин.

Молчание. Отгадал, что семейская и ладно, о чем еще толковать. Семейская-то, семейская, да от всей переселенной семьи осталась она одна, сиротой попала в чужой дом, не семейский, к казакам, и не скоро в силу вошла — когда уехали с мужем в другую волость за сто верст от Мухор-Шибири. Не рассказывать же и об этом проклятым табачникам. Воинов шагнул поближе к старухе, дымил отчаянно — невысокий, крепкий, облитый красноватым светом.

— Христа распяли, он на кресте разбойников простил, а ты злобишься.

— Против нынешнего те разбойники — дети сущие. Их и простить не грех.

— А нынешние?

— Этих дьявол послал. От них жизнь затмится, мир в огненной пещи сгорит дотла.

— Как же ты угадала, что мы разбойники? — вмешался Клюшников.— По чему судишь?

— Смирный человек нынче в избе сидит, за ставнями. Он под чужое окно не пойдет, он своему свету рад, хоть лучина, а своя. Смирный соблазна не ведает...

— Ах сатана! — вскричал Воинов, то ли негодуя, то ли дивясь дерзкой увертливости старухи. Они встретились взглядом, и Воинову стало не по себе от ее бессильно ненавидящих глаз, от их цепкой приглядки,— старухе помнилось, что чернобородый не обмолвился, назвав ее сатаной, а знает эту ее в народе кличку и нарочно заманил в вагон.— Не мы под твое окно пришли, ты к нам постучалась, приволокла своего. А он живой ли? Чего голоса не подаст? Не мертвяк ли — ноги раскидал, не шелохнет.

Она и не потянулась к мужу проверить — жив ли, будто и жизнь его, и дыхание — все было в ее непреклонной воле, а ему без спросу и помереть нельзя.

— Беспамятный, оттого и тихий,— сказала, помолчав.

— Беспамятный застонет, зубамя заскрипит...

— Он терпеливый, стона от него не жди,— погордилась старуха мужем.— Он знает: все от бога. А на бога зачем зубами скрипеть.

Закричал паровоз — долгим, трубным и залихватским криком,— видно, летел мимо памятного машинисту полустанка или сторожевой избы,— перебил разговор в теплушке, и вдруг громко застонал старик. Людские голоса сквозили мимо него, а этот крик вернул к боли.

— Что у вас с людьми получилось? — спросил Бабушкин.— В волости?

Ему бы надо ответить,— прочиталось в дрогнувших, блеклых зрачках, в жалобном движении кровоточащей руки,— он поспокойнее, сидит, щепки в огонь подбрасывает, он-то и взял их в вагон.

— В волости людей и в горсть не наберешь: нету,— сказала, будто сожалея.— Мужики у нас и казаки.

— Следовательно, крестьяне?

— Христианин,— переиначила она,— кто Христовы заповеди чтит, своей землей доволен, а если он за вилы, за ружье — мужик он и разбойник.

— Хам! — ввернул Клюшников зло.— Не так ли?

— Странно вы говорите.— Савин не дал ей ответить.— А если надел у него нищий, лучшая земля взята кабинетом, монастырями, знатью деревенской? Если он и детей не накормит,— и тогда доволен?

— Сибирь велика,— ответила она убежденно.— Найдется и ему где-нибудь земля.

— Отчего бы вам самим не съехать? При сытых лошадях и в дорогу не страшно, а вы его гоните. По-божески ли это?

— Мы на своем сидим, зачем нам другую землю искать!

— А вот пришла беда, съехали со своего.

— Пусть и мужик едет, коли у него беда,— она и это повернула к своей выгоде.

— Что же у вас с мужиками вышло? — настойчиво спросил Бабушкин.

— Что тебе до нужды нашей?! — Старуха обидчиво свела губы.— Иль посмеяться пришла охота? — упрекнула она его, но беззлобно, с оттенком зависимости.

— Нам это нужно,— сказал Бабушкин строго.— Люди мы давно городские, деревни подолгу не видим.

— Озверел мужик! — сорвалась старуха.— Совести решился!

— Вот не поверю! — Он понял, что рассказ можно получить у нее не угрозами, а недоумением.— Сибирский мужик умен...

— Был ум, а ноне нет. От поры, как объявили нам цареву бумагу про свободы, мужик ума решился. Он с войны неспокойный стал, а эти два месяца дикой сделался. Крепче молитвы знает, где чье лежит, где его земля, а где государева, где его укос, а где монастырские сенокосные пади, где свой карман, а где казна. А ноне свой, дырявый, с казной смешал, на кабинетские леса руку поднял, рубит без спросу и косить грозится, где глаз укажет.

— Зимой — какая косьба: сугробы в стога не сложишь.

— А-а-а! — злорадно покачала она головой.— Злыдню-то и обидно, что не в пору царева бумага пришла: зерно в амбарах, сено сложено, а что не укошено, под снег ушло.— Она жила в тайном и счастливом сговоре с зимой, с метелями, со стужей против мужика.— Косой не возьмешь, замки ломать надо, обухом бить, ружьишко поднять на хозяина.

— И до этого, значит, дошло? — притворно подивился он.

Деревня ожила, крестьяне отнимали, пока больше на бумаге, кабинетские земли, монастырские угодья, требовали упразднить должности полицейских сотских и десятских и казенную земскую квартиру для чиновников, грозились будущим летом взять богатые сенокосные пади, приписанные казне и монастырям, гнали прочь самоуправных лесничих и объездчиков. Лето прошло сухое, знойное, снег лег в звенящую от сухости тайгу, подожги лесничего или высокий, под облако, монастырский омет — сотни верст тайги выгорит.

— К смертушке нашей шло и дошло бы, да оплошали злыдни: пристава не заперли, а прогнали. Я Спиридона — в избу и на запор. Жгите с избой и нас, и этот грех на себя берите.

— За что же вам такая немилость? — спросил Воинов.— Пристава отпустили, а вас нет.

— За правду,— не колеблясь, ответила старуха.— Спиридон печатку сховал, нипочем не отдает. На сход зовут, чтобы и он мирской приговор подписал,— не идет. Они — чет, а мы — нечет, они в крик, а мы молчим.— Упрямая, исстрадавшаяся кровными потерями, она была и счастлива, и поднята над жалким миром своей удачей.— Они к нам с уговорами, а мы плюнем и перекрестимся; а хоть бы и заплакали, слезы ихние дешевые...

— Я бы тебя по миру пустил, ведьма! — Бялых наступал на нее, бледный и оскорбленный.— Зря посадили, пусть бы подыхали на переезде!

— Довезешь! — огрызнулась старуха.— Дело ли вятером против старости воевать? Вон черный-то, борода неприбранная,— она кивнула на Воинова,— его бы воля — он скинул бы.

— Верно говоришь,— рассмеялся Воинов.— Я бы тебя в вагон и не пустил бы.

— Не черни себя пуще черного. И ты взял бы нас, а потом скинул бы, вот ты какой.— Была в ней отвага прямоты

и проницательность.— Перед богом все в ответе: вот и наши-то мужики вразброд пошли. Одно дело усадьбу жечь, другое — душу живу. Одни бабы в слезы, другие, вижу, с хворостом бегут, аж руки от злобы трясутся. Я лицом к окошку, смотрю: жгите, жгите, авось не загорится! Стоят они, лаются, а когда согласились жечь, пристав с казаками налетел. Погуляли по ним нагайки,— ликовала старуха,— резво по избам побежали.

— Жаль, не пожгли вас! — воскликнул Клюшников.— В аду грелась бы, а не у нашей печки.

— Мне в ад нельзя: это и богу и ангелам обида.— Старуха перекрестилась истово.— Я от веры и на вершок не отступилась.

— А твой в петлю полез: это ли не грех на вас!

— Зельем обпоился, кто знает, не случаем ли? — хитрила она.

— Так он кого же испугался? — спросил сверху Ермолаев.— Мужиков или вас?

— Жить ему не под руку стало. Как со зверьем-то жить?

Воинов навис над ней, взъерошенный, страдающий от бессилия что-либо с ней сделать:

— Ты, старуха, помолчи... Сгинь! Давай укладывайся... нянчи своего...

Он отгородил ее от света, был беспощаден в своей нелюбви; старуха покорно подобрала ноги и подвинулась в глубину, к Белозерову.

Нары остались за Белозеровыми; они притаились на нижних, верхние пустовали — Ермолаев сошел вниз. Расселись на двух ящиках, помалкивали, будто гортань и легкие все еще забивал тяжкий дух, гарь злобы, спесивой и, в сущности, холопской нелюбви к людям, и не хотелось ронять человеческие слова в нерассеявшийся смрад.

— У вас семья? — негромко спросил Савин у сидевшего между ним и Воиновым Бабушкина.— Или бобылем

живете? — В негромкости было и приглашение к отдельному от стариков разговору, и извинение, что он ищет связей коротких и более дружественных.

— Семья.

— Большая семья? — Уверен был, что так и есть: старшо́му пошла бы большая семья.

Бабушкин чуркой открыл чугунную дверцу, подбросил дров — без нужды — и той же березовой баклушей приткнул дверцу. Пламя резко осветило лицо, пронизало серый глаз в багровых веках. Савину почудилось давнее неустройство.

— Профессиональному революционеру лучше одному,— поспешил он сказать.

— Хуже,— возразил Бабушкин.— Много хуже.

Воинов снова снял сапоги, грел ноги, покалеченные в Маньчжурии не свинцом, а гнилой болотной водой и морозом. На нем солдатская шинель и армейская шапка. Глаза у него закрыты, но Бабушкин чувствовал: и Воинов ждет чего-то, ждут и другие. Что ему говорить о себе, о чем рассказывать? О Лидочке, с которой не дали проститься, чтобы подследственный Бабушкин не встретился с подследственной Прасковьей Рыбась? О матери, выплакавшей глаза? Когда увидел на рельсах старуху, не разглядел еще, не расслышал, а только приметил поверженную, страдающую старость, ему сразу пришла на память мать, и жалость вступила в сердце, уже он не мог не взять их в теплушку, хоть и знал — берет чужих.

— У нас бобыль один — Бялых,— сказал Савин.

— И Алексей,— отозвался Бялых.

— Алексей юноша,— возразил Савин.— Еще он и не бобыль.

— Видно, нет невест на Слюдянке,— пошутил Клюшников.— Придется Бялых на Мысовую ехать, мы его мигом женим.

— У мысовских телеграфистов подрастают невесты.—

Савин рад, что разговор сошел с чего-то трудного для Бабушкина.— У Клюшникова дочь, у меня две, у Ермолаева сын и три дочери. В Сибири у телеграфистов, как у попов на Руси, дочери больше родятся.

— Вот так договорились! — невесело рассмеялся Воинов.— Попов и телеграфистов в одно сословие вывели.— И вдруг резко: — Меня к бобылям присчитайте: Маньчжурия у меня и жену взяла; я там в болоте, и она, видишь, за компанию в грязь полезла. Правда.— В нем открылась жестокая потребность обнажить жизнь, чтобы всё знали о нем и поняли, что нет на нем ни вериг, ни сомнений.— Кончилась война, а я, как на грех, живой и домой в Красные Яры еду. Начала и она обмываться, спешит, трет до дыр, а не всякая-то грязь сходит.— Он помолчал.— Прогнал ее от себя и не жалею. Мне так лучше, Савин: лу-чше! Прогнал, слышишь, старуха? Слышишь? — требовал он ответа.— Слышишь ты меня, что я жену от себя прогнал?

— Слышу, бес, тебя и мертвый услышит.

— И тебя сбросил бы! Ты вот что: будешь господу о попутчиках говорить — меня здесь не было. Так и скажи, мол, Воинов, к черту на посиделки пошел, вот я и прокатилась.

— Где же тебе и быть, как не с дьяволом!

Воинов босой встал на пол, боль жгутом вязала мышцы, кость будто просквозило ледяным ветром, а следом потянули сквозь нее железную, в шипах, проволоку. Он подавил боль, дал ей выход в ненависти к праведной старухе. В них жила обоюдная, открытая, забивающая дыхание нелюбовь, будто прожили они бок о бок годы и извелись злобой.

Ссора могла зайти далеко, но поезд прогрохотал на коротком мосту, въехал на другой. Клюшников крикнул: «Мысовая!» — дивясь, что станция застигла их врасплох, и откатывая вагонную дверь. Савин заметил бегущую от пакгауза жену и примеривался прыгнуть вниз, Ермолаев

поразился, найдя на перроне жену, которую не звал. Все сошли на пути, и тут же их завертело в толпе. Фельдшерица Паргачевская прибежала сказать Клюшникову, что заболела жена и ждет его дома, и хотела было бежать дальше, но пришлось задержаться, принимать старика Белозерова, определять его в дорожную больницу.

Бабушкин увидел, как застенчиво-стыдливо встретились Ермолаев с женой, не решаясь поцеловаться, будто все им внове и нет у них четверых детей и новой будущей жизни, уже изменившей фигуру бурятки; и мимолетное, словно оборванное, объятие Савина и его жены, их согласный шаг вдоль рельсов, взад и вперед, соединенность их плеч и сплетенные руки, их жадный, с всплесками смеха, разговор; и то, как старуха с фельдшерицей уносила мужа, не замечая своих спасителей, не поклонившись им напоследок,— многое объял его взгляд, но мыслью уже владел схваченный льдом Байкал. Обежать бы поскорее железным шагом его южный угол, прогрохотать вдоль гранитов, еще не потемневших после взрывов, по каменным коридорам тоннелей, увериться, что путь в Иркутск свободен,— и не надо ему до скончания дней, во всяк будущий с е ч е н ь лучшего подарка.

На Мысовой безначалие: комендант станции капитан Костромитинов болен, помощник скрылся, всех тревожит неведение, слухи, что барон наступает несколькими эшелонами, впереди себя гонит паровоз с арестантским вагоном, держит под присмотром рельсовый путь, угрожает массовым истреблением в случае покушения на него. Рыжков — машинист со станции Зима, известный Сибирской дороге смельчак, бродит с товарищами и с грузом динамита в переметных сумах по полустанкам, но к барону подступиться не может.

Несмотря на стужу, в вокзал не уходили; не утихала работа, отцепляли паровоз, подали другой под парами, сменили бригаду. Бабушкин узнавал людей в толпе: Максима

Игнатенко и Ивана Полупина, приезжавших в Читу за винтовками, делегатов профсоюзного съезда Буданса, Проскурякова, Витько,— на маленькой Мысовой, о которой он прежде и не слыхал, он был среди своих, люди храбрились, обещали, если доведется, встретить барона огнем, верили, что Рыжков все же сделает свое дело, приподымет барона с салоном над тайгой, но мысовские мыслью прикованы к Чите. Что Ренненкампф? В своем ли он уме, что хочет наездом одолеть Читу? Уж, верно, генералы поделили Сибирь на карте и пограничным рубежом назначили Байкал: до озера — Меллер-Закомельский, от Байкала до Харбина — епархия Ренненкампфа.

Бабушкин велел машинисту погудеть — поторопить Клюшникова. Умолк гудок, кто-то тронул его за рукав — сзади стояли Савин с женой.

— Прошу познакомиться,— Нина Игнатьевна. Вы на Мысовую не вернетесь, другого случая не будет.

Женщина размашисто сдернула рукавицу, протянула руку, рассмеялась беспричинно счастливым смехом. Карие, прихваченные коричневатым дымком глаза что-то уже о нем знали. Задержала его холодную ладонь в сильных и теплых пальцах, словно открывала ему что-то близоруко прищуренным взглядом и этим пожатием. Черты ее лица крупны: густые брови, почти сведенные над переносицей, отчетливые и так ясно говорящие о переменах ее настроения, ноздри, подвижный, насмешливый рот — все было чуть грубовато и с первыми знаками постарения.

— Бабушкин.

— Как мой Савин? — спросила покровительственно, будто о сыне.— Скучный господин? Не надоел он вам?

— Хотели бы его при себе оставить? — Взгляд Бабушкина озабоченно держался пристанционных домишек.

— И Клюшников вернется, и Савин на Мысовой не задержится, не тревожьтесь! — Она сообразила, что́ его тревожит. — Савин не останется, даже если я умолять буду,

на колени упаду.— Чуть дрогнули колени, будто она, играя, вот-вот опустится в истоптанный снег, в хрипловатом голосе — загнанная внутрь тоска, трещинка, цепляющая слух, закрытый от посторонних страх.— Пусть поживет в Иркутске, мы с ним горожане, а Иркутск — ближайший наш Париж.— Ее дыхание достигало Бабушкина: оказывается, она курит.— Савин не говорил вам о своей слабости? Париж! Книги о Париже, планы, карты: он может показать на плане улицы, где собирались якобинцы, места, где стояли баррикады коммунаров...

— Нина!

— Когда-нибудь жандармы найдут эти карты и выдадут Савина французской полиции!

— У жандармов другие счеты с вашим мужем,— сказал Бабушкин.— Лучше бы им не встречаться.

— А вы тоже скучный господин, Иван Васильевич! — сказала она, почему-то не задев обидчивости Бабушкина, будто насмешкой этой причислила к друзьям.— Клюшников уже бежит, и все у вас будет хорошо!..— Она прижалась к Савину, потеряв шутливость, щекой терлась о его плечо, льнула, не отпускала от себя: вдруг обнажился страх перед дорогой, убегавшей в меловые сумерки январской ночи, перед разверстым входом теплушки, с красноватым огнем внутри, с взобравшимся наверх чернобородым солдатом без погон и ремня на шинели.

От рывка паровоза открылась печная дверца, пламя очертило ребра длинных, как гробы, ящиков, силуэты людей на пороге. Ухо и глаз, а более всего другого — сердце людей, живущих у самой дороги и кормившихся ею, улавливали все отличия этого поезда от тысяч других поездов, прошедших за годы у Мысовой.

Толпа скрылась, а Мысовая, когда перестали мешать привокзальные огни, стала лучше видна из теплушки: без-

людная, с пакгаузами и сараями у мыса, с фонарями у старых складов и дебаркадера. Бабушкину вновь послышались слова: вы на Мысовую не вернетесь, но говорил их теперь не Савин, это был голос его жены, упрекающий, что Бабушкин не разделит их жизни, промчится мимо, в Иркутск, потом в Питер и еще бог весть куда, в города, где ей с Савиным не бывать иначе, как разгуливая по планам и картам. И от возникшего вдруг чувства вины перед каждым человеком и каждым людским поселением, перед любой верстой этой земли; от глупой и неотвязной вины, что никогда не удастся разделить трудной и славной жизни этих людей, измерить шагом версты; от тайного и горчащего чувства образ Мысовой впечатывался в мозг, входил в него словно навеки: одинокий фонарь, мигавший у дальних складов, лед, сложенный в торосы, серое пространство покорившегося морозам Байкала.

Он не до конца задвинул дверь и долго смотрел в мглистый простор. Глазам больше не надо запоминать: серый простор, без горизонта, без звезд, без черного крыла неурочной вспугнутой птицы, без распадков и заснеженных колков, приносил покой. Он не раз говорил себе без заносчивости: ты счастливый человек и людям отплати добром за свое счастье. Ты счастлив учителями, неубывающей дружбой с матерью, и Паша вошла к тебе, как нечаянное счастье, которое ты гнал от себя. Ты оставил Верхоянск около четырех месяцев назад, и разве в эти месяцы не случилась тебе целая жизнь — снега и снега, собачьи и оленьи упряжки, взбаламученный Якутск и миг торжества, что самодержец отступил, немеющим ртом произнес ненавистное ему слово свобода, и Ленский тракт с бунтующим мужиком, Иркутск и Чита, особенно Чита, революция, которая принимала граждан за рабочими комитетскими столами, издавала газету, заботилась о хлебе для народа, была честна и справедлива. Многим ли из тех, кто прожил долгую, до седин, жизнь, посчастливилось коснуть-

ся такого? Собственная жизнь показалась вдруг бесконечной и в то же время короткой, как миг, вся из начал, начал и надежд, вся в преддверии главного. Позади будто несколько жизней — детство в Леденге, потом Питер и Екатеринослав, быстрое превращение заурядного, ч и с л и т е л ь н о г о молодого человека в рабочего-подпольщика, жизнь, описанная им на страницах, оставленных в Лондоне, у Владимира Ильича (когда садился за работу, попросил у Надежды Константиновны десяток листков, казалось, и для них недостанет слов, а как расписался, себе на удивление! — оборвал перед отъездом в Россию, «закруглил» по нужде, а сложив листы, растерялся — так тяжелила руку стопа исписанной бумаги...); и третья жизнь — с побега, с перехода границы, с потери и пустыни родительского одиночества. Эта жизнь не просто длится, она мчится к главному событию, к делу, вес которого еще неведом и ему.

В юности он не любил озираться, работа не оставляла для этого времени. Ссылка подарила новую протяженность часов и дней, подкрадывалась к людям, пытаясь раздавить под глыбами праздного, будто остановившегося времени,— он не дался ей, но и назад стал оглядываться часто, вспоминая, жил и прошлым, Россией, возвращал себе любимых. Мысль его научилась мгновенному облету прожитого, считанные секунды возвращали полноту жизни трех десятилетий.

За его спиной передвигали ящики, звякнули стаканы, кто-то подбросил березовых чурок в печку, огонь разгорелся ярко, чугунной дверцы не закрывали.

— Не заморозил я вас? — спросил он, отступив от двери.

— Ничего, согреемся! — откликнулся Алексей, он перешел с паровоза в теплушку.

— Байкал весь во льдах или только у берега?

— По такой зиме он весь подо льдом,— ответил Савин. — Если зима мягкая, а ветра сильные, может сломать.

— Как же зимой переправа работала?

— Ледокольное суденышко ломало лед, коридором, несколько раз в сутки, лед не успевал заматереть.

— Идите к столу, Бабушкин,— позвал Клюшников.— Наши места не ночью смотреть, и лучше летом, когда море живое.

Ящик на ящике, а поверху снедь: теплые еще шаньги, вкрутую сваренные яйца, брусок сала, ржаной хлеб, домашние пирожки —мысовские дары. Клюшников припас бутылку с темной жидкостью и разливал ее по стаканам и кружкам.

— За тебя выпьем, Иван Васильевич. Лебедев говорит, ты январский, только что на божий свет вылупился.— Воинов придвинул Бабушкину жестяную кружку.— Не всякий день хороший человек на свет появляется.

— Торопится Алеша: в Иркутске завтра все праздники отпразднуем.— Он подавил желание отказаться, открыть, что не пьет и никогда не пил.

— Пейте! — Клюшников заметил его нерешительность.— Завтра, может, не до того будет. Такого дива вам больше нигде не поднесут: это настойка из голубики.

Кружка стоит не на трактирном столе, крашеная доска отделяет ее жестяное дно от винтовочной стали в стылом ружейном масле, всё в этой ночи внове. Взял кружку двумя руками, будто грел их о холодную жесть, окунул в жидкость губы и кромку усов. Хмельной дух напряг ноздри, ожило северное лето, июльская духота только что сложенного стога, вкус дымчато-голубой, раздавленной между языком и нёбом ягоды. Бабушкин разломил пирожок, и грибной запах вошел в него успокоением, памятью детства: грибов не могла отнять у них и нужда.

— Всякую минуту, не то что день, всякий час хороший человек на свет родится,— сказал Савин.— Каждый для добра родится, пока жизнь не извратит природы.

— Как узнаешь, хорош ли? — поразился Воинов.— Колдовать, что ли?

— Нет нужды: приглядитесь к детям, которых еще не развратила среда.

Бабушкина поразило, как точно высказал Савин мысль, которая часто приходит в голову и ему: дети, вот он узелок, когда победит революция, главное — не упустить детей, отнять их у мещанства, у нужды, у злобы, у трактира и разврата,— вот в чем будущее революции. Задача не казалась ему трудной,— может ли быть трудным то, что естественно и отвечает природе человека?!

— Сколько же тебе стукнуло, старшой?

— Тридцать три.

— А что, лета́! — строго сказал Воинов.— Я думал, годков на пять больше. Тридцать три тоже немало.

— Возраст Иисуса Христа,— заметил Савин, но его не поняли, кажется, ничто не отозвалось и в Бабушкине.— Христа в тридцать три года распяли.

— Не верь ты попам, Савин! — Наконец-то Воинов уличил телеграфиста в темноте.

— Попы тут ни при чем. О Христе в книгах написано.

— В церковных, что ли?

— В ученых.

— Ты, что же, в бога веришь? Христа чтишь? С ног ты меня сшиб, телеграфист!

— А вы держитесь на ногах покрепче, Воинов. И я в бога не верю, и книги эти не о боге. Они рассматривают легенду о жившем некогда человеке или о нескольких людях, чья жизнь, простая, земная жизнь, превратилась в божественный миф, использована религией...

— Ну, зачитался ты на Мысовой! Этак и мозги своротишь.

— Чтобы опровергнуть ложь, необходимо исследовать историю.

Бялых и Алексей привязались, чтоб рассказал, и Ба-

бушкину хотелось послушать. Ученость Савина не раздражала, не казалась дарованной рождением привилегией; в революцию он пришел взрослым, прочитав и обдумав сотни книг, определив для себя и такое, мимо чего жизнь прогнала Бабушкина с неимоверной скоростью. Бога Бабушкин отринул в юности, не отличая веры от церкви, молитвы от попа, а отринув, не искал доказательств и не нуждался в них. Много прошло рядом с ним людей, которые могли бы рассказать о Христе не хуже Савина, а он не спрашивал о *пустяках*; друг его юности, косноязычный Костя, все толковал ему о библии, понимая ее учение как социалистическое, но извращенное попами,— успеха он у Бабушкина тоже не имел.

Савин не стал рассказывать: не та была минута или мешали настойчивые и настороженные глаза Воинова.

Как Слюдянка? Неужели и она без связи с Иркутском? Он старался вспомнить Слюдянку, вокзал, станционные постройки, но проезжали они ее с Алексеем ночью, запомнилась только бревенчатая стена вокзала, невысокий перрон, маслянистые, низкие пятна фонарей. Бялых — житель Слюдянки, Бабушкин попросит его нарисовать план станции, подъездные пути, стрелки. С Иркутском связаться необходимо: надо раздать винтовки и патроны на железной дороге, сразу. Абросимов соберет людей, если сообщить ему, что вагоны с оружием на подходе. Алексею поспать бы два-три часа, и он вернется на паровоз. После Слюдянки и Бабушкин займет место рядом с машинистом; это последний отрезок пути до станции Байкал, дорога, пробитая в граните и базальте Приморского хребта, вплотную к воде,— пройдут ее, домчатся без беды до станции Байкал — и путь на Иркутск открыт.

Слюдянка должна иметь связь с Иркутском.

Из глубокой задумчивости его вывел голос Бялых: он пел полюбившуюся им после Карымской песню:

От павших твердынь Порт-Артура,
С кровавых маньчжурских полей,
Калека-солдат истомленный
К семье возвращался своей.
Спешил он жену молодую
И малого сына обнять,
Увидеть любимого брата,
Утешить родимую мать...

Пусть допоет. Бялых уходит в песню весь, будто сам и сложил эти строчки и нет в них ни одного не выстраданного им слова. Не музыкальным складом, а неторопливым рассказом брала эта песня: и пелась она еще каждым посвоему, как душа велит, оттого-то и Бялых брел на ощупь, еще только угадывая свою музыку, не зная, вся ли она повторится в новом куплете или переменится.

Бабушкин вынул из кармана вчетверо сложенный листок: типографская листовка, ответ забайкальцев на воззвание Ренненкампфа. Расправил, положил на ящик чистой стороной вверх, рядом карандаш. На этом листке Бялых прикинет для него план Слюдянки, пути, стрелки, примерные расстояния.

И стиснула сердце тревога:
«Вернулся я, видно, не в срок...
Скажите, не знаете ль, братцы,—
Где мать? Где жена? Где сынок?»

Как же забирает эта песня! Будто о тебе разговор, ты, а не кто другой, встал на остывшем, полузабытом пороге, не зная, живы ли те, кто был твоей жизнью, кто дал тебе дыхание и отвагу жить... И Россия в ней вся, будто певец забрался в такую небесную высь, откуда разом видно и Черное море с «Потемкиным», и поля Маньчжурии, и питерские площади, улицы, мосты, залитые тою же кровью. Беда стесняет дыхание, лютует с е ч е н ь, уходят, падают в черную могильную сень дорогие люди, молодая жена, зарубленная казацкой шашкой воскресным днем, сын, солдатской пулей с н я т ы й с дерева в Александровском пар-



ке, мать, умершая от нагаек, брат-моряк, молодец и красавец, что погиб у Черного моря.

И Бялых не узнать: нет сейчас в теплушке никого красивее, никого мудрее и печальнее. Только рукам неудобно: они привыкли к гитаре, обе на весу и пальцы движутся, чувствуют под собой струны. А тело окаменело, как должен был окаменеть и калека-солдат истомленный у отчего порога; голова Бялых наклонена, лицо укрывается в тени, не хочет света и для себя, когда он исчез для любимых, и только зеленоватые большие глаза, потемневшие в сумраке теплушки, вглядываются вдруг беззащитно в товарищей. И все не нарочно, не по выучке, все оттого, что Бялых живет песней, что в эту минуту он и есть тот горемычный солдат и страдания его подлинные. Не о прошедшем рассказывает он: все случается сейчас, в первый раз, всякое горе, всякий удар— в первый раз.

## 19

*Государь, поздоровавшись с дамами, остановился возле Меллера. «Вы, генерал, когда вернулись?» — «6 февраля утром, ваше императорское величество».— «Далеко доехали?» — «До Читы».— «Ах да, помню, вы мне телеграфировали о сдаче ее... Ха-ха, испугались, канальи...» — нервно рассмеялся государь. «Так точно».— «Ну, мы еще много будем с вами беседовать, а теперь пойдемте обедать».*

*(Из дневника поручика Евецкого,*
*8 февраля 1906 года)*

*8 февраля. Среда. ...Гулял долго и убил две вороны. Пили чай при дневном свете. Принял Дурново. Обедали офицеры лейб-гвардии Павловского полка и Меллер-Закомельский со своим отрядом, вернувшимся из экспедиции по Сибирской ж. д.*

*9 февраля. Четверг. ...Гулял, убил две вороны. Читал много. Покатались и завезли Мари и Дмитрия во дворец. Принял вечером Трепова.*

*(Записи в дневнике Николая II)*

В Утулике Алексей вернулся на паровоз. Остановились разузнать перед Слюдянкой, все ли благополучно впереди, свободен ли путь на Култук и станцию Байкал. Едва откатили дверь, как со вторых путей ударил в уши крик чужого паровоза, какой-то поезд тронулся в сторону Мысовой. Разглядеть не успели: повалил снег, не сыпучий, как на читинском нагорье,— густой, непроглядный снег смягчил морозный воздух.

Дежурный сказал, что ушел продовольственный, восемь вагонов муки для Читы; на Слюдянке спокойно; ходят слухи, что барон замедлился, Ренненкампф телеграммой предупредил его не ездить в ночную темную пору. У Слюдянки нет связи с комитетом в Иркутске,— видимо, все телеграфисты за решеткой. Перед отбытием Бабушкин поднялся к машинисту, условился, что при опасности тот просигналит ему.

Люди уснули еще до Утулика. Только Бялых и Алексей не прилегли, Бабушкин поглядывал на них, не ворочаясь, чтобы не спугнуть блаженной минуты; в такую пору сквозь улыбку и тихий, согласный смех говорится важное, порой самое важное в жизни. Бялых набрасывал на обороте листовки план Слюдянки, Алексей хвалился, что за день у топки стер лопатой ладони до кровавых мозолей, это не то, что гнуть спину у наборных касс. Алексей так живо показывал набор, похватывая пальцами воображаемые литеры и складывая их в ряд, что слюдянский слесарь приподнялся, заглянул в его ладонь, нет ли в ней свинцовой строки? Алексей поднял раскрытые ладони, и оба рассмеялись.

Была ли на них особая мета Сибири, печать свободнорожденных? И в чем она, эта мета? В отваге, в молодом блеске глаз, в несогласии жить рабами, в рано сложившейся свободе размышлений? Все коренное в них, главное для натуры, не разнило, а роднило их с молодыми рабочими России, а их Бабушкин повидал бессчетно за десять лет революционной работы. След Сибири в их речи, отчасти в простодушии жителей окраины, в напряженной, истовой потребности узнавать новых, не частых здесь людей. Есть, есть в них воздух Сибири, и ширь ее, и след ее судеб, но первым и главным глаза Бабушкина прочитывали не различие, а сродство с молодыми рабочими России.

Бабушкин сопротивлялся сну, Иркутск возникал перед ним так осязаемо, будто они уже на подъездных путях и угадывается депо, выбеленный пургой вокзал, толпа рабочих, дожидающихся винтовок прямо на перроне. Губернский город представлялся бессонным, без крика стерпевшим аресты потому, что вся борьба впереди: придет оружие, и грянет бой.

Жизнь этой ночью упростилась до предела: нужно поспеть в Иркутск, опередив карателей. Едва опустеют вагоны от винтовок, встанут новые вопросы — десятки, сотни вопросов,— но этой ночью их еще нет, она назначена для единственного — домчать до рассвета военный груз к иркутскому депо. Оттого-то следом за ним из Читы отправился и Курнатовский, что первый бой надо выиграть у Иркутска. Чита может обратить в бегство харбинских карателей, но если в спину ей ударит Меллер-Закомельский, если война на два фронта — восстание обречено. Курнатовский не из тех, кто затеет военную авантюру и безрассудно отдаст сотни жизней. Вот в ком редкая отвага,— пожалуй, Бабушкин не встречал людей отважнее — соединяется с мудростью, с расчетом и знанием человеческой натуры. Никто не сумел остановить Курнатовского, когда

он решил отправиться в логово начальника нерчинской каторги Метуса. По разумению многих, Курнатовский шел на смертельный риск, отправившись в одиночку в Акатуйскую каторжную тюрьму, а он так же спокойно, как и отправился туда, поглаживая, по обыкновению, лысину тяжелой грубоватой ладонью и ухмыляясь в усы,— так же невозмутимо и вернулся в Читу с матросами, будто только и было забот, что доехать до каторги и надоумить тамошних сидельцев расстаться с казематами.

В Чите при расставании, когда они уговаривались об иркутских делах, Бабушкин помянул «романовку»: тогда долго держался один двухэтажный бревенчатый дом, теперь с ними город, край, Курнатовский крепче сжал его руку, которую долго не отпускал, и сказал: ««Романовка» — остров, и мы подняли над ним красный флаг. Страна должна была услышать голос каторги. Там и крови пролилось немного...» «Жертв могло быть больше, не от вас же это зависело». «От нас,— возразил Курнатовский.— Они хотели бы казнить всех «романовцев», но не казнили даже меня. Не посмели, «романовка» возникла при начале революции, при растерянности властей, сегодня их испуг призвал карателей. Читу нельзя превращать в обреченный остров, это преступление. Против Ренненкампфа город устоит, но нужен еще и иркутский фронт. Барон заехал на тысячи верст от Петербурга, если сбросить его с дороги, Сибирь возродится: кто верит в будущее революции, не станет без надежды толкать рабочих под дула палачей. И хватит ли в Иркутске рук и отваги для вашего груза? — И не дождался ответа, поторопил: — Лети! Лети, Иван! — Курнатовский поразил его и нежданным этим коротким обращением и истовым движением, которым он сдернул с лысой головы шапку.— Пусть тебя и птица не догонит, не то что беспаспортный Курнатовский!» Что-то толкнуло их друг к другу, к неумелому, стесненному мужскому объятию; никогда такого не слу-

чалось с Бабушкиным, да и за Курнатовским не водилось наружной чувствительности,— вся его нежность в теплых, узковатых, под припухлым веком глазах, в участливом голосе. Тут же н а в а ж д е н и е миновало; Курнатовский отстранился, двумя руками надел, наехав на брови, шапку, снова сделался самим собой, с быстрым, зорким поглядыванием вокруг, с насмешливостью глаз и закрытым движением губ, отчего усы топорщились и оживали...

Бабушкин лежал не раздеваясь, накрытый полушубком, перед глазами маячила полоса огня. Сухие поленца выгорали, пламя сникало, наливалось густой желтизной, багрянцем, просинью. Сон подкрадывался и к нему, путал мысли, брал из памяти случайное, давнее, чего он не искал и не звал к себе.

Проснулись от ударов, будто рухнула печка, раня лица расколотым чугуном и угольями. Машинист тормозил бесшабашно; лязг буферов, визгливый голос тормозных колодок, жестяной скрежет разъехавшегося в колене дымохода, стук винтовок внутри сдвинутых ящиков. По теплушке расползался дым.

Машинист звал Бабушкина.

Впереди скудные, мигающие в снегопаде огни Слюдянки, входной семафор открыт, можно бы ехать; но машинист увидел впереди свет фонаря, отчаянные предупредительные знаки, призыв не ехать, сигнал крайней опасности. Он затормозил, и в тот же миг ему послышался выстрел, фонарь упал в снег и погас.

Кто был этот человек с фонарем? Ведь семафор открыт и впереди незаметно чужого поезда или светлого заревца над железным раструбом паровоза, а в ходу здесь черемховский уголь, трескучий в пламени, с гривами искр!

Едва Бабушкин и Алексей вступили на шпалы — паровоз за спиной ослеп, ушел в темноту, чтобы не быть

открытой в ночи мишенью. Бежали, спотыкаясь о шпалы, саженей через сто — стрелка: вгляделись, проверили и на ощупь — не переведена. Бабушкин прошел немного вперед, туда, где машинисту чудился фонарь.

Человек лежал ничком, с подвернутыми, будто подгребал под себя снег, руками, у погасшего фонаря подтаяло, темная папаха, упав, открыла немолодой, в вертикальных морщинах, затылок и повыше, к темени, пулевое отверстие. Бабушкин перевернул тяжелое тело, ладонью счистил снег с русобородого лица, увидел мертвые зрачки, боясь, сострадая, движением, которое запомнилось ему в якутской юрте, когда старик склонился над умершим Андреем, опустил стылые веки и, пригнувшись, чувствуя за спиной опасность, поспешил обратно.

— Беги на паровоз и поезжайте тихо.— Оставить дожидаться у стрелки Алексея раздумал, он сам схоронится в снегу.— Там — убитый кондуктор. Беги!

Барона на Слюдянке не должно быть: военный эшелон обнаружил бы себя огнем локомотива, скрипом вагонных дверей, голосами. Сибирь уже знала: барон не прячется, а гремит, грохочет, старается напугать уже самим своим приближением. Чего бы ему таиться на Слюдянке?

Впереди тишина, только буран усердствует, ветер зарядами, его вой прерывистый, но и в мгновения тишины Слюдянка безмолвна.

Кто же тогда застрелил кондуктора? А что, как здешний пристав или жандарм, ободренный слухами о бароне?

Бабушкин ухватился за железный поручень на ходу; миновав стрелку, поезд остановился. Слюдянский вокзал не подавал признаков жизни, хотя и знал о транспорте, ждал его, открыл семафор. Бабушкин присел у топки, разглядывая план Слюдянки, линии рельсов, крестик второго, выходного семафора и нарисованный Бялых домик с флю-

герком на крыше, собакой у двери и шутливой надписью: «Дом господина Бялых».

Надо двигаться. Осторожно, как шли до стрелки, приблизиться к вокзалу, если там спокойно — остановиться, а при опасности — мимо, мимо, набрать скорость — и вперед, на Култук. «Обойдется! Все обойдется! — безмолвно заклинал он январскую ночь, буран, сделавшийся из помехи помощником.— Должно обойтись...» Они с машинистом смотрели вправо, где раскачивался, то убывая, то вспыхивая кругом света, станционный фонарь, различали уже две сгорбленные фигуры под ним, здание вокзала с сиротливо светившимся окном. Алексей озирал пристанционные пути слева и заметил наплывающую громаду поезда, темную, но не мертвую, с потаённым посверкиванием фонарей, с перебегающими вдоль путей солдатами.

— Поезд! — крикнул он внутрь будки.— Солдаты!

В тот же миг Слюдянка обрушилась на них. Распахнулись вокзальные двери, солдаты и казаки бежали к их паровозу, орали: «Стой! Стой!», кто-то цеплялся за отвесную лесенку паровоза, прижимаясь к ней, опасаясь выстрела из будки. Выстрелы беспорядочно ударили по вагонам, а следом и пулемет хлестнул по тендеру и паровозу, пули сухо щелкали по тележке, по стальным рычагам и осям, затем стали впиваться в стенки будки, пробивать железо трубы. Вскрикнул кочегар, присел, пуля пробила голенище и ногу ниже колена. Справа стреляли бегущие солдаты, слева все быстрее проплывали темные вагоны: из каждого тамбура били в упор.

Залегли на стальном рубчатом полу. Бабушкин считал чужие вагоны, предчувствуя, что еще полминуты — и выстрелы уйдут за спину, откроется простор. Что в теплушке? Хрупкая вагонка не ослабит пули, верно, они все легли на пол, даже и строптивый Воинов.

Вот, кажется, и обрыв, свобода, конец воинского эшелона; открытая платформа, на ней кучки солдат. Бабуш-

кин различил стволы двух горных пушек,— содрогнулся воздух, взблеснул сдвоенным, слитным огнем, артиллерийские снаряды пробили котел, разворотили жаровые и дымогарные трубы, и раздался взрыв, в котором потонул новый орудийный залп.

Паровоз убегал от Слюдянки, быстро теряя скорость. Все, кроме машиниста, поднялись на ноги; по тому, как лежал сухопарый машинист, с вывернутой головой и неудобно подмятой рукой, поняли, что ему не встать.

— Бегите! — приказал Бабушкин Алексею и кочегару, убедившись, что машинист убит. Паровоз замедлился так, что клубившийся пар почти не относило к вагонам.— Помоги ему, Алексей, уходите вдвоем!..

— Мы с вами, Иван Васильевич!

— Уходите! Это приказ, Алеша...— он отдал ему план Слюдянки.— Постарайтесь в дом к Бялых. Свяжись с комитетом.

Он не слушал догоняющих, молящих слов Алексея Лебедева,— прыгнув с паровоза в снег, бросился к теплушке. Его втащили туда за руки Бялых и Ермолаев. Савин хлопотал над сидящим на полу Воиновым — ему прострелили грудь, высоко, под правой ключицей. Кузнец раскинул по полу ноги: одна — в сапоге, другая — в разъехавшейся портянке. Бабушкин приказал уходить двумя группами; если не удастся скрыться, версия для допросов: забрались в пустую, брошенную теплушку, хотели доехать до Иркутска, раздобыть муки, семьи голодают; знакомы друг с другом только мысовские телеграфисты, остальные — чужие.

— Уходите! — В глазах Савина он прочел несогласие. Сквозь буран и шипение пара они услышали приближающиеся крики.

Клюшников и Ермолаев прыгнули вниз, Савин задержался.

— Вы никого здесь не знаете, Бабушкин!

— С нами Бялых. Уходите.— И вдогонку уже глядевшему на него снизу Савину: — Если Слюдянский комитет добудет паровоз, попробуем пробиться к Иркутску.

Уже слышалась глумливая, матерная, глушившая страх ругань. Воинов отшвырнул портянку, голая ступня отекла, не лезла в сапог, шинель не застегивалась поверх прижатой к ребрам руки: она и прежде была в обтяжку.

Так и взяли их троих, в теплушке. Бабушкин и Бялых забросили револьверы в сугробы во всю силу руки, Воинов не успел освободиться: потянулся было, но передумал.

— Солдату оружие не помеха.— Тоскующим взглядом он уставился на Бабушкина.— Пальнуть бы в них, старшой!

Бабушкин присел на корточки рядом с Воиновым, застегивал на нем гимнастерку, что-то нашептывая, уговаривал не горячиться.

Телеграфистов приводили в арестантский вагон по одному: Савина с разбитым лицом, следом Клюшникова и уже после отвальных гудков и попятного подергивания вагонов в темноту камеры втолкнули Ермолаева. Он приволакивал ногу, дышал загнанно, диковато озирался на забранные решеткой окна и клепаную, прихваченную изморозью броню стены. Только у Алексея и кочегара был выигрыш во времени,— они скрылись, пропали в метели, следы на снегу затоптали десятки солдатских сапог и торопливо заметал буран.

В камеру едва проникал мутный, мертвящий свет вокзального фонаря; Бабушкин обошел камеру, ощупал стены, убедился, что в железной двери нет глазка. По двери, по выпирающей клепке и случайным скамьям, по дощатой внутренней стене догадался, что вагон собран наспех где-нибудь в мастерских Челябинска или Омска, когда Меллер-Закомельский спохватился, что понадобится и аре-

стантский вагон. Он постучал в дощатую стену, никто не отозвался: по ту сторону досок пусто, двери в пустующую камеру могут быть не заперты. Другой надежды вагон не давал.

Он прислушивался, не прикатит ли маневровый паровоз, чтобы подогнать груженные оружием вагоны к поезду барона. Все тихо. Убывающие голоса снаружи, чьи-то одинокие быстрые, будто запоздалые шаги, разговор вполголоса у их двери, стук железных переходных щитов. Кто-то прибегал в их вагон, осведомлялся, похохатывал, в коридоре вспыхивала спичка, обозначаясь под дверью нитью света, кто-то выколачивал о стену трубку, и в камеру проникал пряный запах трубочного табака.

Стронулись с места без гудков, крадучись, когда уже казалось, что поезд уснул и дыхание паровоза приглушилось.

Эшелон уходил в направлении Мысовой, транспорт оружия остался на Слюдянке. Пропал в снегопаде станционный фонарь, призрачно промелькнул второй, между багажной конторой и пакгаузом, в камере потемнело. Бабушкин снял с себя шерстяной шарф, на ощупь замотал им ногу Воинова; холодная, будто неживая, безучастная к его заботе ступня испугала его.

— Павел! — Он присел на корточки у скамьи.— Живой? Чего примолк?

— Люблю помолчать, когда на душе весело. Не слышат нас?

— На ходу не услышат.

— Ты тюрьму знаешь? — спросил Воинов.

— Ну.

— И на колесах — тоже?

— Знаю: до Иркутска не в кибитках везут.

— А мысовские сиживали?

Отозвался Савин:

— Я до ареста ушел. Учуял. Ни разу я еще им не дал-

ся. И бояться перестал, они сами по норам расползлись.
— Тебе теперь на них плевать! — Воинов смеялся надсадно, толчками, превозмогая боль.— Ты под охраной барона.
— Как это: учуяли? — спросил Бялых.
— Как собака дичь чует,— ответил Савин.
— Отчего же теперь не учуяли?
— Тут другое,— сказал Савин.— Тут война: могло случиться на день позднее, на день раньше.
— Савин прав.— Бабушкин и в темноте ощущал недоверчивое молчание Бялых: чуют, чуют, отчего же он не учуял беды на пороге дома? — Это чувствуешь, иногда очень остро.
— Много брали тебя? — спросил Воинов.
— До этого — трижды.
— Три раза брали, а Иван Васильевич жив-здоров! — Бялых ободрился, три прошлых ареста отнимали и у этого смертельную опасность.— Не солдаты брали — жандармы.— Бялых смутило молчание товарищей, что-то и в нем заметалось, затревожилось.— А что барон с нами сделает? Ну, сдаст кому-нибудь, избавится... Чего молчите?
— Слушаем,— сказал Воинов.— Хорошо говоришь.
— Думаем,— откликнулся и Савин.— Попробуйте заставьте их поверить, что мы ехали в вагоне при винтовках, а отношения к этому оружию не имеем.
— Я при винтовках,— сказал Воинов.— Я один, от самого Харбина, тут и мой шанс. Вас посадил в Мысовой: пообещали денег и муки в Иркутске.— У него складывался план, кажется, единственно возможный и *жертвенный*.— Посадил, а кто вы — не знаю. Ехали — помалкивали. Чужие, о чем нам толковать: каждый при своем.
— Мысовским нельзя не знать друг друга,— заметил Бабушкин.— Эшелон идет в Мысовую. Лучше сказать, что собрались артелью за мукой в Иркутск. А мы с Бялых

сели в Верхнеудинске, слышишь, Бялых? Сели независимо друг от друга. Ты ездил к брату, к родне, как тебе удобнее. А я по делам в Читу, на обратном пути застрял в Верхнеудинске.

Всё обсудили, и Бабушкин поднялся, заколотил кулаком в дверь. Отозвались не сразу, и он запомнил это: часовой не стоит под дверью, уходит из холодного коридора в служебное купе. Бабушкин потребовал офицера, колотил все сильнее кулаком и каблуками, пока один из солдат не пошел за начальством.

— Чего спешишь? — поразился Воинов.— Успеем наглядеться.

— Невиновный не станет покорно замерзать. Лучше так: их взять врасплох.

Пришли трое: подпоручик в лейб-гвардейском мундире Петербургского полка — он и брал их в теплушке, подполковник в драгунской шинели, наброшенной на плечи, и полковник, в котором вкусивший солдатчины Воинов определил военного юриста высокого ранга.

— Посветите, Писаренко! — приказал драгун, и подпоручик поднял над головой зажженный фонарь.— Кто стучал? Разумеется, все разом стучали. Все за одного, один за всех!

— Стучал я один,— возразил Бабушкин.— И полагаю, против их желания.

— Изволь, говори.

Подполковник взял из рук Писаренко фонарь и в упор светил на Бабушкина, смотрел, не угадывая, какого сословия перед ним человек. Лицо с чертами благородства, складная речь, в распахе полушубка белый воротничок, а лоб, щека и висок в угольной пыли.

— Я требую вежливого со мной обращения.

— Послушайте, Энгельке! — Подполковник словно обрадовался претензии арестованного.— Вы чертыхались, что вас тащат среди ночи к подонкам общества, а тут, ока-

вывается, сошлись благородные личности! — Легкого тона хватило ненадолго; он спросил с угрозой: — Кочегар?

— Посторонний пассажир. Торговый агент.

— Зачем был на паровозе?

Откуда подполковник знает, ведь взяли его в теплушке?

— В Танхое сбежал кочегар, почему-то побоялся дальше ехать.— В словах Бабушкина не было горячности самооправдания, только усталость, унылость даже,— объяснять все это, само собой разумеющееся.— Пришлось в очередь помогать машинисту.

— Еще кто-нибудь успел покочегарить?

— До Утулика — этот господин.— Бабушкин показал на Клюшникова.— А в Утулике я сменил.

— Но у него рожа чистая, а у тебя в угле!

— На полу довелось лежать: из пулемета стреляли, раздумывать не пришлось.

— Почему на паровоз пошли вы, а не другой? — У полковника Энгельке голос не уличающий, а любопытствующий, озабоченный необходимостью не верить, доискиваться истины.— Кто определял это?

— Уголь ворочать охотников мало, а я вызвался. Меня чужие личности тяготят,— признался Бабушкин.— Не в поле ведь, где и разойтись можно. В теплушке тоскливо.

— А все они? — быстро спросил подполковник.

— Трое на Мысовой подсели, будто бы служат там. Нынче нужда кого хочешь за хлебушком погонит. Юноша вот со мной вместе в вагон постучался, в Верхнеудинске. Юноша хороший...— заметил Бабушкин, озадачивая офицеров неуместной грустью.

— А я хозяин, ваше превосходительство! Один я хозяин, а встать не могу. Убили вы меня. В кого-то метили, а меня убили!

Подполковник снова отнял у Писаренко фонарь и посветил: запрокинув голову и вжимаясь теменем в доща-

тую перегородку, сидел солдат. Нога в сапоге елозила по полу, а разутая, опухшая, будто примерзла к нему.

— Поднять! — приказал подполковник.

Казаки подняли Воинова. Натуральный солдат, кряжистый, с окопной, до сроков, сединой в бороде, с неверящим взглядом налившихся ржавой кровью, глаз. Сапог на нем солдатский, и шинель, и шапка, упавшая на пол, только что без погонов.

— Как звать? Какого полка, какой роты?

Воинов назвал полк и полкового, и свою роту, не опасаясь, что явившийся из России драгун уличит его, что полк нерегулярный и распущен по домам.

— Почему в одном сапоге?

— У меня погон оборван, а ты про сапог...— Он умно и храбро, вызывающе даже, шел навстречу беде.

— Я требую дров, дров и огня! — крикнул Бабушкин, чтобы ярость подполковника не сошлась на одном Воинове.— Надо протопить, у солдата обморожена ступня.

— Ты как со мной разговариваешь, подлец! — Подполковник замахнулся на Воинова.

— Бить будешь! — скучно заметил Воинов.— Прежде убили, а теперь бить? — Он усмехнулся, со стоном, с новым клокотанием в груди.— Везли нас на японца, я думал, с Георгиевским крестом домой вернусь. Не привелось, без креста грудь, но и сам не под крестом, жив остался, только ноги испортил. А нынче подполковник Коршунов снова Георгия посулил: довезем, мол, винтовки и пулеметы в Сибирь, и каждому награда...

Воинов поведал о том, как транспорт оружия был захвачен на станции Карымской, как в Чите поручик Севастьянов и четверо солдат, сговорив машиниста, увели паровоз и три вагона, как они г н а л и к Байкалу и за Байкал, прослышав о бароне и рассчитывая встретиться с ним в Иркутске. В Петровском заводе поручик пошел

на станцию требовать воды и угля, и там в перестрелке убили его и трех солдат, но машинист изловчился, увел состав за стрелки и доехал до Верхнеудинска. Перед этой станцией солдату пришлось снять погоны: не тягаться же одному с бандами смутьянов. Выбросил погоны на ходу, и напрасно, Верхнеудинск оказался мирнее других, снабдил углем, а чтобы не ехать одному, солдат пустил в теплушку приказчика и слесаря из Слюдянки. На Мысовой сели еще трое, люди хорошие, незлобивые, так бы и ехали до Иркутска, но на Слюдянке из пулемета ударили. У него и мысли другой не было, что забастовщики бьют, опять зарятся на чужое; и машинист, видно, подумал — смутьяны, уйти хотел напролом, а не ушел...

— Как же так! — возмутился подполковник.— Кругом солдаты, казаки бегут, а вы нас за бунтовщиков принимаете.

— Мало ли здесь казаков и солдат за красным флагом бегут! — посетовал Бабушкин.— Тут и обмануться недолго.

— Ты что за персона, господин в крахмальной сорочке? — Подполковник высок, длиннорук, скор на расправу, а эти людишки ускользают, еще и его винят, мол, убил преданного машиниста, морозит честных обывателей.— Тебя каким ветром сюда занесло?

— В Читу ездил, к купцу Спиро Юсуп-Оглы, лавка его у вокзала. Два вагона муки должен поставить ему. Теперь сомневаюсь, как провезешь? Скоро ли утихомирится здешний народ или прежде с голоду перемрет?

Энгельке приглядывался к Бялых: мнилась ему растерянность в молодом увальне, взгляд Бялых сулил неумение лгать и изворачиваться. Приоткрытый рот, робкое поглядывание на офицеров обещали сговорчивого простолюдина, из тех, что не утаят правды и себе в ущерб.

— Ты, что же, дружок,— обратился Энгельке к Бялых.— Ты и в самом деле житель Слюдянки?

Бялых кивнул, как показалось Энгельке, услужливо, опуская голову и сутулясь.

Всякий день при эшелоне Меллера-Закомельского оскорбляли в Энгельке юриста, правоведа. Люди, которых убивали в депо, на вокзалах, у стен пакгаузов, не вызывали в нем жалости — бесило несоблюдение формальностей. Что, как не с одного барона спросят ответ за казненных, а однажды призовут и его, Энгельке, потребуют правильно оформленных дел, приговоров, по крайности, точных списков? Разумеется, Энгельке состоит при бароне, барон — генерал-от-инфантерии, Энгельке — полковник, но он прикомандирован к барону, к самому барону, а его превращают в безгласный придаток то жандармского полковника Ковалинского, то начальника штаба отряда полковника Тарановского, а чаще всего — этого вот моветона, Заботкина, подполковника 55-го драгунского Финляндского полка, коменданта поезда Меллера-Закомельского. Зачем-то послан же в Сибирь не малый чин, а он, Энгельке, без пяти минут генерал, помощник начальника отделения главного военно-судного управления,— разве они с бароном не ровня? В военно-судном генерала дают не так легко, как доморощенным пехотным гениям.

Пока двигались по Самаро-Златоустовской дороге, Энгельке старался поспеть за событиями, возникал повсюду, где шла расправа, даже сечь мешал без дознания и бумаги. Но им пренебрегали: в Туле ефрейтор лейб-гвардии Санкт-Петербургского полка Телегин проткнул штыком запасного солдата и об товарищей убитого тут же сломали два приклада. На следующий день в Пензе подпоручик Писаренко за ропот и несогласие выстрелом в живот убил в вокзале запасного. С 4 января, со станции Шафраново, Заботкин ввел в моду шомпола и презрительно пожал плечами, когда Энгельке напомнил ему, что и это лекарство должно прописываться военным судом. Поначалу

все били прикладами, но в Сызрани барон, узнав о сломанных винтовках, изволил за обедом пошутить, что если дело пойдет и дальше так, то к Сибири они рискуют остаться безоружными. 8 января барон с казачьим конвоем отправился со станции Омск в дом сибирского командующего генерала Сухотина, на обратном пути в Меллера было сделано два выстрела. Барон собрал офицеров в вокзальном ресторане, потребовал вина, повеселел, стал хвастаться и, по обыкновению, злословить, объявил Сухотина трусом и старой клячей, оседланной жандармским полковником Сыропятовым, который запугал его революцией и бомбами: командующий никуда не показывается, сам себя посадил под домашний арест и даже 6 декабря, в день тезоименитства, не был в соборе. Послушаешь его, думал Энгельке, и поверишь, что всяк вокруг или дурак, или подлец. И только эта мысль мелькнула в законопослушной голове военного юриста, как барон уставился на него: «А вы всё недовольны, полковник! Всё вам мечтается о правильном судопроизводстве. Забудьте! Господа! — Он досадливо-небрежно отвлекся от Энгельке.— Получена телеграмма государя, в ней выражается уверенность, что мы исполним его поручение. Напоминаю всем: начальники караулов и все прочие, любой офицер, выполняющий волю государя, может быть обвинен только в попустительстве и непринятии нужных мер, а никак, никак,— и он снова обратил недобрый взгляд па Энгельке,— не в чрезмерной строгости и превышении власти».

Возможно, барона бесила наружность Энгельке, его уныло-департаментский вид, выработанная медлительность движений, мертвое, землистое лицо с оттянутыми нижними веками и дряблыми щечками, взгляд прилипчивый, но без страсти и подобострастия — все бесило, даже и трезвость юриста, словно он соглядатай в чужом стане. Поезд углублялся в Сибирь, и роль Энгельке сделалась жал-

кой. Он увязывался за Ковалинским и Заботкиным, за несносным выскочкой чиновником Марцинкевичем, прислужничал, привыкал и сам к рукоприкладству. В Иланской за вокзалом столкнулся с женой одного из убитых рабочих, испугался ее и ударил по щеке, потом в висок, в грудь, потом коленом в живот, в пах, и ругался грязно, озираясь, обмирал от стыда и постыдного ликующего чувства, что и он смог, смог ударить рукой без перчатки, а при нужде мог бы и шомполом.

— Был в Чите? — спросил он у Бялых.

— В Верхнеудинске. К брату мать проводил: одной боязно, пассажирские не ходят.

— Верхнеудинск близко,— Энгельке погрозил пальцем.— Мы проверим, проживает ли там твой брат, при нем ли матушка.

— И мне можно с вами туда? — спросил Бялых.

— Если довезешь свою требуху — можно! — вмешался Заботкин.

— Прикажите протопить и доедем, куда денешься! — ожил Бялых, радуясь дороге и жизни.— Солдат раненый, без крови против мороза ему не выстоять.

— Скажи, пусть угля несут,— сурово проговорил Воинов хриплым, севшим голосом.— Хоть в тепле помру.

Заботкин подскочил к Воинову и ударил его по лицу так, что тяжелая голова мотнулась, как неживая; ударил и уставился в его зрачки: что покажут — бунт, ненависть или страх и боль. Смотрел и не углядел ничего нового, то же спокойствие, достоинство, ту же упрямую, тупую, на взгляд Заботкина, погруженность в себя.

— Не верю я тебе, сволочь! — сказал Заботкин.

— Нынче никому верить нельзя,— согласился Воинов.— Ты мне не верь, не верь, пока жив, а помру — помолишься за меня. Ты ж не нехристь, в бога, поди, веруешь?

— Как разговариваешь с офицером, скотина! — Но чья-то отчаянная рука задержала кулак Заботкина. Обернулся и увидел укоризненные глаза торгового агента, подрядчика с воспаленными веками на светлом, благородного овала, лице.— Прочь!

— Мне вчуже больно, господин офицер,— сказал Бабушкин.— Уж лучше меня ударьте, это бог простит.

— В Харбине нас так обучили, ваше превосходительство,— снова подал голос Воинов.— Как офицер к солдату, так и солдат к офицеру, чтоб всему народу поровну, как государь пожелал.

Тревога Бабушкина, что собьются с роли, миновала. Дело запуталось, следствие потребовало бы не дней — недель, телеграфных запросов, дознаний, проверок и перепроверок.

— Как же ты садишься в вагон, а в нем оружие? — не отставал Энгельке от Бялых.— На смерть идешь, а ради чего? Какой твой умысел?

— Вернуться домой: вот и весь умысел. Вижу — ящики, а чего в них? Я и не спросил. Верно, солдат?

— Он песни горазд петь,— сказал Воинов.

— Гробы стояли бы, и то поехал бы! — Бялых улыбнулся.

— А вы? — обратился Энгельке к Бабушкину.— Вы-то, надеюсь, поняли, на чем сидите?

— Как не понять.

— Зачем же не вышли?

— Который год война, и всё оружие возят,— ответил Бабушкин хмуро, не без чувства вины, но и с глухим протестом против обстоятельств.— Всё под него вагоны берут, купцу вагонов нет. Всего оружия не переждешь.

— А что, как это преступное оружие?

— Неужто стал бы его солдат везти? — сомневался Бабушкин.— Там винтовок, надо полагать, на полк. Одно-

му-то зачем? — Он пожал плечами.— Помыслы бывают преступные, а оружие — обыкновенное, товар. Нынче два товара в твердой цене: хлеб и винтовка.

Он охотно отвечал полковнику, но не выпускал из внимания Заботкина, его оскорбленности тем, что они не даются и все им в помощь: поездной грохот, стужа, когда и дрожащий голос и застучавшие зубы не объяснишь страхом, и слабый свет фонаря.

— Какие песни пел этот прохвост? — Заботкин кивнул на Бялых.

— Старинное пел,— ответил Бабушкин.

— «Марсельезу»? «Варшавянку»? Назови! — Он усмехнулся.— Ты мне, рыло кувшинное, три песни назови.

— Не по закону вы со мной и не по совести,— Бабушкин обидчиво вздохнул.— Но ради юноши прощу...

— Ну, лиса! — Заботкин ухватил Бабушкина за воротник полушубка и тряхнул его.— Иди прямиком, не петляй!

— «Ревела буря, дождь шумел», «Выхожу один я на дорогу»...— вспоминал Бабушкин,— «Однозвучно звенит колокольчик»...

— Ну! Еще! — Заботкин повернулся к телеграфистам.— А вы, голубчики, что запомнили?

Вспоминали не пение Бялых — он только и спел что про солдата из Порт-Артура,— а песни, какие в обиходе, если спросит офицер Бялых, чтобы тот не оплошал, пропел бы хоть строфу из «Чудный месяц плывет над рекою», «Хороша эта ноченька темная», «Степь да степь кругом». И тут сорвался Ермолаев: пришла на память любимая:

— «Был один-то, один у отца, у матери»,— сказал и осекся, но уже Заботкин тянул из него жилы, требовал повторить, не слушал сомнений телеграфиста, точно ли пел эту песню Бялых.

А Бялых расцвел широким, веснушчатым и среди зимы лицом:

— Пел! Как же, ее два раза пел. «Был один-то, один у отца, у матери»,— затянул он негромко.

Все один — единый сын.
Как его-то берут, разудалого,
Берут в службу царскую,
По указу его, разудалого,
Берут государеву...

— Хватит! — прикрикнул Заботкин и снова к Бабушкину: — Ты, что же, из благородных? Шута ломаешь?

— Подлого мужицкого сословия я,— ответил Бабушкин с мрачной решимостью говорить правду, не крыться ни в чем.— Однако выбился в люди, свою мысль об жизни имею: на торговлю уповаю и на просвещение.

— Подрядчик! Приказчик чертов! — с ненавистью выкликал Заботкин.— Руки покажи!

Протянул руки, локти прижав к бокам: под мышкой торчали варежки, он привык снимать их так, одним движением.

— Сам мешки грузишь?

— Случалось.

— Когда из ссылки?

— Бог миловал.

— А мы не помилуем!

— Ночь-то, ночь немилосердная! — сказал Бабушкин с глубокой горечью, словно бы с сочувственным к офицеру пониманием.— Кровь напрасная, ночь без сна, это и ангелу не под силу. Даст бог доброе утро, и у нас другие глаза друг на дружку откроются...

## 20

При фонаре, пока Заботкин и Энгельке вели первое дознание, Бабушкин обшарил взглядом внутреннюю стену из неоструганных кедровых плах, в два слоя, судя по загнутым концам плотницких, забитых с другой стороны,

гвоздей. Ножу Воинова, припрятанному в голенище, стена отозвалась костяным неподатливым скрежетом, и все же скреблись, грызли дерево кованной в красноярской кузнице сталью, напрягались поочередно, чтобы не околеть в тряском гулком леднике.

Хуже других Воинову. Наружу крови пролилось немного, она ушла в легкое, отняла свободное дыхание. Его укрыли потеплее, он не мог брести по вагону, охлопывать себя до изнеможения руками; пока не рассвело, Воинов подавал голос, встревал в разговор, покашливал, шумно тянул воздух одним легким, дивясь покойной мертвой тяжести правой стороны и недокучающей боли в спине у лопатки, где застряла пуля, пробившая вагонку, шинель и грудь,— пусть знают, что он жив их заботами.

Безоружный Иркутск не шел из головы, мысль возвращалась к убийству Драгомирова, и Бабушкин впервые открыл товарищам, за что иркутский полицмейстер был приговорен к казни эсерами. Прежде не хотелось говорить об этом, не хотелось трогать Машу, а в эту ночь пришла потребность рассказать: непрощающе, без снисхождения к ее бессильной отваге, но и не торопясь с приговором. Вспомнил тревожный отъезд ссыльных и ночь за Красноярском, когда в тайгу выгнали раздетых людей, и то, что один из убийц, подполковник Коршунов, застрелился на их глазах в Карымской.

— Они пачками кладут, а их не тронь! — Воинов, будто только теперь, и сам заглянув в пропасть, сделал для себя это открытие.— Им любая кровь прощается, а ты ничего не смей! В яму поди, а не смей!

— Она свое дело сделала, попутчица твоя.— Бялых брел позади Бабушкина в тяжелых сапогах, тыкался в спину Бабушкина не от усталости, от нетерпения.— Остался бы при мне револьвер, я бы подпоручика застрелил: живой бы он в вагон не влез! И еще кого: двоих-то непременно.

— Чего дешевить, Бялых! — сказал Воинов.— Дождался бы барона и — в него! Вся Сибирь тебе поклонилась бы.

— Отняли бы! До барона десять раз отняли бы! — выкрикивал Бялых, страдая несправедливым устройством жизни, когда один открыт смерти, а другой ото всего защищен, закрыт, спасен заранее.— Я без промаха! Без промаха! — твердил Бялых, враг виделся ему в двух шагах, как Заботкин и Энгельке час назад, и верил, что без промаха, хотя за всю жизнь успел сделать с десяток выстрелов на читинском стрельбище под присмотром Антона Костюшко.— Наповал!

— Я уже говорил об этом: отчего среди террористов так много женщин? — У Савина обыкновение отвлекаться от вспыхнувших страстей к общему размышлению.— Хорошо это или дурно? Что в этом: будущее движения или обреченность?

Эти вопросы к нему, к с т а р ш о́ м у,— их опыт еще мал, до последних лет Сибирь видела террористов больше в кандалах. Именно здесь, в заснеженных пространствах в и н о в а т о й России, в Сибири, поглотившей сотни осужденных революционеров, открылось Бабушкину как тревожное прозрение, что терроризм живуч, не скоро его избыть России и миру.

— Затупился нож; за неделю не продолбить,— огорчался Ермолаев. Ему трудно ходить, он чаще других скребется ножом, привалясь плечом к стене.

Савин ждал ответа, и не один Савин: капкан захлопнулся, безоружным можно лишь мечтать о выстрелах в барона — средства борьбы у них отняты. В такие часы мысль устремляется к тем, кто свободен действовать, кто утвердил себя поступком, ударом по врагу. Даже Карымская как-то потускнела в памяти, все померкло на миг перед карающей рукой женщины. Не слепцы же сошлись здесь, не им растолковывать, сколь тяжким оказался ее

выстрел для движения, для жизни многих людей; откуда же их спор с собой, совестливые сомнения, потребность — сожалея, даже осуждая, все же снять шапку со склоненной головы? Уже и рабочая Чита, и кандалы, сбитые с акатуевских узников, и легальная газета, и взятие оружия на Карымской — все кажется им не чудом, а будничной работой, а та, одинокая, вынувшая из муфты револьвер, возникает в ореоле мученичества. Что это, свойство души всякого совестливого человека или только русская черта? Европу он видел транзитом, прошел ее полуголодным, немотствующим пассажиром, лондонских рабочих разглядывал в зале тред-юниона, благополучных, как ему показалось, скучно голосующих,— способны ли они убивать своих полицмейстеров? Он жизнью выстрадал идею общей борьбы, восстания массы; он враг эсеровских авантюристов, но и для него Маша — порождение не одного зла.

— С эсерами женщин не больше, чем с социал-демократами,— сказал Бабушкин.— Но в терроре они приметнее, будто на подмостках, их отовсюду видно. Моя учительница по воскресной школе в Питере, молоденькая тогда, Надежда Крупская, совсем молоденькая...— Он помедлил: что для них это имя? А для него в ее имени — жизнь, открытие мира, постижение истины; светлое славное лицо, первым увиденное им в проеме лондонской двери на Холфорд-сквер, человек, не знающий, что такое отдых, тугая пружина всего механизма «Искры», твердость и участливость в одном лице.— Вам ее имя ничего не скажет, а Виктору Курнатовскому говорит и другим профессионалам — тоже. Она делает много, огромно, но пока не победит революция, люди не узнают о ней, а имя женщины, которая застрелила губернатора или полицмейстера, хоть на день, на час займет все умы.

Нож выпал из рук Ермолаева, ударился о пол.

— Можно, я возьму нож? — Бялых присел, шарил рукавицами.

— Ишь, шустрый! Если у тебя резня на уме, не дам,— сказал Воинов.— Тебе жить надо.

Бялых нашел нож и помалкивал, понял, что Воинов не отнимет.

— Есть и другое обстоятельство, Савин,— продолжал Бабушкин.— Бывают женские натуры отважные до безрассудства, для них доводы рассудка — ничто рядом с сердцем, с его потребностью, с прихотью даже. Все у них определяет сердце.

— Разве таких нет среди мужчин? — усомнился Савин.

— Их меньше среди деятельных, поднявшихся до борьбы людей. Что-то делает мужчин такими — служба, семья на плечах, бо́льшая грубость права, не знаю. Много грехов, но идеализма меньше. Не согласны?

— Думаю. Не знаю,— признался Савин.

— А ваша жена, если бы она выбирала партию? — Припомнились ее беспокойные глаза под густыми бровями и покровительственный, превосходящий тон.

— Этого и я не знаю.— Голос Савина смягчился, проникся нежностью.— Она слишком женщина, слишком мать, слишком легкий, веселый человек...— Оказалось, радостно, хорошо говорить о ней.— Мы с ней, в сущности, два дилетанта. Что я сделал: пока еще ничего! Задержал несколько важных телеграмм и передал несколько запретных. Понял, что жить рабом — недостойно... Еще моей заслуги в революции нет,— сказал он твердо.— Вот и поэтому еще я обязан вырваться, уйти живым...— от волнения он остановился, и Бабушкин уткнулся грудью в его плечо.— ...сделать что-нибудь, что заслуживало бы на их суде казни.

— Ты у них казни не проси, Савин, они на это дело щедры! — Что-то по-прежнему раздражало Воинова в

Савине, быть может, докучливая потребность телеграфиста осмыслить и то, что, по разумению Воинова, само собой составляет жизнь и обиход человека, решившегося на борьбу.— С них и телеграммы задержанной хватит, если из Питера, министерская. За государеву четвертовать могут.

— Вот заладили: казнить! четвертовать! Уйдем мы от них. Не до нас им, в Забайкалье им такого огонька поднесут, что думать о нас забудут!..— Бялых природа отпустила много молодого упорства, простодушной веры в счастливую звезду, а вместе с тем и инстинктивного страха, боязни темноты, не этой, ночной, а пугающей и непредставимой.— Ивана Васильевича три раза брали, а он — живой! Бегут ведь, Бабушкин?

— Конечно, бегут. Отчего не бежать, если можно. И я бежал, Бялых, но только однажды.

Надо оставаться на земле, не парить в мечтательности.

— Из тюрьмы? — Он не стал дожидаться подтверждения.— Не из вагона, из настоящей тюрьмы: с охраной, с тюремщиками! — торжествовал Бялых, будто бежал не Бабушкин, а он сам.

И Бабушкина осенило: именно этой ночью, в поездном грохоте, в глухой, давящей стесненности тоннелей он расскажет им о побеге, о Лондоне, о Пскове, о возвращении в Петербург и, может быть, может быть, о Паше. Это зачем-то нужно и ему и людям, которые не бывали за Уралом, никто, кроме Савина, но и тот недолго, в пору оборвавшегося высылкой из столицы студенчества. Глаза едва различали шевеление фигур, он угадывал товарищей по близкому дыханию,— так, в движении, изнуренно волоча ноги, ему оказалось легче говорить, легче исповедоваться в любви к людям.

Как ему сразу не пришло на ум, что этой ночью им надо услышать о России, об огромности революции, о тысячах людей, которые, как и они, вышли на пожизнен-

ную работу,— этой ночью им надо узнать все, чтобы никакая беда не ввергла их в отчаяние. Он повел их за собой в камеру полицейского участка, познакомил с дерзким Горовицем, вывел под иссиня-черное, безлунное небо Приднепровья, вспомнил квартиру на Нагорной улице и свой студенческий маскарад, и краску, которой неумело испортил волосы и усы, описал каждый свой шаг через Европу, и споры с обитателями русской «коммуны», и все, что было потом, в Лондоне и на границе у транспортников, и в не признавшем его Пскове. С трудом преодолел искушение рассказать и о том, что знали в России только два человека — Бауман и Паша, а теперь, после гибели Баумана, одна Паша. Бауман в Лондоне, заглядывая в комнату, куда скрывался Бабушкин, видел, как он сиживал над листами бумаги, писал свои воспоминания,— Паше он рассказал о них на Охте, стесняясь, с насмешкой над собой, повинясь, что ни на одной странице нет ее, даже и в Екатеринославе, хотя какой же Екатеринослав без Паши! Хотелось, чтоб была и она, пробовал, писал, конфузливо комкал бумагу, и пересилил себя,— решил, что пишет он о пропаганде и революции, и можно ли тут, рядом, о личном, об его особом, отдельном ото всех счастье? А теперь во тьме этой нескончаемой ночи печалился и сожалел, что ее нет в воспоминаниях; есть и случайные, уходящие из памяти люди, есть такой подробный рассказ о неудавшейся кооперативной лавке, наподобие Брюссельского народного кооператива, а ее нет, нет, и Екатеринослав словно бы оборван, недосказан, и кто знает, напишет ли он, как обещал в последних строках, *продолжение воспоминаний относительно центра России?* Запоздалой и нежной благодарностью наполнилось сердце к тому, кто усадил его за рукопись, поначалу против воли усадил, настойчиво, будто отыскивал для него дело, которое вернуло бы его в Россию, пусть памятью, строкой, названием городов

и улиц, именами людей. Ему ли, не дожив еще до тридцати, садиться за воспоминания? И зачем они: не для «Искры» ведь,— для нее они велики, не пригодятся, а кому пригодятся?[1] Но Ленин советовал, настаивал, подталкивал, однажды буквально подтолкнул, коснувшись его плеча и искусительно показав, как это хорошо, как блаженно-хорошо бывает поработать и за столом.

Долго сидел тогда он над стопой белой лондонской бумаги, не умея начать, не рискуя заговорить о себе, и все-таки начал, но связанно, с оттенком казенности. Навсегда запомнил первую неуклюжую фразу рукописи: *«Настоящие воспоминания вызваны были тем, что один мой близкий друг, т. е. настолько близкий, что, по русской пословице, мы с ним жили душа в душу, даже больше — чуть ли не единую душу разделили надвое — так, по крайней мере, эта дружба представлялась мне лично,— в подробностях передавал мне все, что он помнил относительно своего превращения из самого заурядного «числительного» молодого человека без строгих взглядов и убеждений — в человека-социалиста, проникшегося глубоко социалистическими убеждениями, разрушающими все старые предрассудки»*. Расписавшись, начав, как говорится, с первобытности, он незаметно распростился с этим другом-двойником, речь стала свободной,— он все собирался исправить, переписать первую страницу, и откладывал, а потом привык и к ней, подумал, что нет нужды трогать и ее, в ней все верно, и даже этот заурядный числительный молодой человек пе портит дела. Теперь в его глазах и в памяти рукопись портило другое: только то, что не нашлось у него слов и места для любимых,— бирючество портило, смешная и горькая, так трудно отпадавшая от него нравственная схима.

---

[1] «Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина» впервые были опубликованы в 1924 году [*прим. автора*].

Ведь спроси он тогда у Владимира Ильича, нужно ли, возможно ли писать и о личном, о близких, о любви, и тот посмеялся бы над ним, пожурил бы, посоветовал бы — писать, непременно писать, и в который-то раз напомнил бы ему свое любимое — о мертвой теории и вечнозеленом древе жизни...

Никто не торопил, не понукал вопросом, когда он примолкал, проверяя, все ли на ногах,— усталое шарканье подошв, задушенный стон Воинова, припадающий шаг Ермолаева. Они ждали, не хотели спугнуть столь нежданной для старшого исповеди. Ничто другое в эту ночь не могло так укрепить их в твердости; ничто другое не дало бы того ощущения верности выбора самого пути жизни; ничто не подняло бы в них так чувства достоинства, как эта исповедь питерского рабочего. И что-то таинственное и гордое было в предчувствии, что рассказ его — величайшая редкость, быть может, единственный такой случай в его жизни, и делает он это не только для них, а больше для себя, из потребности, значения которой они не осмысливали.

— Вот уже и светает: какой еще выдастся день,— сказал Ермолаев, когда Бабушкин умолк.

— Я Мысовой опасаюсь,— заметил Клюшников.— Лучше бы нам ее миновать.

— Как миновать?! Это как же — миновать?! — поразился Воинов.— Семафоры им, что ли, открыть до самой Читы? Лучше уж пусть ваши мысовские рванут эшелон! К чертовой матери, вместе с нами! А, Бялых? — Зачем-то ему нужен был согласный голос Бялых, он особенно уверовал в него.

— Если с бароном в обнимку — хоть в могилу!

— Даже если пытать будут, Иван Васильевич, никто из нас не назовет вашего имени,— сказал вдруг Савин.— Мы им не доставим этой радости.

## 21

Мысовая приняла их без угроз, не подталкивала отстававшего Ермолаева прикладом в спину, не понукала даже Воинова, который обнял за шею Бабушкина и Бялых, повисал на них, волоча ноги по выпавшему ночью снегу. Двое казаков повели их от эшелона к вокзалу, словно вызывая па побег, который мог сулить успех хотя бы двум-трем из шестерых. Поезд барона на третьем пути, между ним и вокзалом два состава — товарный, под которым пришлось проползти, и короткий, пассажирский, без паровоза. Повсюду солдаты, казаки, команды во главе с офицерами осматривают вагоны, никто словно не замечает арестованных, будто их по недоразумению привезли со Слюдянки и, спохватившись, хотят сбыть с рук. Может статься, Заботкину и Энгельке теперь не до них, пусть ими займутся здешние жандармы.

Привели их в кабинет дежурного по станции и снаружи у двери оставили караульного. Савин погасил лампу, комната погрузилась в рассветную сумеречность, будто под воду ушла,— нагретую, жаркую, стесняющую дыхание после режущей морозной сухости. В беспамятство впал Воинов, уложенный на пальто и овчины у печи, которая топилась из коридора, задремал и Бялых, сраженный теплом. Телеграфистов и Бабушкина притягивали окна,— два окна на перрон и пристанционные пути, двойные рамы, по-домашнему проложенные ватой, двойные стекла, за которыми простор, жизнь. Савин держался стены, какого-то места в самом углу, прикладывал к стене ухо. За стеной телеграф, объяснил он Бабушкину, можно услышать громкую речь и стук телеграфного ключа.

Телеграф не подавал голоса, но вскоре послышался топот сапог, удары об пол прикладов, кто-то ворвался туда с криком: «Встать! Руки вверх! Обыскать всех!» Голос высокий, ранящий слух фальцет, сразу даже показалось, что

кричит женщина, но это был мужчина, он выкрикнул свое имя: «Я — Марцинкевич!» «Я — Марцинкевич!» — повторил он, будто одно это имя должно было испугать людей. Дверь телеграфа оставили открытой, Марцинкевич жаждал публичности, едва ли не каждое его слово было слышно в кабинете дежурного. Он потребовал у схваченных на Мысовой телеграфистов тексты телеграмм и телеграфные ленты; начиная с Красноярска Марцинкевич завел опись антиправительственных телеграмм и на станциях старался установить — по дежурствам — имена передававших их телеграфистов, а особенно имена тех, кем была пресечена передача важнейших депеш Дурново, Сухотина и самого государя.

И на Мысовой нужное скоро оказалось у него в руках, он потребовал книгу дежурств, и послышались имена Клюшникова, Ермолаева, Савина, угрозы запороть нагайками телеграфистов, если они не выдадут, где прячется Савин с дружками, приказ немедленно учинить обыск у них на дому. Марцинкевич обосновался на телеграфе, приказал принести туда завтрак и с набитым ртом продолжал ругань и допросы. Вскоре мимо кабинета дежурного кто-то прошел — покряхтывая, припадая на ногу и волоча по полу палку.

— Поселенец!..— встревоженно сказал Савин.

Мысовая знала цену этому неопрятному мстительному старику, убийце, отпущенному перед войной с каторги по тяжелому увечью и какой-то важной у начальства выслуге. Он прошел мимо кабинета к телеграфу, но вернулся, по-медвежьи сопел под дверью, торкался палкой о дверную филенку, трубно сморкался на пол и на стену.

В окрестностях вокзала стреляли. Чаще это были одиночные выстрелы, но возникали и перестрелки, и у арестованных просыпалась надежда: ждали боя, выступлений рабочих дружин, возможности вырваться. День занимался ясный, бесснежный, крыши вагонов тронуло нежной ро-

зовостью и желтизной, серое небо заголубело к зениту, люди на перроне и путях двигались неспешно, переговаривались, смеялись, будто не было выстрелов.

Марцинкевич не отпускал телеграфистов. Их уводили по одному в багажный сарай, пороть нагайками, и приводили обратно. Возвратный шаг их был шаркающий, униженный, будто уходили на порку молодые, а возвращались старики. И снова за них принимался Марцинкевич: где Савин? Где Ермолаев и Клюшников? Кто стоит во главе комитета на Мысовой? Кто верховодит в Верхнеудинске? В Петровском заводе?

Хромой поселенец вмешивался в допрос, он и с Марцинкевичем был непочтителен и раздражал почтового чиновника. И когда, прискучив монотонными уводами на порку, поселенец сказал, что пороть надо шомполами и тут же, на телеграфе, мол, не князья и не столбовые дворяне, пусть полюбуются, как шомпола «по чужим ж... польку пляшут», Марцинкевич обозвал его скотиной и приказал выйти вон, в коридоре дожидаться, когда позовут.

Поселенец снова оказался под их дверью; гневливо постукивал палкой о пол, ругал вполголоса «полячишку», как он окрестил Марцинкевича, и старался втянуть в разговор караульного казака.

Ночь в арестантском вагоне, казнь морозом не были так страшны, как этот час торжества Марцинкевича. Заботкин надеялся, что стужа приберет их за ночь; он приходил в арестантский, прислушивался, ждал тишины, безмолвия морга, но услышал ровный, вдруг оборвавшийся голос человека, назвавшегося торговым подрядчиком. Ночью в вагоне они были сильны, даже Воинова отстояли для жизни. А в кабинете дежурного по станции, в блаженном тепле их казнь оказалась пострашнее: слышать, как уводят на порку людей, быть бессильными свидетелями чужого унижения! Бабушкин страдал, будто шомпола и

нагайки полосовали его спину, страдал вчуже, не зная тех, над кем надругался Марцинкевич; для Савина и его товарищей это были друзья, сослуживцы, соседи. Ни страх казни, ни горькое сознание, что в их домах идут обыски, не сделали с их лицами того, что этот час сострадания и ярости.

И вдруг что-то вокруг изменилось, возникло движение, убыстрение жизни, какая-то ее перемена. Заторопились люди на перроне, паровоз увёл товарный состав, на его место прибыл от Слюдянки второй эшелон карателей, но солдат держали в вагонах. В вокзал приходили офицеры, торопили Марцинкевича, кто-то, ошибясь окном, постучался снаружи не на телеграф, а к дежурному. Бабушкин увидел землистое лицо Энгельке. Они узнали друг друга, но взгляды скользнули мимо, словно отменяя и эту встречу через стекло, и даже ночь в арестантском вагоне.

Энгельке разыскал Марцинкевича, и они уединились на телеграфе. Почтовый чиновник похвастался, что выпорол телеграфистов Мысовой поголовно, и подосадовал, что порол не на платформе, на глазах у всех, как на станции Байкал и на Селенге, а в багажном сарае. Если наказывать на платформе, то должен присутствовать и он, это важно, это ритуал, а он торопился с допросом, барон обещал не задержаться на Мысовой. Энгельке промолчал на это, он уже не решался спорить, относил к понятиям правосудным только тюрьму и казнь, а порку, хотя бы и до смерти, вывел из собственных забот. Он сообщил, что на станции и в поселке арестовано около 150 человек и барон приказал всех передать жандармскому полковнику Сыропятову, потребовал немедля два паровоза, приказ об отъезде может быть отдан в любую минуту, команды, разосланные по Мысовой, возвращены в вагоны. «Барон решил не слушать Ренненкампфа, ехать ночью,— сказал Энгельке.— Вперед он пустит паровоз с

двумя вагонами, командиром назначил подпоручика Седлецкого. Потом — мы, а за нами — отряд Алексеева...»

Энгельке и Марцинкевич вышли в коридор, где все еще стоял караульный казак и покряхтывал старик-поселенец, показывая свою обиду, что изгнан, отвергнут и хлопоты его не вознаграждены.

— Ты почему не идешь в эшелон? — спросил Энгельке у казака.

— Арестованных караулю, ваше превосходительство,— отозвался казак.

— А-а-а! — протянул Энгельке, вспоминая.— Эти со Слюдянки?

— Из арестантского вагона.

— Ну, этих и подавно жандармам сдать. Пойдемте! — Энгельке говорил так, будто не один барон, но и он распоряжался судьбами людей.— Меллер хочет сбыть с рук арестованных.

Марцинкевич не двинулся с места.

— В дороге невозможно следствие, нас обманывают,— скучно говорил Энгельке,— а на проверку ни средств, ни времени.

— Но позвольте, кто они? — упорствовал Марцинкевич.

— Неужто не пресытились поркой? — спросил Энгельке с игривой укоризной.— Ведь хвастались: всех перепорол. Надобно и другим пороть — охотников много.

— Нет, мне бы хоть взглянуть!

— Ничего интересного: все случайно, ничтожно.— Энгельке увлекал чиновника за собой, Марцинкевич упирался.— Солдат из команды, сопровождавшей оружие. Не знаю, жив ли. Слюдянский слесарь. Подрядчик или приказчик, этакий мещанин с претензиями. И три телеграфиста из этих мест.

Марцинкевич рванул дверь и свободной рукой, широким, хватающим жестом, позвал за собой старика-посе-

ленца. Не ворвался в кабинет, а вошел крадучись, глядя под ноги, боясь спугнуть удачу. Сдерживал себя, отдалял миг, когда вопьется взглядом в чужие лица, в дрогнувшие зрачки. Марцинкевич — маленький, стройный, узкогрудый, шуба нараспашку, бобровая шапка под мышкой, на тонкой шее тяжелая к затылку голова со странным, запрокинутым лбом, с наполеоновской прической, и на курносом, незначительном лице пронзительные, сумасшедшие глаза, будто насильственно, до выступивших слез, вставленные в тесные глазницы.

Старик-поселенец прошелся по комнате, нарочно задев палкой Бялых, толкнув Воинова на деревянном диване, а Савина и Клюшникова ткнул по-приятельски в бок растопыренной пятерней. Закудахтал облегченно и радостно, дивясь нерасторопности телеграфистов.

— С возвращением вас, господин Савин.— С внезапной легкостью поднял суковатую палку и упер ее в грудь Савина.— Быстро обернулись, любезный.

Савин выбил из его рук палку, она ударила Бялых, и он вскочил на колени, озираясь, не понимая, что происходит.

— Изволите гневаться, касатик,— радовался старик гневу Савина, протягивая руку к Бялых, чтобы подал палку.— Не довезли ружьишки до Иркутска? Давеча от Мысовой отъезжал, как великий князь, своим поездом, а нынче — каторжник, а то и похуже...— Он провел ребром ладони по заросшей волосами шее.

— Савин! Савин! — тихо повторял Марцинкевич, опробовал сладостное имя на вкус, ждал, когда утихнет дрожь торжества.

— Уберите же этого хама, господин полковник! — Бабушкин нарочно обратился к Энгельке, хотя и уразумел, что дело они будут иметь с почтовым чиновником.— Неужто в отношениях между людьми приличными, даже в крайности, нужен еще и холуй!

— А ты кто таков?! — Марцинкевич рванулся к Бабушкину, нарушив методу,— паучье, медлительное выжидание момента действовать наверняка. Сероглазый презрительный человек не опасался его, не хотел замечать. Он словно отгораживал от Марцинкевича телеграфистов — сословие, отданное, начиная с Омска, лично ему на суд и расправу.

— Я пожалуюсь барону! — Бабушкин держался своего, смотрел в мертвое, серое лицо Энгельке поверх темных, нафиксатуаренных волос Марцинкевича.— Продержать солдата, защитника России на морозе всю ночь — это ли не грех, господин полковник!

Марцинкевича надо выбить из наезженной колеи, держаться дерзко, без страха, намекнуть на его ничтожество, и тогда можно ждать неистовства и ошибки. И правда: Марцинкевич вцепился руками в отвороты его пиджака так, что не сразу удалось и стряхнуть его, кривил налитое кровью лицо, орал, что барон не станет слушать злоумышленника против престола, что хотя барон и рядом, но для таких проходимцев он дальше, чем Луна от Земли и Мысовая от Петербурга.

— А ведь господин болен,— сочувственно сказал Бабушкин Энгельке, поправляя помятые лацканы.— Я в холеру при докторе состоял, добровольно, единственно по долгу и велению совести. И скажу вам: болен, господин весьма болен.

Ничего подобного не испытывал Марцинкевич с первых лет службы, когда его малый рост, пучеглазость и рвение вызывали насмешки коллег. В эшелоне карателей он сразу нашел себя, пресек шутки, поднялся над другими бессонной жестокостью. Скоро все согласились с монополией Марцинкевича на телеграф, с его м а л о й властью; что ни говори, а телеграфисты на Сибирской дороге исчислялись сотнями, а каратели имели дело с тысячами. И вот на Мысовой, при вступлении их в Забай-

калье, над ним смеются! Приданные ему казаки увели к жандармам выпоротых людей, а эти глаз не прячут, они еще и брезгливо-холодны к нему, а военно-судный олух в полковничьем мундире помаргивает белесыми немецкими ресницами.

— Пороть!..— Он кричал словно в пустоту, кричал казаку у двери, царапнул пальцами по замасленному рукаву тулупа поселенца, требуя и от старика действовать, не стоять на месте.— Нагаек им! Шомполов!

— А это извольте одуматься! — сказал Бабушкин, не выходя из роли.— Это и вчуже стыдно слушать. Извольте извиниться, господин Марцинкевич!

— Ты!.. Ты!.. — захлебывался злобой чиновник.— Откуда знаешь мое имя?

— Как же-с, вы его давеча так выкликали за стеной, будто со страху. Этак в особняках на Неве дворецкие знатных господ объявляют. Князей! — важно сказал он.

Он снисходил к темноте Марцинкевича, рассказывал о вельможах, которые не ему чета, принял на себя все неистовство Марцинкевича, заставляя его забыть о телеграфистах, даже о Савине — главной находке этого дня.

Энгельке сделалось жаль Марцинкевича, он взял его под руку и сказал дружески и с конфиденцией:

— Так сдадим и этих жандармам! Меллер решил не таскать с собой в Забайкалье этот товар.— И добавил тихо: — У барона, кажется, сдают нервы.

— Нет! Позвольте! — Чиновник дернулся, точно отпрыгнул от Энгельке с той же яростью, какую испытывал к арестантам: — Жандармам переданы те, кто схвачен здесь, а эти доставлены из Слюдянки. Зачем-то же их, черт возьми, везли ночь! Я принесу жалобу барону, Павел Карлович: вы берете ночью те-ле-гра-фи-стов при самых подозрительных обстоятельствах, и как я об этом узнаю? Случайно-с! Солдат, говорите! — Он уставился на Воинова, который очнулся, присел на диване, был страшен сое-

динением нежпвой белизны лица с черной взлохмаченной бородой и ненавидящими, потерявшими осторожность глазами.— Без погон! А что, как он нарочно в солдатском, для возбуждения умов, чтобы жители полагали, что и солдаты с бунтовщиками?! Извольте их обратно в арестантский!

Энгельке колебался: монополия Марцинкевича на телеграфистов задевала его и раньше, об арестах и порке служащих телеграфа он узнавал случайно, за обедом: барон взял за привычку справляться у почтового чиновника, каково нынче в его охотничьих угодьях, и, подразнивая офицерский синклит, ставить его в пример другим. Теперь он мог бы взять верх над Марцинкевичем: Заботкина одолели приготовления к отъезду, барон раздражен, он уже распорядился судьбой арестованных, команды потребованы в вагоны. Не будь в кабинете и самих арестованных, он нашелся бы, что сказать свистуну, а при них трудно.

— Помилуйте! — спохватился Марцинкевич.— Они ведь даже не пороты! Савин! На нем вся вина; где непокорство, дерзость, самовольство здешнего телеграфа, там и Савин. В вагон их, в вагон! У нас будет время сбыть их с рук.

— Напрасно, господин Марцинкевич! — подал вдруг голос Ермолаев. До этой поры он не поднимал глаз, клонил книзу скифское лицо, поглаживал опухавшую в тепле ногу.— Великий грех на душу берете: дети у меня, четверо...

— Заткнем глотку! — откликнулся Марцинкевич.— И тебе, и щенкам: по такому отцу им одна судьба — сиротская.

— Ах, сударь! — в притворной горести сказал Бабушкин.— Хромой ваш прислужник под дверью у нас полячишкой вас обзывал, а вы, погляжу, злее татарина...

Марцинкевич бросился к двери и столкнулся со ста-

рухой,— кряжистой, громоздкой в овчинном тулупе, и с другим тулупом, перекинутым через руку. Она ухватила Марцинкевича цепкой рукой, не отпускала, требовала места в поезде на Верхнеудинск для себя и для мужа, вернее, для гроба с его телом. Пока дышал муж, что-то человеческое просвечивало и в расплющенных, недоверчивых глазах Белозеровой, какая-то тоска, неправая, на злобе взошедшая, но — тоска. Теперь в них мрак, готовность принять все тяжкое, вдовье, что ждет ее в волости.

— Помер, значит,— не удѐржался Воинов.— Убёг!

— Помер! — горестно подтвердила старуха, не обернувшись.— Посулил господь — жив будет. Фельдшерица над ним ночь билась. По темной поре не помер, а с солнышком и вовсе не надо, кого бог поутру живым узрел, тому и милость. А тут поезд антихристов, казаки всех похватали: дóктора, фельдшерицу. Я в ноги кинулась: кричу: «Рóдные, погодить надо! Дайте им прежде душу христианскую из могилы поднять!» А меня с крыльца да в снег, ногами, ногами куды ни попало...

— Горе! — усмехнулся Воинов.— А мужний тулуп прихватила!

Вот когда старуха услышала Воинова отдельно: проклятый табачник развалился в шинели на деревянном диване, старухе и в голову не шло, что они под арестом.

— А-а-а! Забастовка проклятая! — кинулась с кулаками на Воинова, уронив тулуп, и вцепилась бы в бороду, если бы Бабушкин не удержал ее.— Голытьба чернопузая... Вот вы как в силу вошли, Сибири обман учинили: барон, кричат, едет! А выходит — ряженые, в чужое одетые! Одно семя антихристово!..

Марцинкевич оживился, унюхал выгоду, еще не знал, какую и в чем, но красноватые, насморочные ноздри вздрогнули. Он подскочил к старухе, взглянул на нее расширенными глазами, взглядом, который считал гипнотическим.

— Эти — арестованные! — Жестом он разделил кабинет на две половины.— Мы — власть. Барон на Мысовой. Отвечайте спокойно: знаете этих людей?

— Как не знать. Пришлый народец...— Повела казнящим взглядом по лицам, дрогнули зрачки, встретясь с глазами человека, который позволил им доехать до Мысовой, дрогнули и соскользнули вниз, к Бялых.— Погубители наши.

— Как же погубители твои, если пришлые? — спросил Энгельке.— Ты кто такая?

— Вдова.

— Это мы уразумели. Чья вдова?

— Спиридона Белозерова.

— Я ее с мужем в теплушку посадил, до больницы довез,— объяснил Воинов.— Их супруг где-то здесь волостным старшиной был.— Он поворачивал дело к своей выгоде и нарочно обратился в Энгельке: — Давеча в вагоне, ваше превосходительство, ночью, о том и шел разговор: мучаются люди при вокзалах, я и подсаживал, кто под руку шел.

— Верно говорит солдат? — спросил Энгельке у старухи.

— Дьявол, а верно сказал. Довезли.

— Отчего ж они погубители? — Марцинкевич сердился, снова все расползалось под рукой.

— Жизни всей погубители, вот что,— втолковывала она.

— Я тебя с рельсы поднял, а ты вот как! — обиделся Воинов.

— Спасал, да не ты! — Старуха показала на Бабушкина.— Во-на-а, кто у них артельный. Его слово первое и последнее: он и умом пораскидистее других. Он и ящикам хозяин, не солдат же.

— А в ящиках что? — спросил Марцинкевич.

— Ровно гробы черные.— Старуха пожала плечами.

— Не запомнила ли ты их имен? — спросил Марцинкевич.

— Один он сказался.— Старуха снова показала на Воинова.— Передай, мол, господу, что Воинов к черту на посиделки пошел...

— Однако же артельным она вас назвала,— обратился Марцинкевич к Бабушкину.— Вас признала хозяином.

— Темнота! — сказал Бабушкин и ободрился удачно найденным словом.— Тем-но-та-с! Уж такая беда нашего простолюдина: как заслышит речь книжную, так и шапку долой, а не удержишь — в ноги бухнется... Плебейство-с!

— Ну-с, Савин, а вы не просветите нас? Кто этот господин? Нам с вами в прятки играть нечего.

— Ничего я вам говорить не стану, Марцинкевич,— ответил Савин с совершеннейшим спокойствием.— Ни о себе, ни о чужих, а тем более неизвестных мне личностях. Убеждений своих не скрываю, верую в свободу, да,— сказал он значительно,— верую, она дарована нам свыше. Ни допросами, ни пытками меня не испугаете.

— Какие пытки, Са-а-авин! — рассмеялся Марцинкевич.— У нас и на казнь-то времени в обрез.— Сквозь смех пробивалось наружу и бешенство бессилия, до учащенного сердца, до дрогнувшей сухой коленки.— Больно вы гордые все. Ни покаяния, ни почтительности, откуда гонору понабрались?

Марцинкевич не сводил глаз с Бабушкина: инстинкт говорил ему, что дело нечисто, на слово верить нельзя, кем бы ни был этот человек, значение его тут важнейшее; пробудившись, оба арестанта — солдат и дюжий косоротый парень, сидящий на полу,— первым делом взглянули на него.

— Суетный вы господин, извините-с на слове.— Бабушкин смотрел на чиновника бестрепетно и с сожалением, будто ждал чего-то разумного и не дождался и скучно ему стало видеть чужие потуги дергающегося человечка.—

Неужто не ведаете, что россиянину нынче есть отчего голову гордо держать? Ежели в праздник,— произнес он отчетливо,— на брюхе ползать, когда же возвыситься духом, милостивый государь!

— Какой у нас нынче праздник! — Марцинкевича трясло; сероглазый хитер и говорит такое, о чем и газеты пишут, им, бумагомарателям, что ни день — праздник, турнуть бы их из кресел, из ресторацций в Сибирь, пусть помашут шомполами до кровавых мозолей, так, чтобы пальцы и слова праздник вывести не смогли.

— Бог с тобой! — Бабушкин снова искал понимания у Энгельке.— Ежели он человеку глаз не дал, душу не отворил, тут уж, извините-с, я — пас. Тут пастыря надо. Не простого батюшку деревенского, а пастыря мудрого.

Бабушкин и Воинов, вопреки подозрениям Марцинкевича, утверждались в своих ролях, а Бялых и мысовские телеграфисты существовали отдельно, и теперь их общее спасение состояло в том, чтобы затеряться в толпе арестованных. Но в кабинет заглянул подпоручик Писаренко — в поисках Энгельке, которого потребовал барон,— и увидел свою дичь, смутьянов, которых он с риском для жизни брал на Слюдянке.

Полковник поспешно ушел, барон требовал подчиненных безотлагательно, даже и на ходу поезда все должны были быть под рукой, хоть стой в тамбуре. И едва за Энгельке хлопнула вокзальная дверь, Марцинкевич приказал Писаренко увести арестованных в вагон. Притихшая старуха заохала, сторонилась уходящих, не понимая, зачем уводят артельного.

— Старика не троньте! — сказал Марцинкевич подпоручику, который охлестнул нагайкой жмущегося к стене поселенца.— Вы мне нагаечку оставьте, я верну.

Чиновник шел к старику не прямо, а будто его заносило злобой, ртутными ударами крови в сердце, заносило к двери, чтобы предупредить бегство и не дать старику

поднять с пола суковатой палицы. Ременное плетиво ручки, нагретое ладонью Писаренко, лежало хорошо, родственно, будто обнялись согласно кожа с кожей. Хлестал с оттяжкой, поровя только по лицу, красил полосами стариковские руки в коричневатых веснушках, а стоило тому отнять защитные руки, целился в глаза.

— Каторга сахалинская!..— Шапку уронил под ноги, выкрикивал слова хрипло, словно отхаркиваясь: — Раб! Раб! Значит, я — полячишко! Язык твой поганый вырву!

Все, что не довелось обрушить на арестованных, упало на поселенца. Перед Марцинкевичем маячило не одно лицо; изловчась, он словно бы хлестал вслепую и по башке чернобородого солдата, по несговорчивым глазам мещанина-подрядчика, по щербатому рту стоявшего на коленях детины, по заносчивой физиономии Савина, даже и по оттянутым книзу мертвым щекам Энгельке бил он, не каясь, полагая, что и это — хорошо и поделом. Опомнился, когда увидел перед собой побеленную стену: хромой старик упал на четвереньки, напоминая миру о себе, о новом своем страдании, ронял темные капли, то ли кровь, то ли слезу, на крови замешанную.

Марцинкевич ушел, сложив нагайку вдвое и держа ее странно, как атрибут власти. Старуха, переждав, не слыша больше шагов в вокзале, присела подле старика на корточки: жив ли он, а если жив и в памяти, не скажет ли он, кто эти люди — и те, кто при мундирах, и те, кого увели,— чего хотят те и эти...

Старик медленно поднимал голову: глаза целы, мясистые, складчатые веки тоже сберег, кровь капала из рассеченного надбровья. И глаза его оживились вдруг жадностью, исхлестанная рука рванулась к тулупу умершего Белозерова, новому, чистому тулупу, брошенному на пол.

Старуха поняла, что не отстоит тулупа, должна бы отстоять, не отдать, но сил не хватит: все время, пока его охаживала нагайка, старик ждал, привычно затаился, тер-

пел и копил злобу. Излиться она могла на что угодно, да вот подвернулась старуха, а при ней тулуп — сама виновата. И то сказать: его убивали, а он только грабит, берет малое, рукой тянется,— отдай сама, и грабежа не будет. И понимая, что отдаст, не отвоюет своего, вдова Белозерова царапала костяными твердыми ногтями по тулупу, словно ласкала его, и жалобно приговаривала:

— Куда ты его, старый! Покойник мне по плечо был, а ты — зверюга... Смилуйся!..

## 22

*Поезд мчался по Николаевской железной дороге, приближаясь к Питеру, и я вскоре должен был увидеть знакомые мне улицы, а потом и людей.*

*«Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина»*

К арестантскому вагону шли с остановками, ноги Воинова волочились по деревянной платформе, бороздили снег, ударялись о шпалы и стальные ребра рельсов. Он повис на Ермолаеве и Бялых, они были пара и ростом, и терпеливыми, широкими, отрешенными ото всего лицами, и бурлацкой крепостью приземистых тел. Воинов номатывал головой из стороны в сторону, хрипы в груди слышны были и подпоручику Писаренко, но того, что кузнец успевал шепнуть Бялых и Ермолаеву, не могли расслышать и его друзья.

— Не торопи...— хрипел Воинов.— Иди тихо... Дай старшому оглядеться... Не к теще на блины — в погреб идем...— Не находя отклика на хмурых лицах, он не знал, пробился ли его шепот сквозь треух Бялых и бурятскую, мехом внутрь, шапку телеграфиста, и начинал все сызнова.

Северо-восточный ветер с отрогов Хамар-Дабана обжигал лица, подпоручик закрывался согнутой в локте рукой, пятился против ветра, сожалея, что Марцинкевич взял у него нагайку и ему нечем, кроме матерной ругани, подгонять арестантов.

Бабушкин коснулся плеча Савина, телеграфист отозвался порывисто, словно застигнутый врасплох, испуганный чем-то, что вдруг откроется на пассажирской платформе Мысовой. Но во взгляде старшого мягкое, несуетное и долгое сочувствие, просьба к Савину собраться, не думать, что вдруг метнется навстречу фигура, послышится женский крик, и тогда станет невозможным дышать на этом ветру, на сухом, солнечном морозе, рядом с домом, в котором вся твоя жизнь и все счастье. И Савин вышел из оцепенения, обрел холодную и строгую зоркость взгляда. Мир вокруг перестал быть странным, плывущим, струящимся миражем, за которым обозначилась одна несомненная реальность — его дом, его дети, его Нина Игнатьевна, ему открылась вновь родная станция, сверкнувшие на солнце рельсы, военные эшелоны и отдельно — два вагона с пулеметами в тамбурах, два вагона, к которым пятился маневровый локомотив, и сцепщик приготовился войти в тесное пространство между вагоном и замызганным тендером.

Локомотив задержал арестованных. Все остановились, дожидаясь, когда паровоз уведет вагоны, недоумевая, куда девался сцепщик, почему не выходит, с лязгом накинув на крюк тяжелое железное звено. Ждали, но паровоз не двинулся, машинист медленно сошел вниз и пошагал к вокзалу, бросив на арестованных значительный, что-то обещающий взгляд, а из вагона лихо, на одних поручнях, соскользнул подпоручик и, увидя Писаренко, крикнул на ходу, что поедет, когда начнет смеркаться, с пулеметной командой вперед.

Пришлось обходить короткий состав, и, обогнув торец

вагона, Бабушкин увидел закуривавшего от огня в ладонях сцепщика, а рядом с ним несчастного, взволнованного встречей Алексея Лебедева. Он переодет — в рабочей замасленной бекеше, в тяжелых сапогах, из-под башлыка выглядывал глянцевый козырек и околыш путейской фуражки. В руке он держал масленку, а под мышкой был зажат молоток с легкой длинной ручкой.

Кажется, один Бабушкин узнал Лебедева, успел оценить его горестную растерянность, нетерпение — броситься, отбить — и сознание, что это невозможно, станция забита войсками и при первой же оплошности убьют всех. Алексей не бодрился наружно: нечто большее было в нем — мысль, обещание какой-то тайной работы механизма, уже приведенного в действие, иначе и он не получил бы новой одежды, возможности так быстро доехать до Мысовой, права стоять рядом с мысовским сцепщиком, не опасаясь, что его выдадут как чужака. Значит, он в считанные часы нашел товарищей на Слюдянке, где никогда до этого не бывал, и примчался на Мысовую — не в Иркутск, на Мысовую — ради них, с каким-то планом. «Лучше бы ему в Иркутск,— подумалось тут же,— увезти вагоны с оружием — и в Иркутск...» Но это ведь понимал и Лебедев, не мог не понять, а явился сюда, значит, невозможно было взять вагоны на Слюдянке и он надеется сделать это вместе с ними. (Бабушкин ошибся, что никто не узнал Лебедева: Бялых узнал, увидел слюдянскую домашнюю одежду и шепнул в вагоне, когда за ними закрылась дверь: «Видали Алешу?! На нем все отцовское — моего папаши». И все обнадежились — Алексей на Мысовой, значит, и после барона не выжженное поле, а жизнь, жизнь и возможность новой борьбы.)

Они отогрелись в кабинете дежурного, и, хотя Бабушкина наравне со всеми истязал голод, мир наполнился близкой надеждой, солнечный день января повернул к жизни, а не к уничтожению. Свет пролился на землю не-

обыкновенный, зимнее половодье солнца, какого до Забайкалья Бабушкин и не встречал,— даже и на Днепре, в Екатеринославе, солнце не бывало так режуще-звонко; а небо так высоко. Небо над Байкалом и на востоке, где земля холмилась в предчувствии близкого Хамар-Дабана, голубело на орлиной высоте, а стужа и ветер чуть выбеливали и эту голубизну, трогали ее размытыми, как кисея, терявшими очертания облаками. И хотя на рельсах стояло два эшелона карателей и готовился в путь поезд-разведчик, хотя из тамбуров глядели пулеметы, а с хвостовых платформ горные пушки,— земля и небо принадлежали не карателям.

Вперед пойдет локомотив с двумя вагонами, и это тоже от страха перед чужой землей. И затянувшееся стояние на Мысовой — тоже от страха, от опасения сделать гибельный шаг. На рассвете их свели вниз из арестантского вагона, сбросили, как обузу, перед поспешным отправлением на Верхнеудинск. Семафор открыт уже долгие часы, а трогаться не решались. Сначала поджидали второй эшелон, отряд Алексеева, теперь встречный подпоручик признался, что тронется передовым, разведчиком, когда начнет смеркаться. Значит, день потерян, уступлен Чите...

А они тем временем утвердились в своих ролях.

Воинов — харбинский солдат с вчерашней, напрасной, виноватой перед ним пулей в лопатке.

Он — торгового сословия человек, прямодушный, независимый, потому что не знает за собой вины.

Мысовские телеграфисты только выиграют, если барон ссадит их не дома, а в Каменске, в Ильинском или в Татаурово, подальше от проклятого старика-поселенца.

Приходил Марцинкевич. У открытой двери оставил казаков, храбрился, наскакивал на Савина, порывался бить, но что-то его удерживало, подозрение, что перед ним отряд, люди одного дела, а вместе с тем необходимость признать, что все они разные, и невозможность отменить

эту их отдельность, особенность судьбы и сословия. Бумагам Бабушкина не верил, фамилии Бялых и Воинова принял без сомнения, а тут что-то не сходилось, требовало полицейского сыска.

Имени Бабушкина никто не сказал. «Как так! — ярился Марцинкевич.— Неужто не представились друг другу? В одной берлоге сошлись, одним подлым, разбойным кушаком повязались, а кто да что — не знаете!» «Честный человек — добр, он и в других людях добрый умысел предполагает»,— ответил за всех Бабушкин. Последний раз Марцинкевич явился, когда начало смеркаться и разводил пары локомотив, приготовляясь в дорогу, заскочил по пути в салон Меллера-Закомельского. На этот раз арестанты не стали отвечать чиновнику, свежевыбритому среди дня и надушенному ароматной водой, которой так и разило по вымерзшему вагону. Только Воинов проворчал негромко, голосом необратимо севшим:

— Отвяжись ты, бога ради, хорек проклятый...

К обеду инспектор телеграфа опоздал, на его месте за столом восседал несносный Скалон, тайный бог младших офицеров, петербургский шаркун, ненавидимый старшими командирами. Чин Скалона невелик — капитан, но он флигель-адъютант, знатен, удачливый игрок, молва приписала его участие в экспедиции опасной любовной интрижке, из которой ему помог выбраться сам государь, удалив на время из столицы к барону. Толкований было много, а барон имел свое, отличное ото всех: в душе он считал Скалона *соглядатаем*, шпионом и лазутчиком двора. И Скалон поведением своим в экспедиции укреплял барона в подозрениях. Занятия его были крайне просты: едва эшелон карателей достигал станции, как Скалон в шинели, наброшенной на плечи, презирая стужу и снег, часто даже не закрывая русой курчавой головы, бросался к газетному

киоску и арестовывал сатирические журналы. В купе Скалона, соседнем с купе Марцинкевича, собрались груды «Нашей жизни» и «Руси», он охотно пускал арестованные журналы по рукам, скалил зубы и похохатывал над тем, что сам же и запрещал читающей России. Если открывал в продавце печатного слова иудея, долго трепал за бороду, а по отсутствии таковой — за ухо и бил, брезгая, почти сострадая, бил не до крови, единственно с целью урока и унижения достоинства. Второе занятие флигель-адъютанта и вовсе не обременительно: неизменно веселый, отоспавшийся, не позволявший будить себя ночью даже при обстоятельствах чрезвычайных, он то и дело попадался днем на пути корпуса жандармов полковника Тарановского, Энгельке или коменданта поезда Заботкина и, соболезнуя, прикладывая руку к груди, уверял их, что отлично понимает их затруднения и м а н к и р о в к у, п о д л у ю, как он выражался, необходимость faire bonne mine à mauvais jeu [1].

Была и третья страсть Скалона: злословие. Поношение и грязные намеки в адрес лиц отсутствующих. Государь словно был уведомлен о таком же недуге и самого барона и нарочно дал ему в сотрудники человека с памятью молодой, цепкой и отменно черной. Скалон витийствовал находчиво, изобретательно, и сам барон не замечал, как к концу обеда замахивался на лиц известных, а то и приближенных двору. Захмелевший барон прикусывал толстый, заметный при разговоре язык, но — поздно: оставался привкус ошибки, опасной оплошности, и приходилось и с к а т ь у Скалона, прощать ему бездельную жизнь в экспедиции.

Марцинкевич ненавидел Скалона истово, до сердечных спазм, до больного преклонения: флигель-адъютант не замечал его, смотрел сквозь него, как сквозь захватанное пальцами стекло.

---

[1] Делать хорошую мину при плохой игре (*франц.*).

Инспектор телеграфа сел на место подпоручика Седлецкого, дальнее место у двери, и прислушался. Так и есть: Меллер опять злобно болтлив, он словно трезвеет с каждым глотком «марго», а Скалон в ударе, томные глаза флигель-адъютанта выражают восторг и почтение, и едва заряд желчи иссякает, он вворачивает новое имя, новый предмет злословия. Неустройство души барона налицо: он докуривает до корня сигару, хотя при добром расположении духа оставляет ее на последней трети; не отнимает белой длиннопалой руки от бутылки «марго», будто нет на свете дела более важного, чем, отхлебнув из бокала, тут же долить. Только что отзвучало имя Волькенау — барон съязвил, что прозвали его Глюненау, и беззвучно смеется, отворив небольшой влажный рот, полагая, что каждому офицеру должна быть понятна темная игра слов. Затем достается генералу Карпову, которого Скалон нарочно назвал «богом войны», чтобы Меллер откликнулся уничижительным: «Ну и дурак же этот Карпов!» Флигель-адъютант рыхлит почву, понукает память барона, и вот уже достается Линевичу и Стесселю, и Меллер, торжествуя, рассказывает, как эти прославленные герои «крали друг у друга», вспоминает и других генералов, Долгофирова и особенно Чаплыгина, которые получали взятки от торговца мясом и морили солдат, но крепко держались своего поставщика, пока и сам Чаплыгин не «хватил по неразборчивости этого мяса да и чуть не отдал богу душу. Вот и рассуди: куда бы определить такого — в рай или в ад? Святая душа: не даром ведь помер бы, а за взятку!»

Так и мелькают имена Богдановича, Нарбута, Аргутинского, полковник Тарановский, расхрабрившись, ввернул и Гедлунда, и наконец Скалон подкидывает имя погорячее — Ренненкампф. Этого Меллер с каждым новым полустапком ненавидит все более яро: Ренненкампф — соперник, один он может отнять у барона часть успеха и

славы. Главный приз — Чита, Ренненкампф рядом с ней, а барону шлет подлые графики, согласно которым Меллеру не следует приближаться к Чите ранее 22 января, пугает опасностью ночного движения. Ренненкампф! Ренненкампф! Скалон потешается, что генерал Ренненкампф ползет как черепаха. «Ну, этот знает, что где найти,— загадочно говорит барон.— Этот сразу отправится в казначейство...» Флигель-адъютант притворяется, что не понимает: какие, мол, казначейства на голодных станциях маньчжурской ветки? Чего же тут не понимать: генерал не хочет допустить Меллера до Читы, к главному дележу, надеется первым войти в казначейство на Неве...

Барон поднялся от стола знакомым всем движением, словно отряхиваясь, отстраняя пустяки и болтовню. Ноги и руки Меллера тонкие, сильные, стоя, он возвышается почти над всеми, а тело его массивно, как и голова, обритая наголо, лицо скуластое, широконосое лицо буддийского монаха, но не смуглое, а белое, с неприятной краснотой на скулах, щеках и над переносицей.

— Почему медлит Седлецкий? — В наступившей тишине слышно пыхтение локомотива.— Этак Ренненкампф и правда присвоит себе забайкальские лавры.

Сейчас барон поторопит, подтолкнет офицеров к службе привычно-равнодушным: «С богом! С богом!», словно он вдруг пожалел о потерянном за столом времени, и Марцинкевичу не удержаться в салоне, его вынесут движением, шуточками, напором мундирной толпы. Судьба арестованных решена, их сунут к бунтовщикам, схваченным на Мысовой, и бездари, ослы, тупицы жандармского полковника Сыропятова упустят их, ни за что не доищутся тайны артельного, в котором Марцинкевичу чудилась гордость не торгующего человека, а смутьяна. Болью, публичным горьким сиротством сжалось сердце инспектора телеграфа. И тут послышался унылый голос полковника Энгельке: он спрашивал, как быть с задержанными.

— Я приказал: арестованных сдавать жандармам! — Барон сердился, недоумевал — недобро, с подступающей угрозой.— Пусть разберется Сыропятов. Сумел загнать под добровольный домашний арест Сухотина, напугал его революцией, теперь пусть этих припугнет.

И рискуя карьерой, расталкивая офицеров, Марцинкевич бросился к барону. Подскочил слишком близко, так, что барон отпрянул; заговорил глухо, подавленно, но тут же, в отчаянии, что теряет кредит, что рядом с Меллером — Скалон, готовый потешаться над ним, взвинтил голос до молящего, униженного крика:

— В арестантском вагоне не мысовские, там люди, схваченные на Слюдянке. Ваша светлость! Там — Савин! Отчаянный революционер... Смею вас уверить... о нем все известно. Он первым в Забайкалье отказался передать высочайшую телеграмму... Он подал пример... ездил по станциям и понуждал других!.. Заставлял угрозой оружия!..— Лгал истово, верил, что так оно и было, ведь Савин — вожак телеграфистов на Мысовой, отчего бы и не быть правдой всему, что виделось Марцинкевичу.— От него весь здешний бунт, вся революция!..

В казенном мундире Марцинкевич изящен; в страсти его, в неукротимой ненависти — контраст с осторожной расчетливостью офицеров, которые, прежде чем сказать свое, приглядываются к барону, угадывают его настроение. Рывок Марцинкевича вызвал было брезгливую досаду, но вот он заговорил — и открылась родственная душа, быть может, самая близкая барону в экспедиции, хотя тот и поляк, черт знает зачем поляк, из неуживчивого народца, которому, кажется, один Бисмарк знал настоящую цену.

Сигара еще в пальцах, не садясь, барон еще отхлебнул из бокала, промокнул салфеткой тугие сизоватые губы.

— Ну что ж? — сказал он.— Так расстреляем его.— Он вспомнил еще об одной заботе, которую запамятовал из-за турнира со Скалоном.— Я получил новые сведения,

что мой поезд хотят взорвать. Пусть Седлецкий, попадая на станции, объявляет, что при малейшей попытке взорвать мой отряд ни один из арестованных не останется в живых. Люди, захваченные близ места нападения, тоже будут расстреляны без суда.

— Савин не один! — вдохновился Марцинкевич.— С ним еще два телеграфиста: Клюшников и Ермолаев. Отъявленные социалисты, каждый виселицы стоит!..

— Ну трех расстреляем! — откликнулся барон.

И, ощущая свое ничтожество, нелепую, невоинскую сутулость плоской, нескладной фигуры, принужденность своих слов и самого тона, Энгельке сказал:

— Среди арестованных слюдянский слесарь и крайне подозрительный мещанин. Они сопровождали вагоны с оружием.

Заботкину тоже нельзя больше ждать: он допрашивал арестованных, ему бы и отличиться, а на его долю остался только один — солдат без погон, дрянь, мужлан, неисправимо испорченный Маньчжурией. И солдат ли он или только ряженый, переодетый в честную шинель? Барон молчал, испытывая Энгельке, и Заботкин поторопился:

— Там еще один: бунтовщик, переодетый солдатом. Эти особенно опасны: благодаря им и возникла в известных партиях мысль о возможности присоединения армии к революционному движению.

— Арестованных на Мысовой — сдать жандармам Сыропятова,— повторил барон.— Полковник, что ни телеграмма, просит о расстрелах; нынче извел меня каким-то Копейкиным.

— Уж не отставной ли это капитан Копейкин из господина Гоголя? — показал начитанность Скалон.— Так ведь он без ноги!

— Не знаю, пусть разберутся,— ответил барон осторожно, опасаясь подвоха.— А этих семерых расстреляем сегодня же.

— Не семерых, ваше превосходительство,— сказал Заботкин.— Шестерых.

— Шестерых так шестерых,— поправился барон.

Поднялся возбужденный гомон, новое ристалище отваги и усердия. Марцинкевич сквозь приспущенные веки — их жгли слезы благодарности и облегчения — поглядывал на мундиры, прислушивался к голосам исполнителей дела, которому он так счастливо дал толчок. Богом был для него барон, прикажи он ему отворить кровь на узких, с напряженной голубой жилой, запястьях, и он отворил бы, отдал бы за него жизнь, как не раз мечтал отдать ее за государя и тем прославиться в веках. Волновался князь Гагарин из первой бригады: «Ведь обидно, господа, и тогда вторая бригада и теперь!» Вторая бригада — Писаренко; он возбужден, петушится, хочет знать, что значит — т о г д а? «В Иланской действовала вторая,— уже не на шутку сердится и князь Гагарин,— сегодня тоже караул от первой, а расстреливать опять второй» («Дети, и они сущие дети природы, не одни казаки!..» — растроганно думал Марцинкевич). Начальник штаба Тарановский утишает страсти: на расстрел он назначит 25 человек, по пять человек от полка. «Почему 25? — недоумевает Буланже, командир пулеметной роты.— Ведь полков четыре». «Ну и пулеметная рота — пятая».— «По уставу пулеметная рота освобождается от всяких нарядов...» «П о в о з м о ж н о с т и,— напоминает полковник Тарановский букву устава.— Я думал, что и вы добиваетесь чести». «Разумеется, если нужно — исполним...» Гомон, гомон, сговорчивый, покладистый гомон, доброе согласие в людях, ах, как, в сущности, хороши люди, и молодость хороша, и ее отвага, и безрассудство, рыцарская вековая решимость пролить чужую поганую кровь! Как прекрасно приобщиться новому ордену меченосцев, рыцарей веры и престола,— если бы они знали, как огромно и как благородно сердце Марцинкевича, они открыли бы ему братские объятия.

И только одно тревожило инспектора телеграфа: кто тот — шестой, презиравший его истовее, чем Скалоп, чем Энгельке или потная свинья в мундире лейб-гвардии Кексгольмского полка, карточный шулер — капитан Буланже?

Кто шестой?

Марцинкевич уже занес в свою табель, с проставленными против имен крестиками, фамилии: Савин, Клюшников, Ермолаев, Воинов, Бялых. Он многого не знает о них, и пусть, и черт с ними.

А кто шестой? Кто он? Откуда его занесло, артельного?

Нет, не 25 будет в р ы ц а р с к о м наряде исполнителей приговора. Пойдет и он, инспектор телеграфа. Под дулами нацеленных на преступников винтовок иной раз услышишь такое, чего ты и не ждал: кому не охота купить себе жизнь, вымолвив лишь одно имя...

Воинова едва подняли на вокзальную платформу: Заботкин потребовал, чтобы арестованных провели мимо согнанных на перрон служащих дороги. Красноярского кузнеца вели Бабушкин и Бялых, но и они уже были без сил, с трудом поддерживали со спины Воинова. Мысовские держались вместе, изнемогшей цепочкой, порознь им не устоять, если вдруг покажется родное лицо.

Капитан Буланже, командир пулеметной роты, опоздал к арестантскому вагону, догоняя, он вспрыгнул на платформу и ударами хмельного кулака сбил с арестованных шапки.

В гущу конвоиров бросилась женщина, растолкав шедших рядом Писаренко и князя Гагарина. По глаза укутанная в платок, она нагнулась, подняла треух Бабушкина, метнулась к нему отчаянно, мимо солдатских штыков.

— Иван Васильевич! — сказала она, и, потрясенный встречей, по голосу — глубокому, грудному, по светлым глазам он узнал Катерину. — Пошто ты им дался!

Она старалась надеть треух на непокорную, будто раздавшуюся голову и досадовала, что не может, что шапка соскальзывает, и рукой трогала волосы, небритую щеку.

Остановились конвоиры, весь смертный наряд, а следом и арестованные, и какие-то люди, только что подавленные и безмолвные, бросились поднимать шапки и, перепутав их, не зная, где чья, подавали приговоренным, а капитан Буланже пьяно орал: «Шапки долой!» Рядом с Савиным оказалась Нина Игнатьевна, приникла, захватывала лицо ладонями, словно хотела запомнить его не одними глазами, в отчаянии прижимала ладонь к его рту, запрещая говорить. Ее лицо омертвело, Савин успел крикнуть ей, когда ее оторвали конвоиры, чтобы шла домой и не смела ни о чем просить палачей.

Катерина, постаревшая, с открытой головой,— Марцинкевич мигом оказался рядом с ней, стащил деревенский платок, вглядывался в ее лицо,— Катерина закрыла от Бабушкина весь мир — страхом за нее, чтобы ей не попасть под пулю, боязнью, что она невольно, по неведению и простодушию, выдаст его палачам. Он отступил, упрямо, почти враждебно отстранился и спросил, как у чужой:

— Чего дрожишь, женщина?

— Ты как назвала его? — Марцинкевич засуетился, теребил ее, требовал признания: это была его единственная ошибка.— Ну-ка, скажи!.. Кто этот человек?

— Холодно жить, милый,— ответила Катерина тоскливо не ему — Бабушкину.— Я брата безрукого схоронила. Ты вот одетый, солдаты при тебе, смотрят, чтоб не обидел кто...— хитрила она.— А мне жизни нет.

— Кто он, дура?! — гневался Марцинкевич, хватаясь то за котомку на ее спине, то за толстое в овчине плечо.

— Живи, женщина! — сказал Бабушкин.— Ты и жизнь увидишь. И дети увидят, малые они у тебя, должно быть.

— Ага! Малые! Малые! — говорила и радовалась, что помнит, открыться не может, а все помнит.— Нужда меня

состарила, а дети... живые! — сказала вдруг скорбно, отчетливо: — В стену мне не стучали... Счастливая я!

— Что плетешь, сумасшедшая?! — крикнул Марцинкевич.

Ее ухватили под руки казаки, но теперь Катерина сама уцепилась за бекешу Марцинкевича, зачастила:

— Обозналась я, любезный. С голоду разум помутился... Помнилось, Ванюша... брат двоюро́дный... тоже вот, гордый, несмирный мужик...— Сказала строго: — Ты его не смей обидеть: видишь — святой!

Нину Савину, Катерину и еще нескольких женщин прикладами затолкали в вокзал, служащих погнали следом за приговоренными по шпалам.

Отчего их повели далеко от вокзала, когда в Иланской, в Усолье, на Зиме, в Черемхово и в Иркутске стреляли где попало, набивали трупами мастерские, депо и багажные сараи?

Не оттого ли, что вдалеке, на станционной границе, у стены крайнего сарая раскачивался последний станционный фонарь, точно звал к себе, требовал, чтобы и его не обошли?

Не оттого ли, что так легче идти,— ветер переменился, дул не от Хамар-Дабана, а с севера, от запечатанного льдами устья Селенги, вдоль Байкала, радуясь, что нет преград его неистовству?

Для того ли, чтобы служащие, угрюмые и нелюбезные, шли и шли, будто уже на похоронах, шли и, дрожа в своих шинелишках и пальто, с каждым шагом разумели, какая судьба может ждать каждого из них?

Бабушкин озирался взглядом быстрым и жадным, но не цепляющимся жалко за снегом припорошенные шпалы, кирпичные стены мастерских, никлый свет в окошке рубленой пристанционной избенки, за гряду взломанного, сдвинутого и снова спаянного льда, за высокое вечернее небо, до звезд открытое от облаков северным ветром. Знал,

что ведут убивать, ни за чем другим — только убивать, и в какой-то миг подивился своему спокойствию: неужто устал жить и близкая пуля не перебивает дыхания? Зачем он оборачивается открытым лицом к северу, когда другие втягивают голову в плечи и бравые, хлебнувшие вина офицеры шагают, подняв меховые воротники? И с облегчением, с затихающей тоской, от которой не уйти человеку и в жизни и в смерти, открыл истину, свою, ничью другую, трудную, жестокую, быть может немилосердную для тех, кто полюбил его, однако же для него единственную: даже и в такую минуту, когда плоть вопит — забудь все, сойдись на себе, сожмись так, чтоб и пуля тебя не нашла по малости цели,— даже и в этот миг ему нужна Россия, вся Россия, и этот ветер, родившийся в океане, во льдах, уже пролетевший на пути к нему над Верхоянском, над тамошним людом и над детьми Катерины, и эти люди, которых гонят позади, тоже нужны; из-под страха, которым хотят убить и их, пробьется огонь и гнев; и Забайкалье ему необходимо, и оно рядом, его не заслонит тяжелая в тулупе фигура Заботкина, матерящийся Буланже; холмы и горы — это один мир с Питером, с днепровскими плавнями, с фабричными домами Подмосковья. Рядом идут товарищи, которым труднее, чем ему, их уводят от дома, до которого рукой подать, и это особая мука, а он летит к Паше, как летел и прежде, когда его везли в Верхоянск, когда оторвал оловянно-тяжелую руку от порога теплушки, когда устремился в Читу за оружием. Он всегда спешит к ней, летит на крылах, торопится и в мыслях, в видениях ума и сердца, которым ничто не преграда. Его вдруг оглушает предчувствие последней беды, горечь поражения сбивает с шага, его охватывает мгновенное отчаяние перед темнотой, и тут же спасительно возвращается мысль, что длится важное дело и в нем он тоже служит не себе, а людям, что замерзающий, идущий на смерть, он все еще частица Читы, Иркутска, России и каждый его шаг свобо-

ден, потому что жизнь у него отнять можно, а свободу — нельзя. Нельзя отнять свободу у того, кто перестал быть рабом...

Они приближались к фонарю, и свет усиливался, желтый, маслянистый, сквозь него хуже смотреть на звезды, они пригасли, не гляделись так остро, как из темноты.

— Пугают,— услышал он голос Бялых.— Они нас в кутузку ведут. Вон, под фонарем,— пакгауз в тюрьму переделали.

Говорить можно и громко: голоса швыряет вперед, в спины пятерым казакам, которым нет до них дела. Марцинкевич и офицеры позади, крикни — не услышат.

— На нас крови нет,— сказал Бялых. Ему все так ясно, что кажется диким другой исход, кроме следствия и суда.— Пусть судят! Чем мы перед ними виноваты?

Его тревожит молчание товарищей.

— Намучались вы со мной, братцы,— сказал Воинов.

— Перед ними мы виноваты, Бялых! — Бабушкин не хочет отвечать Воинову.— Виноваты уже тем, что родились!

— Ой, мудрено! — сказал Бялых с облегчением: пустяковая вина.

— Виноваты тем, что хотим изменить подлый, грабительский порядок. Хотим! — упрямо повторил он.— На казнь идем, а все равно — хотим! Ты пощады не жди, Бялых! — сказал он жестоко, иначе уже нельзя было.

Бялых примолк. Двигались они теперь очень медленно. Бабушкин похолодел от мысли, что имя его не открылось, и не будет его ни в чьих списках, и Паша никогда не узнает, что же с ним случилось. И мать будет дожидаться, долго, пока жизнь в ней удержится, и все с тоской, с мукой, отчего далекий Верхоянский край не вернул ей сына. И товарищам по партии не разгадать, где Бабушкин. Где он, товарищ Богдан? Упомнит ли его имя жена Савина? А уж Катерине и сказать будет некому. Слезы вдруг под-

нялись изнутри к глазам, слезы жалости к двум женщинам, которые будут ждать и не отыщут его следа, праведные слезы, на которые он, однако, не имел права по суровому уставу собственной жизни.

Строго прогнал себя по тому же кругу мыслей. Мать так и умрет, не зная, жив ли он. Хорошо ли это? Пожалуй, так лучше. А Паша? Паша... Вот где мучительство, истинное мучительство и неразрешимость: Паша молодая, неужто и ей избыть всю долгую жизнь в ожидании? На это ответа не было.

— Слушай, старшой,— сказал Воинов, будто окликал его строго.— Как ты мне под руку подвернулся, а?

— Жалеешь?

— Много вас, что ли, таких за Уралом? Если много, старшой, тогда я этим гадам не завидую.

— Ты и хорошему не завидуешь. Нет в тебе зависти.

— Мимо, мимо, старшой! — Воинов хотел усмехнуться, а вышел стон.— Я хорошей жене завидую: видал Савина женку? А твоя?

— Хорошая. Для меня — самая хорошая.

— И всю жизнь с ней?

— Всю! Всю! — Торопился сказать, что всю, не считанные месяцы, не дни, когда был с ней, а именно всю жизнь, потому что это была правда: с ней и прежде, когда еще не встретил ее, и всякий день — с ней.

— Ну, ты взял свое,— решил Воинов.— Взял свое счастье.

Бабушкин промолчал, но сердце откликнулось благодарно: правда, взял, и вся его жизнь была счастьем, и в товарищах, которые идут с ним рядом, тоже счастье, последнее прижизненное счастье.

Впереди, в двух шагах, телеграфисты. Он и за них спокоен. Вот только Ермолаев, как он примет эту минуту? Он изболелся, в революцию пришел недавно, он так чадолюбив. Не станет ли он просить их?..

Вот уже и фонарь, круг света, неожиданно яркий, слепящий даже, а в ушах странный шум, удары, будто ветер сломал байкальский лед и волна бьет в берег. Бялых как-то сказал, что и в самую стужу есть на Байкале открытая вода, но ведь это далеко, там, где начинается Ангара, где берет свой разбег и мчит к Иркутску, к Глазково, к людям, которые все еще ждут оружия. А волна будто рядом, совсем рядом, сливается с ударами крови...

*Мы вернулись в поезд и здесь узнали подробности расстреляния. Руководил подполковник Заботкин, командовали кн. Гагарин и Писаренко. Приговоренных отвели несколько от станции по направлению к Иркутску (не выходя из района станции). Здесь им объявили, что они приговорены к расстрелянию. Они не просили пощады... Выбрали место, более других освещенное станционным фонарем. Поставили одного, скомандовали; вместо залпа получилось несколько единичных выстрелов. Было упущено из виду, что при морозе смазка густеет и часто происходят осечки; расстрел производился при свете фонаря, и поэтому пули попадали не туда, куда следовало, и вместо казни получилось истязание. Заботкин волновался, шумел, рассказывал, как ему с казаками пришлось на войне расстреливать, что там порядка и умения было гораздо больше, винил офицеров, винил людей и еще более затягивал эту и без того длинную и тяжелую процедуру. Казнь продолжалась около 1/4 часа, при ней присутствовали служащие.*

*(Из дневника поручика Евецкого)*

## ЭПИЛОГ

В Петербурге, на Васильевском острове, две женщины ждали Бабушкина — Сибирь не отдавала его.

Паша теперь работала сутками, в одной упряжке с теми, кто верил: баррикада грядет, кончится затишье перед бурей и быть революционной гражданской войне. Выбивалась из сил, словно старалась и за своего непутевого, молчаливого, трудилась за двоих, пока он едет к ней.

Среди питерских зим, в черед суровых и милосердных, и в белые ночи, когда окно настежь и ветер с залива шевелит занавеску, обе просыпались от неурочных шагов по тротуару, от стука пролетки где-то в конце линии.

Мать просыпалась на мгновение раньше: старушечий сон зыбок, его и чужое дыханье перебьет, и сроки у старости коротки.

Случалось, при стирке бросали в корыто и рубахи Ивана — две их осталось тогда на Охте, и без того чистые, глаженые. На счастье стирали, будто и эта ласка может подтолкнуть их друг к другу...

Так шли годы.

Поначалу товарищи справлялись весело, с надеждой. Потом совестились — поняли их черную тоску и страдание. Даже утешать стали: говорят, кто-то бежал из Сибири на восток, через океан, спасся, живой, совсем недавно

подал о себе знак. Мир диковинный, чего только не случается...

Только через пять лет узналась правда. В декабре 1910 года «Рабочая Газета» напечатала некролог Ленина «Иван Васильевич Бабушкин».

«Мы живем в проклятых условиях, когда возможна такая вещь: крупный партийный работник, гордость партии, товарищ, всю свою жизнь беззаветно отдавший рабочему делу, пропадает без вести. И самые близкие люди, как жена и мать, самые близкие товарищи годами не знают, что сталось с ним: мается ли он где на каторге, погиб ли в какой тюрьме или умер геройской смертью в схватке с врагом.

...Бабушкин пал жертвой зверской расправы царского опричника, но, умирая, он знал, что дело, которому он отдал всю свою жизнь, не умрет, что его будут делать десятки, сотни тысяч, миллионы других рук, что за это дело будут умирать другие товарищи рабочие, что они будут бороться до тех пор, пока не победят...

Без таких людей русский народ остался бы навсегда народом рабов, народом холопов. С такими людьми русский народ завоюет себе полное освобождение от всякой эксплуатации...»

Ушла надежда увидеть его живым; пришло бессмертие.

**Борщаговский Александр Михайлович.**

**Б83** Сечень: Повесть об Иване Бабушкине.— 2-е изд.— М.: Политиздат, 1980.— 367 с., ил.— (Пламенные революционеры).

Б $\frac{10202—150}{079(02) — 80}$ Заказ «Союзкниги» 0902030000 **84Р7+66.61(2)8 Р2+3КП1(092)**

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *Л. Б. Родкина*
Младший редактор *Н. Б. Чунакова*
Художник *Л. И. Петрушин*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. П. Межерицкая*

ИБ № 2874
Подписано в печать с матриц 17.01.80. А08121. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 16,71. Учетно-изд. л. 17,18. Тираж 300 тыс. экз. Заказ № 83. Цена 1 р. 40 к.

Политиздат, 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Набрано и сматрицировано
в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано с матриц
в типографии изд-ва «Уральский рабочий».
Свердловск, просп. Ленина, 49.

